А. Рыбасов

И. А. ГОНЧАРОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В издании представлен биографический роман о русском писателе Иване Андреевиче Гончарове. Автор стремился воссоздать живой образ писателя, рассказать об особенностях его таланта, его замыслах, идеях, образах.

- Александр Рыбасов
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Основные даты жизни и творчества И. А. Гончарова
  - Краткая библиография
    - I. Основные издания сочинений И. А. Гончарова
    - II. Литература о творчестве Гончарова
    - III. Литература о жизни Гончарова
  - Об авторе
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59

- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103

- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147

- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191

- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228

Александр Рыбасов
И.А. Гончаров

«…Серьезное искусство, как и всякое серьезное дело, требует всей жизни».

Глава первая
Начало жизни

В семейном «Летописце» Гончаровых имеется запись: «1812 года июня 6 дня[1] родился сын Иван». Так рукою самой матери был отмечен первый день жизни знаменитого творца «Обломова». Восприемниками новорожденного были дворянин Николай Николаевич Трегубов и купечествующая вдова Дарья Михайловна Косолапова — близкие к дому люди. По обычаю, младенцу желали всяких благ в будущем и славной доли…

Это радостное событие в семье — рождение сына — навсегда слилось в памяти Гончаровых с другим событием, всколыхнувшим в те дни всю Россию, — с грозной вестью о нашествии Наполеона[2]. Гончаровым не пришлось непосредственно испытать невзгод и бедствий «грозы двенадцатого года»: Симбирск (ныне Ульяновск), где они проживали, находился «вдали громов» войны. Но тревогу за свой очаг, детей, судьбу родины переживал тогда каждый русский человек. Пережили ее и Гончаровы.

Род Гончаровых искони обосновался в Симбирске. Прадед писателя купечествовал. Дед его, Иван Иванович Гончаров, большую часть своей жизни состоял на военной службе (в Оренбурге) и был приписан к сословию служилого дворянства. Он принадлежал к патриотически настроенной части среднего офицерства, сыгравшего важную роль в русской военной истории XVIII века. В конце пятидесятых годов И. И. Гончаров в чине капитана вышел в отставку и, перебравшись из Оренбурга в Симбирск, занялся торговыми делами. Судя по его записям в «Летописце», это был любознательный и образованный для своего круга человек.

Одним из видных симбирских купцов-хлеботорговцев был отец писателя, Александр Иванович Гончаров. Родителю своему он был обязан тем, что получил хотя и домашнее, но неплохое по тому времени образование. Как свидетельствует Г. Н. Потанин, близко знавший семью Гончаровых, Александр Иванович «пользовался почетом в городе: его много раз выбирали городским головой»[3]. В годы Отечественной войны Гончаровы были в числе тех горожан-патриотов, которые участвовали в широких пожертвованиях на нужды ополчения и армии.

По образу своей жизни семья Гончаровых заметно выделялась из среды малокультурного патриархального купечества, того купечества, которое обличал, как «темное царство», великий

русский драматург А. Н. Островский.

Дом Гончаровых, построенный еще дедом, довольно большой, двухэтажный, каменный, что для Симбирска было редкостью, стоял в центре города, на углу Большой Саратовской и Московской улиц. К дому прилегала усадьба с обширным фруктовым садом, спускавшимся к самому берегу Волги. В этом месте берег круто падал к реке, образуя овраг, густо заросший кустарником и лесной порослью. С обрыва открывался вид на великую русскую реку…

Скорее в дворянском, нежели купеческом, духе выглядела обстановка гончаровского дома: в одной его половине расположены были большой зал с люстрой, нарядная гостиная с портретом хозяина в массивной золоченой раме, уютная диванная, в другой — кабинет хозяина окнами во двор, комната родителей и большая, светлая детская. Такое устройство дома унаследовано было от деда писателя.

Александр Иванович был дважды женат. Первая его жена умерла в 1803 году. Через год он женился на Авдотье Матвеевне Шахториной. От этого брака у них было шестеро детей, но в живых осталось четверо: два сына и две дочери — Николай, Иван, Александра, Анна.

Ивану Гончарову было всего семь лет, когда умер отец. Все заботы о благосостоянии семьи и детях неизбежно ложились на плечи матери — Авдотьи Матвеевны, тогда еще совсем молодой, жизнерадостной и привлекательной женщины. Происходила она из старинного симбирского купеческого рода. В замужестве вряд ли могла быть счастлива: девятнадцати лет ее выдали за пятидесятилетнего человека. Добровольного выбора у нее, видимо, не было. И всю нерастраченную силу души эта, незаурядного характера, умная, хотя и малообразованная, женщина отдала детям.

Авдотья Матвеевна никогда не оказывала предпочтения никому из детей, не делила их на «любимчиков» и «постылых», как это делала, портя своих детей, мать в «Господах Головлевых» Н. Щедрина. К тому же она была полной противоположностью матери Александра Адуева («Обыкновенная история»), которая любила сына «бестолково», как подсказывало только чувство, а потому и не сумела, по словам романиста, «приготовить» его к жизни.

«Мать любила нас, — вспоминал впоследствии Гончаров, — не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом. …Она была взыскательна и

не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно, если в шалости крылось зерно будущего порока».[4]

Припоминая, как его семи лет возили учиться в пансион одной чиновницы, Гончаров в шутливом тоне писал брату Николаю в 1867 году: «Ты иногда заезжал туда за мной, не затем, собственно, чтобы привезти меня в целости домой, а чтоб доесть оставшиеся от посылаемого со мной обеда сладкие пироги с маком. Причем ты же привозил крашеные бабки в карманах, таскал с собой живых галчат, за что и был нещадно дран за уши нашею, хотя необразованною, но умною и строгою родительницею…»[5]

Уже на склоне лет Иван Александрович, вспоминая свое детство, в одном из писем к А. А. Толстой как-то заметил: «Мое воспитание относится к той эпохе, когда… секли, — не только мужиков, но и маленьких господ».[6]

Словом, как человек старых воззрений на воспитание, Авдотья Матвеевна не считала вредным применять иногда и крутые меры наказания. В остальном она была безукоризненной матерью.

В кругу близких людей Иван Александрович, будучи уже известным писателем, с неподдельной искренностью говорил, что по своему уму их матери следовало бы быть министром. «…Она была решительно умнее всех женщин, каких я знаю», — писал он своему брату Николаю Александровичу после ее смерти.[7]

Однако необразованность Авдотьи Матвеевны иногда была причиной трагикомических недоразумений. Она, «когда хотела оскорбить кого-нибудь, выразить всю свою злобу, — вспоминал впоследствии Гончаров, — то называла эгоистом. Иногда она этим поражала кучера, повара или пьяного лакея, а однажды меня за какой-то ужасный поступок… Видя, что она (не из ученых была, не знала ни по-французски, не играла на фортепьяно, а только от природы была умна) придает этому слову какое-то другое значение, я попробовал было объяснить ей настоящий смысл, но не успел. Так она и унесла в могилу какое-то ужасное понятие об эгоисте».[8]

* * *

Замечательным руководителем и наставником в первоначальном воспитании и умственном развитии Ивана Гончарова был Николай Николаевич Трегубов — друг семьи и крестный отец всех четырех детей Гончаровых.

Яркий портрет Трегубова дан в «Воспоминаниях» Гончарова,

где он выведен под именем Петра Андреевича Якубова.

Трегубов происходил из старинного дворянского рода, был заслуженным боевым офицером-моряком, воспитанником великого русского флотоводца-патриота Ушакова. Под его командованием он участвовал в сражениях при Керченском проливе, у Гаджибея и Калиакрии и был награжден Владимирским крестом. Это была эпоха славы русского военного искусства. Из среды прогрессивного военно-морского офицерства Трегубов вынес свои гуманные взгляды и те настроения, которые впоследствии привели его к связям с декабристами и к сочувствию их идеалам.

Выйдя в отставку в 1798 году в чине капитан-лейтенанта, Трегубов приехал на Волгу, в свое наследственное имение, в качестве обладателя двух деревень с тремястами душ крестьян. Однако сельского хозяйства бывалый моряк вовсе не понимал и не любил. Деревенская, да еще холостяцкая, жизнь ему скоро наскучила, и он со всей дворней и имуществом перебрался на постоянное жительство в Симбирск, где судьба и свела его с семьей Гончаровых. Ему приглянулся красивый, светлый флигель при их доме, и Николай Николаевич нанял его… Вскоре он сердечно сблизился с гончаровской семьей и стал горячо любимым другом ее.

«Это был, — по описанию Гончарова, — чистый самородок честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем… В обращении он был необыкновенно приветлив, а с дамами до чопорности вежлив и любезен».

Когда в семье Гончаровых не стало отца, Трегубов «заступил» его место и, по выражению Гончарова, сделался faux pere de famille[9], - принял детей под свое крыло. По словам Гончарова, своей любовью к детям, заботой об их воспитании и образовании он «превосходил и родного отца».

Но если Авдотья Матвеевна являла собою материнскую строгость, то Трегубов был «отец-баловник», отнюдь, однако, «не до глупой слабости, не до излишества», а в той мере, которая необходима в нормальном детском воспитании. «Бывало, — рассказывает Гончаров, — нашалишь что-нибудь: влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню — она (т. е. мать) узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная с зовом: «Пожалуйте к маменьке!» — «Пошел» или «пошла вон!» — лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает —

и дело ограничивается выговором, вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый».

Став поистине родным человеком для семьи Гончаровых, Трегубов перешел из флигеля в основной дом, где занял половину его. «Он был лучшим советником нашей матери и руководителем нашего воспитания… — замечает Гончаров в своих «Воспоминаниях». — Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятых на себя забот о нашем воспитании, взяла на себя все заботы о его житье-бытье, о хозяйстве. Его дворня, повара, кучера слились с нашей дворней, под ее управлением — и мы жили одним общим домом. Вся материальная часть пала на долю матери, отличной, опытной, строгой хозяйки. Интеллектуальные заботы достались ему».

В результате объединения семей основа существования Гончаровых стала совершенно иной. Трегубов внес в дом Гончаровых атмосферу дворянско-поместного быта. Вот как сам Иван Александрович рисует эту своеобразную картину: «Дом у нас был, что называется, полная чаша… Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня».

Эту картину Гончаров постоянно наблюдал не только у себя дома. В те времена существовал особый тип «городских помещиков». Многие симбирские дворяне жили в городе так же широко и привольно, как и в своих деревенских поместьях. В первой четверти XIX века и позднее Симбирск, хотя и был центром обширного края, имел в большей своей части не столько городскую, сколько усадебную внешность.

Благодаря Трегубову семья Гончаровых вошла в иную социальную среду. Купеческая по своему происхождению и первоначальному положению, она была введена Трегубовым в круг местного и губернского дворянства. Эта среда оказала известное влияние на воспитание Ивана Александровича и, что важнее всего, явилась источником многих его наблюдений и впечатлений, которые впоследствии нашли свое отражение в его произведениях — «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

Воспитание в доме Гончаровых не было обломовским, крепостническим. Конечно, барски обставленная жизнь могла располагать к беспечности, лености, байбачеству. Но здесь на страже стояла строгая и умная мать. Авдотья Матвеевна учила

детей не бояться труда и воспитывала в них трезвый взгляд на жизнь.

Мысль о необходимости самостоятельно пробивать дорогу в жизни, то есть трудиться, настойчиво внедрял в сознание крестных сыновей — Николая и Ивана Гончаровых — и Трегубов. Свои ардатовские имения и значительные денежные сбережения он подарил дочерям Авдотьи Матвеевны — Александре и Анне. Относительно сыновей же, как свидетельствует Потанин, он сказал: «Я дал им в приданое образование и позабочусь об их карьере — остальное пусть добывают сами».

* * *

Крестный всей душой привязался к Ване, а Ваня — к нему. Они всегда был и вместе. Трегубов исподволь готовил мальчика к полезному делу, передавал ему в доступной для ребенка форме свои знания, которые были обширны. Трегубов был вполне просвещенным человеком, стоявшим на уровне новых воззрений. Он следил за развитием наук, выписывал из столицы разнообразные журналы, газеты, книги.

Когда Ване минуло шесть лет, он обучил его грамоте. И тот скоро пристрастился к чтению: запрячется, бывало, в библиотеку крестного, да зачитается там про всякие путешествия, пока его не разыщут и не вытащат оттуда. Но не было для мальчика большего удовольствия, чем слушать увлекательные рассказы Трегубова о морских походах, о битвах, о дальних странах. «Ах, — говорил бывалый моряк Ване, — если бы ты сделал хоть четыре морских кампании[10]… то-то бы порадовал меня!»

Трегубов не подозревал тогда, что это его пожелание со временем сбудется и что его воспитанник сделает пять кампаний — да еще вокруг света, на славном фрегате «Паллада».

Ежедневно до полудня Трегубов отдавал приказ «заложить тарантас» и ехал с Ваней кататься по городу — «для воздуха». Он заезжал в разные лавки, на рынок, накупал там детям всяких сластей и игрушек. Или вез крестника в Свято-Троицкий собор, где хранились ополченческие и другие знамена 1812 года, рассказывал мальчику про Бородинское сражение, про «пожар московский», про то, как Симбирск выставил для армии много рекрутов, помогал провиантом и обмундированием, как весь русский народ поднялся тогда на борьбу с врагом и изгнал его с родной земли. О сражениях, походах, о вступлении русской армии в Париж часто вспоминали в кругу собиравшихся у Трегубова знакомых и друзей. Долго жили рассказы о войне и

среди дворовых людей Трегубова, бывших рекрутов и ополченцев. Годы детства, отрочества и юности Ивана Гончарова были еще полны отзвуков этих великих событий.

В рассказе Трегубова оживали картины далекого прошлого, когда по приказу царя Алексея Михайловича его окольничий Богдан Хитрово «с товарищи» заложил в 1648 году город Симбирск на высоком холме — «для сбереганию» вновь заселенных земель от набегов «инородцев». Сперва возник посад, рубленый город, а потом вокруг него образовались и поселения. Город постепенно рос, завязалась торговля с Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, Астраханью, куда вывозился главным образом хлеб.

Рассказывал крестный про осаду Степаном Разиным Симбирска в 1670 году, — про то, как воевода Милославский заперся в симбирской крепости, где пряталось много дворян, бежавших из окрестных городов и деревень в страхе перед восставшими крестьянами, как дважды Степан Разин был ранен — пулей в ногу и саблей в голову…

Не преминул Трегубов показать Ване место на берегу, где, по преданию, Петр I в 1722 году, во время похода к Дербенту, под звон колоколов «кушал чай».

Трегубое пробуждал у Вани с малых лет интерес к истории родины и родного города, любознательность и наблюдательность, развивал его фантазию.

Даже когда к Трегубову съезжались гости (он часто давал обеды и ужины), и тогда он не отпускал от себя мальчика.

Было шумно, весело во флигеле крестного, играла музыка, прыгали пробки в потолок. Мальчика угощали пирожным, мороженым, шампанским, баловали донельзя. Ваня с детским любопытством всматривался в этих веселых, праздных людей…

Однако у Трегубова собирались не только попировать, но и поговорить, поспорить о Вольтере, о французской литературе и о каких-то важных делах…

В повседневной жизни самого Трегубова и особенно его ближайших друзей, богатых помещиков Козырева и Гастурина[11], бросались в глаза поразительные противоречия. С одной стороны, эти люди по своей культуре стояли намного выше большинства поместных дворян. А с другой — в них с удивительной полнотой воплотились черты барской беспечности, общественного безразличия и бездействия. Впечатления от этой среды, нравов и людей, сохранившись с изумительной яркостью в памяти Гончарова с детских лет, впоследствии послужили ему материалом для важнейших творческих обобщений. «Мне кажется, у меня, — замечает в своих «Воспоминаниях»

Гончаров, — очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда при виде всех этих фигур, этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежания, и зародилось неясное представление об «обломовщине».

* * *

Еще и раньше, когда Ваня бывал в комнате родителей, его внимание привлекала большая рукописная книга в старинном кожаном переплете с медной застежкой. Это был «Летописец», куда родители вносили какие-то записи. А когда Ваня научился читать, он с любопытством раскрыл эту книгу. Из нее он узнал о своих предках, о важных семейных событиях. В «Летописце» дед описывал также редкие явления природы (сильную грозу, «знамение в небе» — северное сияние и т. п.), делал записи о политических событиях своего времени — о войне с Турцией, о «бунте» Емельяна Пугачева, о том, например, как Пугачев стоял под Оренбургом: «Из Оренбурга выезду не было, а были взаперти 6 месяцев… ели мясо кобылье и кожи сырые, многие с голоду помирали». Повествовал «Летописец» и об истории поражения Пугачева, пребывании его в Симбирске и казни в Москве, «на болоте, вместе с товарищами».[12]

Частенько забегал Ванюша в людскую. Среди простого народа ходил тогда еще рассказ, а скорее легенда, «про Пугача» — про то, как схватили его на Узени и привезли к графу Панину в Симбирск в железной клетке. Панин, окруженный приближенными, встретил «самозванца» на крыльце и спросил:

— Кто ты таков?

— Емельян Иванов Пугачев! — ответил тот.

— Как же ты, вор, смел называться государем?

— Я не ворон, — возразил Пугачев, играя словом, — я вороненок, а ворон еще летает!

Этот дерзкий ответ поразил народ, стоявший около дома, по толпе прошел гул не то удивления, не то одобрения… Почувствовал это вельможа и ударил Емельяна в лицо и вырвал у него клок из бороды. Сковали Пугачева по рукам и ногам железным обручем вокруг поясницы да приковали к стене…[13]

Детство и сказка неразлучны. Ваня, как и все дети, любил сказки, красочные лубочные книжонки о Бове-королевиче, Еруслане Лазаревиче да Саксонском разбойнике, которые ходили по рукам дворовых грамотеев, любил разные были-небылицы и всякие «страсти», от которых холодела душа… Часами готов был слушать мальчик волшебные сказки своей умной, доброй и

ласковой няни Аннушки, — она знала их несметное множество. Как Пушкин воспел в стихах свою няню, Арину Родионовну, так впоследствии Гончаров в письмах трогательно писал о няне Аннушке, которая была первой «музой», питавшей сказочными картинами и образами его детское воображение, приобщавшей его с малых лет к народной поэзии.

Все в доме окружало Ваню заботой, теплом, лаской. Светлыми, радостными глазами смотрел мальчик на мир. Такое детство могло быть только там, где не было ни гнетущей борьбы за существование, ни тех уродств барски-крепостнического воспитания, которые процветали в поместьях господ Головлевых и Обломовых.

Но как ни безмятежно было детство Гончарова, оно не усыпило в нем живого, чуткого восприятия жизни и острой наблюдательности. В доме Гончаровых не было тех жестоких расправ с крепостными, какие наблюдали в детстве Герцен, Некрасов, Щедрин, но тяжелый труд дворовых людей всегда был перед глазами Гончарова. И, возможно, именно благодаря этому он с юношеских лет проникся сочувствием к участи народа и неприязнью к крепостному праву.

Ваня был живой и шаловливый ребенок, причинявший своей непоседливостью и проделками беспокойство няне и родителям. Однажды, когда мальчику было лет пять, он пропал. Искали всюду, обегали весь сад, облазили овраг, обшарили все закоулки — пропал Ванечка! И когда все готовы были впасть в отчаяние, он явился. Но был неузнаваем: шелковистые белокурые волосы, лицо, руки, беленький костюмчик — все было черным, вымазанным в саже. Светились невинной радостью только большие голубые глаза. На вопрос, где он был, мальчик с гордостью ответил, что лазил в печь, чтобы через дымовую трубу посмотреть на небо…

Когда Ваня подрос, то иногда тайком от всех убегал из дому к берегу Волги, на высокий обрыв. Вправо и влево раскинулась широкая водная гладь. За рекою — степь беспредельная. Летний ветер то веял от реки, то налетал из жаркой заволжской степи. Внизу, на узкой полосе прибрежья, у пристаней и складов шла упорная, молчаливая работа.

По мосткам, переброшенным на борта барж, беспрестанно сновали грузчики, таская на спинах мешки с зерном. Тут же, на набережной, лежали горы тюков, бочек, рогожных кулей с солью, и оттуда тянуло запахом смолы, кожи, пеньки, сушеной рыбы. Не видно было конца плотам, которые в несколько рядов лепились вдоль берега. У переправы стояли обозы. По широкому простору реки двигались тяжело груженные баржи, лодки, там рыбаки

тянули невод, поперек течения перебирались паромы. По противоположному низкому берегу брели бурлаки. Навалившись всем телом на широкие кожаные пояса-лямки, они вверх по реке тянули бечевою грузные баржи «под одну бесконечную, как Русь, песню».[14]

Неустанно трудилась-работала река-богатырь, величавая, могучая, спокойная. При виде этой картины горячее билось сердце и чаще дышала грудь русского человека, и невольно задумывался он… Что-то большое и светлое подымалось в его душе. «Родина моя, мать наша», — говорил он и решительным шагом шел туда, где свершалась жизнь…

Забыв обо всем на свете, мальчик долго смотрел на развернувшуюся перед ним живописную панораму. Ему вдруг захотелось рисовать ее красками (этим он любил заниматься дома). Какое раздолье! Как много света и солнца! Его манили куда-то вдаль широкие разливы Волги со множеством плавающих, как лебеди, белых парусов. Он мечтательно вглядывался в эту широкую пелену вод, которые сливались с небосклоном. То ли жаркое, колеблющееся дыхание земли создавало легкий мираж, то ли это была детская фантазия, но Ваня вдруг радостно вскрикнул: «Море! Море!» — и бросился бежать домой, где его уже хватились и всюду искали.

Ваня Гончаров знал, что он нарушил строгий запрет матери не убегать из дому, да еще так далеко, на реку. Но как было не воспользоваться тем, что добрая няня Аннушка, сидя на террасе, задремала над чулком, а слуга Никита, истомленный зноем и бездельем, пошел в людскую «испить кваску», да так и пропал там…

Побывал однажды мальчик с крестным и на самой пристани в весеннее время. Река была в разливе. Высоко поднялись полые воды. Но и на берегу было что-то вроде половодья. Как волны, ходили там пестрые людские толпы. В поисках заработка сошелся сюда разный рабочий люд: крестьяне в рваных сермягах, татары в белых поярковых шляпах, мордвины и чуваши в длинных холщовых, разноцветно расшитых рубахах. Кормила многих матушка Волга. На берегу стоял неумолкаемый говор, мешавшийся с шумом речного прибоя, ударами волн о борта барок и лодок. Громко торговались подрядчики, пронзительно кричали торговки, предлагая свой товар, настойчиво зазывали к себе лавочники, бранились обозчики. Подвыпивший народ шумел у кабака. В толпе сновали юркие приказчики, нищие, отставные солдаты в расстегнутых шинелях и фуражках на затылках, цыгане, шарманщики, ребятишки.

С увлечением наблюдал Ваня этот необычайный

человеческий водоворот, с любопытством всматривался в лица людей, их одежды, прислушивался к их говору. Тогда он узнал, что именно вот эти простые, бедно одетые люди умеют ловко водить баржи и плоты, сильно грести веслами, носить на себе страшные тяжести, петь печальные и веселые песни. И в сердце мальчика затеплилось хорошее, доброе чувство к этим людям, жизнь которых была ему совсем неведома.

После шума и сутолоки, царивших на набережной, у пристаней, особенно тихим и безлюдным казался сам город. Домой возвращались по широким песчаным, пустынным улицам, вдоль которых тянулись низенькие деревянные дома и домишки с бесконечными заборами и дощатыми тротуарами. И лишь сады при усадьбах (где, казалось, тоже все вымерло) скрашивали эту однообразную и грустную картину. Город был как бы в дреме. Но вот и родительский дом, выкрашенный в белый цвет, с воротами и двумя калитками по бокам…

Брал с собою крестный Ваню и за Волгу, куда ездил в гости к одному помещику. Поднялись однажды рано утром, сели в местные тарантасики и стали осторожно спускаться с Венца, с нагорной части города, по крутым поворотам длинного ухабистого и размытого спуска. Сзади на гребне Венца белели дома и церковь. Заблаговестили к обедне. Путники медленно подвигались к Волге, и чем ближе подъезжали к реке, тем шире, необъятнее казалась она в своей двухверстной ширине. Вот и переправа. Там их ожидала широкая простая лодка с сиденьем, покрытым русским крестьянским ковром. У руля стоял атаман, на веслах сидели гребцы. Трегубов приказал плыть, но лодка не трогалась. Атаман снял шляпу, перекрестился. «Снимай шапки, ребята!» Обнажились головы, замелькало крестное знамя. Опасности, однако, никакой не предвиделось. Просто тогда на Руси никакое дело не обходилось без этого. «Отваливай, ребята!» — весело крикнул атаман. Весла ударили, пошла лодка… Дул свежий ветер, солнце сверкало, играя и отражаясь в речных волнах. Кто-то из гребцов затянул протяжную, грустную песню. В ответ ему грянул хор голосов — разудало, весело, с гиканьем и свистом, и дружнее взлетели весла, и быстрее понеслась лодка. Съехав на берег, бричка мало-помалу стала утопать в ковыльной степи. После Волги — море без волн и берегов. Ровно, гладко, тихо — не на чем остановить взор. Не видать ни селений, ни лесов, ни кустика. Только по небу ходят облака. На земле все дремлет и безмолствует. Изредка поднимется встревоженный степной орел-беркут, развернет саженные крылья и поплывет над степью. Но вот, наконец, — запестрели пахоты, зазеленели посевы…[15]

Много детскому сердцу говорила и песня на реке, и плеск волн, и просторы Волги, и степь бескрайная… Это был ранний, чистый трепет души, рождение сыновней любви к родине, родной русской природе.

* * *

Начальные навыки к чтению и письму Иван Гончаров получил дома, но затем его отдали учиться в пансион какой-то чиновницы. «Она была рябая, как терка, злая и стегала ремнем по пальцам тех, кто писал криво или высовывал язык, когда писал», — вспоминал впоследствии романист.

Родители скоро избавили сына от этой воспитательницы-«салтычихи» и определили его в другой пансион — за Волгой, в селе Репьевка (Архангельское, «Батьма-тож») при имении княгини Хованской.

Екатерина Павловна Хованская, дочь П. И. Ивашева, соратника Суворова, и сестра известного декабриста В. П. Ивашева[16], принадлежала к передовому слою русского дворянства. По авторитетной рекомендации она для воспитания своих детей пригласила молодого священника Ф. С. Троицкого, который и стал содержателем пансиона «для местных дворян» при ее имении.

Это был необычный для провинциальной поповской братии человек. Он имел светский вид, изящно одевался, вопреки обычаю женился на иностранке. В одной из своих автобиографий[17] Гончаров замечает, что Троицкий был «весьма умный и ученый человек», не чуждый идеям просвещения. Троицкий часто бывал в доме Гончаровых, и они спокойно доверили ему обучение и воспитание своего любимого сына.

Они сделали, несомненно, наилучший из всего возможного выбор. Купцы, что побогаче, подражая дворянам., брали в дом для своих детей гувернанток, которых, по тогдашнему обыкновению, называли «мамзелями». Но проще и выгоднее всего было послать учиться детей в местную гимназию. Однако на семейном совете эта возможность была решительно отвергнута. Дело в том, что Трегубов стремился дать своим крестным сыновьям практически полезное воспитание. Он всячески развивал у детей, особенно у Вани, интерес к прикладным наукам — математике, физике, астрономии, космогонии, отличным знатоком которых был сам. Гимназическое образование с уклоном в гуманитарные науки им не признавалось лучшим. К тому же о гимназиях того времени шла дурная слава. Преподавание там поставлено было плохо, а в

воспитании допускалось физическое насилие и грубое издевательство над личностью ученика.

Совершенно иная атмосфера была в пансионе Троицкого. Детям он стремился дать рациональное воспитание — развивал у них охоту к чтению, «практиковал прогулки на природе» с познавательными целями, приучал к труду и прилежанию, — чего как раз зачастую не хватало выкормышам из дворянско-поместных усадеб. Впоследствии Иван Александрович с благодарностью вспоминал о своем учителе.

Имя и покровительство Трегубова спасали, видимо, Гончарова от обид, которые обычно приходилось терпеть в дворянских пансионах купеческим детям. Дворянчики и ещё более отпрыски князьков свысока смотрели на них и язвили: «Ну ты, купец на спине рубец!» А те отвечали: «А ты князь, да по колена грязь!» Одни гордились родом, а другие богатством, что иногда и вело к дракам и спорам.

В пансионе Иван Гончаров получил «первоначальное образование в науках и языках, французском и немецком». В библиотеке Троицкого он нашел и прочитал много книг. Первыми из них были стихи Державина, которые пансионер Иван Гончаров переписывал и учил наизусть, а также Ломоносова, потом «Недоросль» Фонвизина. «Бригадира» не давали, чтобы оберечь детские умы от фривольности… Затем последовали книги по отечественной (Голиков, Карамзин) и естественной истории, описания различных путешествий, в частности путешествий Кука, Мунго-Парка и Крашенинникова, который горячо призывал «знать свое отечество во всех его пределах».

В одной из автобиографий Гончаров отмечал, что Ломоносов, Державин, Фонвизин и другие русские писатели «заронили» в нем «охоту к чтению», а книги о путешествиях — «желание, конечно, тогда еще неясное и бессознательное, видеть описанные в путешествиях дальние страны».

По окончании пансиона, где Ваня пробыл два года, он был отправлен учиться в Москву, в «дельное» заведение — Коммерческое училище, куда ранее был определен его старший брат Николай.

Свершилось это ранним июльским утром. Город, сады, Волга еще не очнулись от дремы, а в доме Гончаровых все пришло в движение: Ванечку отправляли в дальний путь.

Дорожная бричка уже стояла у крыльца. Окончены последние приготовления. Все трогательно и шумно прощаются с мальчиком, напутствуют в дорогу. И он, ошеломленный и растерянный, переходит из объятий в объятия — нянюшки, слуг, крестного, маменьки, — пока не попадает в бричку.

Открыты уже ворота, бричка выехала на улицу, зашуршал песок под колесами, скрылся из глаз на повороте родной дом. Но город долго виден с Московского тракта… Впереди дальняя дорога…

В Москве хлопоты по устройству Вани взяла на себя по просьбе Авдотьи Матвеевны некая подполковница Чекалова. «Подполковница Анна Чекалова, — говорилось в прошении, поданном директору Коммерческого училища, — желает отдать, по препоручению симбирской купеческой жены вдовы Авдотьи Гончаровой, сына ее Ивана от роду 10-ти лет в число полных пансионеров Училища, который читать и писать по-российски, немецки и французски умеет и обе части арифметики знает достаточно; обучался также закону божию, священной истории, российской грамматике и основаниям всеобщей географии».

Эта просьба была удовлетворена, и Иван Гончаров «1822 года… августа 6 дня» был зачислен «полным пансионером» училища.

Глава вторая
В «дельном» заведении на остоженке

Коммерческое училище помещалось в здании внушительного вида с колоннадой. Вступавшего в его стены охватывала атмосфера казенной торжественности, строгости и безукоризненного порядка. Училище в ту пору, по словам одного из бывших его воспитанников, «было в полной славе». Сама императрица Мария Федоровна состояла его шефом. Вот почему, несмотря на вопиющие недостатки, официальная репутация училища как образцового учреждения всячески раздувалась.

Директором его являлся бывший адъюнкт университета Тит Алексеевич Каменецкий — «человек чрезвычайно искательный, хитрый и вкрадчивый… a la Чичиков… Образования он был весьма недальнего, особенно для занимаемого им поста[18]. В училище все делалось больше напоказ — внимание уделялось главным образом поддержанию чисто внешнего благополучия и порядка. Особенно стремился директор показать «товар лицом» при «высочайших посещениях». В таких случаях занятия в классах прекращались, на все наводился внешний лоск.

Старания директора достигали своей цели. Так, император Николай I после посещения училища в 1826 году и «обозрения» его «всемилостивейше» заметил, что «воспитанники набожны, благонравны и тверды в знаниях».

На самом же деле в училище царили казенщина, бездушие, мертвящий душу формализм. «Форменностью наше училище, — свидетельствует тот же бывший воспитанник училища, — превосходило всякое военно-учебное…» Почти в каждом классе директор имел «фискалов». Каждый надзиратель вел по своему классу «кондуитную книгу». В «оную» вносились все проступки воспитанников.

Надзиратели были грубы и жестоки — «давали пали» ученикам, то есть били линейками по ладоням до крови, лбом о классную доску. В ходу были и розги, назначавшиеся самим директором. Иногда сек он и самолично. Историк С. М. Соловьев, посещавший училище в те годы, когда там находился Иван Гончаров, впоследствии писал: «Учили плохо, а учителя были допотопные».[19] «Педантами-буквоедами» представлены они и Гончаровым в его воспоминаниях об училище.

Воспитанники ненавидели или презирали своих учителей и надзирателей. И только страх перед наказанием смирял шалунов. Широко культивировалось среди них шпионство друг за другом.

Обращалось самое строгое внимание на «чин классов»; воспитанники старших классов считали позорным «якшаться» с низшими.

Замкнутый, аракчеевский режим училища глушил в воспитанниках проявление каких-либо общественных интересов. Принимались все меры к тому, чтобы извне в стены училища не проникало ничего предосудительного, тем паче известия или слухи политического характера. Пуще всего следили за тем, чтобы воспитанники «не читали чего-нибудь лишнего», не собирались в какие-нибудь кружки хотя бы для обсуждения прочитанных книг.

Администрация постаралась, чтобы события на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года не произвели волнующего впечатления на воспитанников. Тот «ужас в Москве», который был вызван жестокой расправой Николая I с декабристами и который описан Герценом в «Былое и думы», вряд ли проникал через глухие стены училища. Но не знать вовсе о событиях воспитанники не могли. Они-то уж, во всяком случае, слышали, как «пушки гремели с высот Кремля» во славу самодержца, который, по словам Герцена, пышно отпраздновал казнь над пятью декабристами. Но вряд ли кто из воспитанников осознал тогда действительный смысл происходивших событий. И если Герцен писал, что казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила «ребяческий сон» его души и вызвала у него дерзкие «политические мечты», то у его сверстника Гончарова едва ли мог пробудиться тогда такой же, по выражению Герцена, «детский либерализм». В своих «Воспоминаниях» и письмах Гончаров никогда не касался того, как он и его товарищи по училищу восприняли декабрьские события. Но не исключено, что именно тогда возникло у него то сочувственное отношение к декабристам, которое он хранил в своей душе до конца жизни. Вероятно, в то время Гончаров уже знал и полюбил поэзию Рылеева. И потом, много-много лет спустя, путешествуя по Сибири, он вспомнит стихи Рылеева, которые учил, конечно, еще в юности. В годы формирования общественных взглядов Гончарова ему в программе декабристов, несомненно, импонировало их стремление к ликвидации крепостного права, к просвещению народа, к уважению прав человека, их патриотизм, но отнюдь, конечно, не их революционное действие против монарха.

* * *

Ваня остро чувствовал отрыв от родного дома, тосковал и томился в непривычной обстановке. Отрадно было ощущать близость брата, с которым удавалось видеться после занятий.

Однообразно текла повседневная жизнь училища. День начинался и кончался по звону колокола, висевшего на небольшой башне во дворе. Каждое утро и вечером, перед сном, воспитанников в строгом порядке выводили на молитву. Согласно предписанным правилам, они делали поясные и земные поклоны, то воздевая очи свои горе, то опуская смиренно их долу. Затем шли на завтрак в столовую. За особый стол, не покрытый скатертью, «для пристыжения» сажали «нерадивых» учеников или шалуна, который при всеобщей тишине мяукнул кошкой, и кормили их из деревянной, а не оловянной посуды. Пришлось побывать за этим «штрафным столом», видимо, и Ивану Гончарову, поскольку он, по характеристике педагогов, был «шалостлив».

В училище преподавали бухгалтерию, коммерческую арифметику, математику, технологию, коммерческую географию, историю, риторику, словесность и чистописание на трех языках — русском, немецком и французском, законоведение, рисование, церковное и светское пение и танцы. Образовательный курс был рассчитан на восемь лет и разделен на четыре курса, или «возраста».

Весь день шли занятия в классах, и только к вечеру воспитанники возвращались в свои дортуары. В праздники и воскресенья их вели в школьную церковь. Церковный хор из воспитанников училища славился на всю округу, привлекая в приход именитых особ и доставляя «августейшую» похвалу директору. Выход на прогулки в город полным пансионерам дозволялся только в праздничные дни и то по особому разрешению.

Первые два года Иван Гончаров был в числе подававших «хорошую надежду». Но в 1824 году, по постановлению конференции училища, он был оставлен в «младшем возрасте» на второе двухлетие по малолетству. Это бездушное, неразумное решение обрекло способного ученика на бессмысленную потерю времени и болезненные переживания.

Поездка домой на каникулы, встреча с матерью и любимым крестным, радостные прогулки по Волге — все это несколько сгладило пережитую горечь. Однако, вернувшись в стены училища, мальчик стал менее старателен в занятиях. Особенно угнетали его вторичная зубрежка, механическое повторение всего пройденного. И в аттестации от 10 июля 1825 года было указано, что воспитанник Иван Гончаров «замечен в нерадении».

Но Иван Гончаров не был нерадивым учеником. Несмотря на несправедливое отношение к себе и нелюбовь к таким предметам, как бухгалтерия и купеческое счетоводство, он все же снова добивается хороших оценок. 1 июля 1826 года конференция постановила: «Иван Гончаров, хотя по числу баллов и заслуживал бы награждения, но, как пробыл в классе вместо одного два двухлетия, и, как по сему, так и по летам своим долженствовал бы оказать лучшие успехи пред всеми учениками того класса, в коем находился, и притом шалостлив, — то Конференция, не признавая его достойным отличия, почитает справедливым и достаточным переместить токмо во 2-й возраст».[20]

Это было новым издевательством над воспитанником. Только теперь в вину ему вменялось не «малолетство», а, наоборот, то, что он был переростком. 20 июля 1828 года, при переводе в «третий возраст», он был «единогласно признан достойным награждения книгою». Гончаров выполнял все, что требовалось по программе. Но это было чисто внешнее усердие. Атмосфера училища с каждым годом становилась все более и более чуждой впечатлительной, живой и вместе с тем мечтательно-созерцательной натуре юного Гончарова.

Восьмилетнее пребывание в Коммерческом училище оставило на всю жизнь в душе Ивана Александровича тяжкий след. В 1867 году, отвечая на просьбу брата прислать автобиографию для «Симбирской памятной книжки», он, между прочим, писал:

«Об училище я тоже ничего не упомянул в биографии, потому что мне тяжело вспоминать о нем, и если б пришлось вспоминать, то надо бы было помянуть лихом, а я этого не могу, и потому о нем ни слова. По милости тупого и официального рутинера, Тита Алексеевича, мы кисли там восемь лет, восемь лучших лет, без дела! Да, без дела. А он еще задержал меня четыре года в младшем классе, когда я был там лучше всех, потому только, что я был молод, то есть мал, а знал больше всех. Он хлопотал, чтобы было тихо в классах, чтобы не шумели, чтоб не читали чего-нибудь лишнего, не принадлежащего к классам, а не хватало его ума на то, чтобы оценить и прогнать бездарных и бестолковых учителей, как Алексей Логинович, который молол, сам не знал, от старости и от пьянства, что и как, а только дрался линейкой; или Христиан Иванович, вбивавший два года склонения и спряжения французского и немецкого, которые сам плохо знал; Гольтеков, заставлявший наизусть долбить историю Шрекка и ни разу не потрудившийся живым словом поговорить с учениками о том, что там написано. И какая программа: два года на французские и немецкие склонения и спряжения да на древнюю историю и дроби; следующие два года на синтаксис, на среднюю

историю (по Кайданову или Шрекку) да алгебру до уравнений, итого четыре года на то, на что много двух лет! А там еще четыре года на так называемую словесность иностранную и русскую, то есть на долбление тощих тетрадок немца Валентина, плохо знавшего по-французски Тита и отжившего ритора Карецкого! А потом вершина образования — это quasi-естественные науки у того же пьяного Алексея Логиновича, то есть тощие тетрадки да букашки из домашнего сада, и лягушки, и камешки с Девичьего поля; да сам Тит Алексеевич преподавал премудрость, то есть математику 20-летним юношам и хлопотал пуще всего, чтоб его боялись!

Нет, мимо это милое училище!»[21]

В течение восьми лет коверкало это «милое училище» сознание и душу юноши, но не смогло убить в нем живых интересов и стремлений. Именно в стенах его возникло у Гончарова первое, хотя еще и не вполне осознанное, ощущение своего жизненного призвания, чувство внутреннего протеста против всякого насилия, унижения человеческой личности, казенщины. Его все сильнее и сильнее влекла к себе литература с ее волнующими картинами и образами, музыкой слова.

* * *

При училище была довольно обширная библиотека. Там, забыв обо всем, можно было предаться чтению. Гончаров нашел в ней и вновь прочитал уже знакомые ему сочинения Ломоносова, Фонвизина, Озерова и других. Брал читать и разные описания путешествий и книги исторического содержания, отдельные тома Вольтера, «Элоизу» Руссо. «Долго пленял» мальчика Тассо своим «Освобожденным Иерусалимом». Предметом сильного увлечения явились произведения иностранной беллетристики — романы модных тогда писателей Радклиф, Коттень, Жанлис и многие другие, и притом «в чудовищных переводах».

В последние годы пребывания в училище Гончаров зачитывался произведениями французских беллетристов господствовавшей тогда школы — В. Гюго, Ж. Жанена, А. Дюма, Э. Сю, которых читал в подлиннике.

Ни среди педагогов, ни среди товарищей Гончаров не встретил человека, который научил бы его разбираться в прочитанном, понимать поэзию, вырабатывать свой вкус. Все достигалось работой собственного ума и чувства.

«Это повальное чтение, без присмотра, без руководства и без всякой, конечно, критики и даже порядка в

последовательности, — отмечал Гончаров в одной из своих автобиографий, — открыв мальчику преждевременно глаза на многое, не могло не подействовать на усиленное развитие фантазии, и без того слишком живой от природы».

Исключительная сосредоточенность на книжных интересах создавала возможность известного отрыва от жизни, ухода в мир возвышенной, но безжизненной мечты.

Так, собственно, и произошло с героем романа «Обрыв», Райским, в школьные годы, когда он от оскорблений грубой действительности стремился скрыться в фантазии, размышлениях о прочитанном.

В эпизод, рисующий школьные годы Райского, Гончаров, несомненно, внес кое-что из «лично пережитого». Ведь склонность к наблюдательности, мышлению «в образах», подчеркнутые в школьнике Райском, были присущи и ученику Гончарову. И, может быть, это вовсе не Райскому, а самому Ивану Гончарову, под впечатлением героической поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», снились «горячие сны о далеких странах, о необыкновенных людях в латах, и каменистые пустыни Палестины блистали перед ним своей сухой, страшной красотой». И он, наверно, тоже «содрогался от желания посидеть на камнях пустыни, разрубить сарацина, томиться жаждой и умереть без нужды, для того только, чтоб видели, что он умеет умирать». Быть может, и он «сжимался в комок и читал жадно, почти не переводя духа, но внутренне разрываясь от волнения», и воображение уносило его в свою чудесную сферу, где все не было похоже на текущую жизнь около него, а потом отрезвлялся от всего, как от хмеля, и возвращался из мира фантазии в мир действительный.

Но, не будучи пассивным по уму, юноша искал для себя выход из гнетущей атмосферы училища и находил его. Вспоминая впоследствии об этой поре своей жизни, Гончаров писал: «Я, с 14-15-летнего возраста (то есть с 1826–1827 года. — А. Р.), не подозревая в себе никакого таланта, читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно… И все это было без всякой практической цели, а просто из влечения писать, учиться, заниматься, в смутной надежде, что выйдет что-нибудь».[22]

От первоначального неразборчивого чтения он постепенно переходил к более вдумчивому ознакомлению с произведениями русских и иностранных классиков, к систематическому самообразованию.

В возрасте пятнадцати-шестнадцати лет Гончаров познакомился с сочинениями Карамзина и Жуковского. Карамзин оставил в его духовном развитии глубокий и плодотворный след. Именно Карамзину Гончаров, как в свое время и юный Пушкин,

был обязан развитием в себе гуманных чувств и понятия о ценности человеческой личности. Но как художник Карамзин мало повлиял на Гончарова. По собственному признанию Гончарова, манерный и сентиментальный стиль карамзинских сочинений не сильно увлекал его. Вслед за Карамзиным всходила звезда Жуковского. Под обаянием его романтичной, «мечтательной, таинственной и нежной» поэзии находился некоторое время и Иван Гончаров.

Но вот среди почти всеобщего преклонения перед Карамзиным и Жуковским в поэзии зазвучал новый, покоряющей художественной силы голос-Пушкина.

Для Гончарова, как и для целого поколения русской молодежи того времени, Пушкин явился несравненным учителем искусства и жизни, воспитателем благородных человеческих чувств, любви к родине. В пушкинской поэзии Гончаров нашел высший идеал художественности, живой красоты и правды, естественности воображения, глубины мысли и юмора. И это преклонение, этот пиэтет остались на всю жизнь.

В старости, в дни пушкинских торжеств в Москве в 1880 году Гончаров писал Л. А. Полонскому, издателю журнала «Страна»: «Я по летам своим старше всех современных писателей, принадлежу к лучшей поре расцветания пушкинского гения, когда он так обаятельно действовал на общество, особенно на молодые поколения. Старики еще ворчали и косились на него, тогда как мы все падали на колени перед ним. Первым прямым учителем в развитии гуманитета, вообще в нравственной сфере был Карамзин, а в деле поэзии мне и моим сверстникам, 15-16-летним юношам, приходилось питаться Державиным, Дмитриевым, Озеровым, даже Херасковым, которого в школе выдавали тоже за поэта. И вдруг Пушкин! Я узнал его с «Онегина», который выходил тогда периодически, отдельными главами.[23] Боже мой! Какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг, и какие правды и поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной, — хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках! Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной натуры!»[24]

Это было начало того вдохновенного изучения творчества Пушкина, которое Гончаров продолжал в университете и в последующие годы жизни, вплоть до работы над «Обыкновенной историей».

* * *

Пробыв долгих восемь лет в стенах «дельного» заведения, Гончаров окончательно убедился, что его интересы и стремления решительно расходятся с целями и задачами Коммерческого училища.

Серьезное самообразование — а не училище, конечно, — дало Гончарову познания, которые были необходимы для поступления в университет, в частности, хорошее знание языков.

Далее оставаться в училище было бессмысленно. И, видимо, в один из приездов на каникулы домой Иван Гончаров добился согласия матери на уход из училища.

Авдотье Матвеевне стало ясно, что из Ивана не выйдет коммерсанта, и она не препятствовала его стремлению. «Наша мать была умница, что не бралась указывать, куда идти мне, куда тебе…» — писал Гончаров брату много лет спустя.

Чуткий и добрый Трегубов был, конечно, против какого-либо насилия над юношей. И он предоставил ему право самому решать свою дальнейшую судьбу. Но требовался благовидный и уважительный повод для ухода из училища. И он был найден.

Об этом свидетельствует следующая запись в журнале заседаний совета училища от 13 сентября 1830 года: «Слушав присланное в сей Совет от Симбирской купеческой вдовы Авдотьи Матвеевой Гончаровой прошение, в котором прописывает, что в августе 1822 года записан был в число полных пансионеров сего Училища сын ее Иван, который по трудной болезни брата своего Николая, обучавшегося также в сем Училище, должен безотлучно находиться при нем, а как окончание сей болезни предвидеть невозможно, да и по расстройству коммерческих дел ее, Гончаровой, она не в состоянии будучи продолжать платы пансионных денег за сына своего Ивана Гончарова, просит Совет уволить его из училища и исключить из списка пансионеров, снабдить его об учении и поведении надлежащим свидетельством».

Выставленные Авдотьей Матвеевной мотивы к увольнению сына с внешней стороны были правдивы, но совершенно фиктивны на самом деле. Верно, что тогда брат Ивана Гончарова Николай (Коммерческое училище он окончил в 1828 году) был болен, но это обстоятельство не могло еще служить достаточным поводом для ухода из училища за два года до его окончания.

Что касается расстройства коммерческих дел «купеческой вдовы» Гончаровой, то его не было, да и не могло быть по той простой причине, что в то время коммерческими делами Авдотья Матвеевна уже не занималась. Она была полновластной хозяйкой не только у себя в доме, но и в деревенских имениях Трегубова. При этих обстоятельствах Гончарова могла, конечно, платить за

обучение сына. Обучение в университете двух сыновей требовало значительно больших средств, и они были найдены.

Как бы там ни было, просьба Гончаровой была удовлетворена советом училища. В выданном Ивану Гончарову свидетельстве содержались следующие оценки его успеваемости: по русскому и иностранному языкам, географии и истории — «очень хорошие», в коммерческой арифметике — «средственные».

Из училища Гончаров ушел в возрасте восемнадцати лет. Это была пора, когда еще только начинали складываться его воззрения на жизнь, смутно определяться его общественные интересы и понятия. Но уже тогда с достаточной ясностью наметились склонности Гончарова к гуманитарным наукам, литературе, призвание писать. Уже тогда была заложена основа эстетического вкуса юноши, понимания им родного, самобытного художественного слова. Впоследствии в «Необыкновенной истории» Гончаров указывал: «Писать — это призвание — оно обращается в страсть. И у меня была эта страсть — почти с детства, еще в школе!»[25]

Эти задатки выросли и окрепли в Гончарове на дальнейших ступенях жизни. И первой из них после Коммерческого училища была университетская ступень, на которую юный Гончаров подымался с радостным и волнующим ощущением наступающей личной свободы.

* * *

Летом 1830 года Гончаров не ездил на каникулы домой, а остался в Москве, чтобы приготовиться к вступлению в университет.

Но осенью в Москве началась холера, и вследствие карантина приема в университет не было. Рухнули мечты юноши.

В «холерный» 1830 год «Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше; мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы; страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью, что тот-то занемог, что такой-то умер…»[26]

Врачи, вроде таких, как Эвениус, Маркус, Пфеллер, Гааз, о

которых писал И. А. Арсеньев в своих «Воспоминаниях»[27], проявляли полную беспомощность и зачастую были сами служителями смерти. Когда одного из них спросили: «Что нужно делать?» — он ответил: «Обратиться прежде всего к богу». Входившие в дом, по их совету, прыскались уксусом и протирали руки «о-де-колоном».

Проникла холера и в стены Московского университета, куда стремился Гончаров. И вот вместо желанной свободы — сидение дома, в четырех стенах. Непереносимо было томление, если бы не книги, не поэзия, не Пушкин, строки которого звучали в сердце:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?[28]

Цель была ясна, — университет! — и все нужно было подчинить ей.

В Московский университет стремились поступить и некоторые школьные товарищи Ивана Гончарова и брат его Николай (на юридический факультет). Вместе с ними Гончаров стал тщательно, «издалека», готовиться к экзаменам. Впереди был целый год. Все, казалось, было предусмотрено, учтено до мелочей в программных требованиях. Это позволяло юношам твердо надеяться на успех, как вдруг, подобно грому среди ясного дня, над ними «разразилось известие»: в университете получено предписание из министерства просвещения требовать от вступающих в словесное отделение знание греческого языка, который изучали тогда только в духовных училищах.

Это, несомненно, затрудняло поступление в университет и прежде всего било по интересам разночинно-демократической молодежи, которая не имела средств брать уроки греческого языка частным образом.

Гончаров знал «порядочно» по-французски, по-немецки, отчасти по-английски и по-латыни. Без латинского языка тогда нельзя было поступить ни на один из факультетов, и незнание латыни, по словам Гончарова, считалось даже в обществе «ересью». Зачастую претенденты на высшее образование притворялись знающими по-латыни и щеголяли заученными

латинскими цитатами, не понимая их смысла. Гончаров умел переводить a livre ouvert[29] Корнелия Непота, по которому тогда все учились латыни. Но о греческом и понятия не имел. К счастью, предписание пришло за четыре месяца до начала экзаменов. С упорством взялся Гончаров с друзьями за изучение и этого языка.

«Напустились» особенно на грамматику и синтаксис, и экзамен по греческому, хотя и с грехом пополам, был сдан. Выдержали испытания и по другим предметам. Много волнений пережили друзья, особенно по милости этого «греческого», но в конце концов «веселыми ногами» вышли из зала, где заседал ареопаг профессоров-экзаменаторов.

В августе 1831 года Гончаров был зачислен студентом по «словесному факультету» (так тогда назывался филологический факультет) и надел форменный сюртук с малиновым воротником.

Глава третья
В московском университете

После 14 декабря 1825 года в России, по словам Герцена, «все пошло назад»: наступила реакция. Но силы прогресса не угасали, а, наоборот, Исподволь возрастали и множились. Напуганное революционными событиями во Франции в 1830 году, польским освободительным движением 1830–1831 годов, крестьянскими восстаниями и холерными бунтами, царское правительство усилило репрессии.

Николай I явился жестоким душителем всего прогрессивного в русском обществе. Всюду давал о себе знать вновь учрежденный царем корпус жандармов во главе с Бенкендорфом. Во всех сферах общественной жизни грубо насаждались «охранительные начала православия, самодержавия и народности», сформулированные графом Уваровым и ставшие программой николаевского абсолютизма. В этой политике Уваров видел «последний якорь спасения» самодержавно-крепостнического строя. В «нынешнем положении вещей и умов, — писал он царю, — нельзя не умножать, где только можно, умственных плотин».

Политика умножения «умственных плотин» осуществлялась в виде всевозможных репрессий и множества стеснительных мер в области просвещения, в науке, литературе, искусстве, журналистике и т. д. Уваров мечтал «отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории…»

Царское правительство обрекало университеты на застой и рутину. Оно стремилось превратить их в проводники «охранительных начал» официальной правительственной идеологии. Сначала в университетах было запрещено преподавание государственного права иностранных государств, — боялись искушения студенческих умов понятиями «революция» и «конституция». Затем была изгнана и философия. Под подозрение подпали даже науки о классической древности, поскольку-де слушатели могли из них черпать вредные идеи республиканизма.

Правительственные репрессии и стеснения испытывал на себе и Московский университет. Но, по замечанию Герцена, он «устоял и начал первый вырезываться из всеобщего тумана».

С Московским университетом у Николая I были свои особые счеты. Он возненавидел его с Полежаевской истории (1826 г.). За «оскорбительную» для него лично, как монарха, поэму «Сашка»

Николай I велел уволить Полежаева из университета и отдать в солдаты. Мстил он университету и в дальнейшем. «Но, несмотря на это, — свидетельствует Герцен, — опальный университет рос влиянием: в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой…»[30]

Дух демократизма, веявший в студенческой среде, относительная свободность в преподавании, отсутствие казенщины в отношениях между профессорами и их слушателями — все это накладывало на Московский университет тот особый отпечаток, который сразу бросился в глаза Гончарову при вступлении в его стены.

Превосходство Московского университета над другими русскими университетами отмечал Белинский и связывал это с тем, что он был основан в Москве. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Герцен, Белинский, все лучшие сыны России гордились Москвой и видели в ней сердце национальной жизни. В восприятии Герцена Москва всегда вставала как «народный город». Сонная и вялая с виду, Москва таила в себе могучие силы, много «сердца и энергии». Белинский видел в ней резервуар «народной силы», всего лучшего «народного». Когда на Россию надвигалась гроза, — Москва совершала подвиг. Москва не склонила своей головы перед иноземными захватчиками в 1612 году. Весь русский народ тогда поднялся на защиту Москвы. Не встретил покорности от Москвы и Наполеон в 1812 году. Он тщетно ждал ключей от города у Дорогомиловской заставы. «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головой!» — гордо восклицал Пушкин. Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвой после Отечественной войны 1812 года. Он становился, по словам Герцена, истинным «средоточием русского образования».

В самом начале тридцатых годов, когда Гончаров стал студентом, Московский университет переживал важный период своего развития. Происходило обновление значительной части профессорского состава. Старых профессоров, «в прошедшем веке запоздалых», заменяли новыми. Появились блестящие молодые дарования, с широкой научной подготовкой. Обновлялись и курсы лекций. Вследствие этого повысился уровень университетского образования. «Образование, вынесенное из университета, — свидетельствует Гончаров в своих «Воспоминаниях», — ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей

общества».

Молодежь, вливавшаяся тогда в Московский университет, в большинстве своем была охвачена благородным стремлением к знанию. «Мы, юноши, полвека тому назад, — замечает Гончаров, — смотрели на университет, как на святилище, и вступали в его стены со страхом и трепетом… Свободный выбор науки, требующий сознательного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождавшееся из того определение своего будущего призвания — все это захватывало не только ум, но и всю молодую душу». Эта тяга к знанию, эта романтическая приподнятость стремлений составляли характерную черту прогрессивной русской молодежи того времени.

В обстановке реакции Московский университет был настоящим очагом свободомыслия. Этим он, конечно, обязан был не только профессорам, но более всего определенному кругу своих студентов, среди которых прежде всего следует назвать Герцена, Огарева, Белинского, Лермонтова. Герцен, впервые входя в университетскую аудиторию, мечтал создать в ней «зерно общества по образу и подобию декабристов». Белинский, для которого Московский университет был «святилищем знания», начал в нем свою революционную деятельность. В стенах университета мужал протестующий дух Лермонтова…

* * *

Однако студенческая среда была разнородной и по социальному составу, и по воспитанию, и по политическому развитию. По-разному воспринималась студентами и университетская действительность.

Гончаров по-иному воспринял ее, чем, например, Герцен или Белинский. Вначале в университете он увидел только одно — радостную возможность изучать любимые науки. Внешне независимые отношения между профессорами и студентами, добровольное посещение лекций, живой обмен мнениями в аудитории — все воспринималось тогда Гончаровым как проявление и личных свобод и свободы науки. Университет казался ему как бы «ученой республикой».

Представление о том, каковы были настроения Гончарова в первые годы учения в университете, можно с достаточной определенностью составить себе на основании следующих строк его «Воспоминаний». Имея в виду второй год обучения, Гончаров писал:

«Этот год (с августа 1832 по август 1833) был лучшим и самым счастливым нашим годом. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр. Если же и бывали какие-нибудь истории, в которых замешаны бывшие до нас студенты, то мы тогда ничего об этом не знали. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже с некоторым педантизмом относились к ней. Кроме нее, в стенах университета для нас ничего не было. Дома всякий жил по-своему, делал что хотел, развлекался как умел — все вразброд, но в университет мы ходили только учиться, не внося с собой никаких других забот и дел.

И точно была республика: над нами не было никакого авторитета, кроме авторитета науки и ее преподавателей. Начальства как будто никакого не было, — но оно, конечно, было, только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие: знали о нем, можно сказать, по слухам».

Из всего этого ясно, что университетская действительность воспринималась студентом Гончаровым односторонне и не глубоко. Академические интересы преобладали у него в ту пору над общественными. Преобладали, но вовсе не поглощали его целиком. Университет, — и это ясно осознавал Гончаров, — открыл перед ним пути «не в одну научную сферу», но и «в самую жизнь». На университет он смотрел, как на источник познания, и здесь, у этого источника, зрела в нем мысль о благородном и полезном служении обществу, родине. В любви к университету, науке, в мечтах о будущем проявлялись гуманные чувства и стремления юноши. Вера в возможность «законной, настоящей свободы науки» показывает, как еще незрелы и наивны были в то время общественные воззрения Гончарова. И вместе с тем в этом факте выразилось прогрессивное направление мыслей юноши: он за «свободомыслие» в науке, он против стеснения ее развития.

Проявляя заинтересованность положением университетской науки, Гончаров, однако, не включался в политическую жизнь студенчества. Ни условия воспитания, ни среда, окружавшая его в детстве, отрочестве и юности, не зародили в нем стремлений, которые влекли бы его на путь решительного протеста. Юноша готовил себя не для борьбы, но для благородного служения гуманным идеалам.

Естественно, что у него не было той политической осведомленности и зоркости, какую в студенческие годы проявляли Герцен, Огарев, Белинский. Многое тогда ускользнуло

от глаз Гончарова, а многое было воспринято с внешней стороны. Правда, его слова о том, что весь второй год обучения (1832–1833) прошел «без внутренних потрясений, без всяких историй», относятся лишь к небольшой группе словесников-сокурсников и, следовательно, не распространяются на другие факультеты или на университет в целом. В студенческом же кругу, в котором тогда был Гончаров, действительно не знали ничего о прежних «историях», тем более что администрация университета и жандармские власти никогда не предавали их гласности. Впоследствии Гончарову, конечно, стало известно многое из того, что происходило в те годы в университете, однако он был в высшей степени правдив в своих «Воспоминаниях» и писал только о том, что знал и переживал, когда был студентом.

В тридцатых годах в Московском университете в среде студенчества быстро росли свободолюбивые и революционные настроения. Дело доходило до активных политических выступлений студентов, до открытого неповиновения университетским начальникам.

Царское правительство и Третье отделение вели упорную борьбу с проявлением «крамолы» в стенах университета. Так, в 1831 году все участники студенческого кружка Сунгурова были арестованы и обвинены в намерении «ниспровергнуть государственный порядок и ввести конституцию». Было возбуждено также дело о студенте Шанявском, пытавшемся бежать в Польшу и присоединиться к повстанцам. Осенью 1832 года состоялась инспекционная поездка в Москву товарища министра народного просвещения графа Уварова. По указанию царя он должен был «обратить особое внимание на Московский университет». Осенью этого же года совершена была грубая расправа со студентом Белинским. За свои антикрепостнические, революционные убеждения и участие в студенческом «бунте» он был исключен из университета. Однако официально объявили, что он исключен по «ограниченности способностей» В университете начались массовые репрессии против «неблагонадежных элементов». С августа 1832 по ноябрь 1833 года из университета исключили более пятидесяти студентов.

Яркое представление об атмосфере в стенах Московскою университета в то время дают следующие строки Герцена:

«Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться. В 1832 году пропал поляк, студент нашего отделения… Мы стали спрашивать; казенно-коштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и не велели об этом говорить.

Так и кончилось, мы никогда не слыхали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека.

Прошло несколько месяцев; вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов: называли Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича и других… мы их знали коротко… Над ними была назначена военно-судная комиссия; в переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет, но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уже не то, что чуяли ее приближение, а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга».[31]

В июле 1834 года (Гончаров тогда уже закончил университетский курс и уехал к себе домой, в Симбирск) арестованы были Герцен и Огарев, а их кружок подвергся разгрому.

Однако представления студента Гончарова об университете постепенно менялись. Он начинал критически оценивать ряд явлений университетской жизни.

Относительная свобода науки в университете проявлялась в том, что преподавание с кафедры позволяло отдельным профессорам иногда выходить за рамки предписанных правил и требований и высказывать в лекциях и свою точку зрения в науках. От Гончарова не укрылось, что этой свободе ставилось все более и более преград. «…Страх, чтобы она не окрасилась в другую, то-есть политическую, краску, — вспоминал он, — заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, не научной, свободы проявлялись более вне университета; свободомыслие почерпалось из других, не университетских источников».

Еще до поступления Гончарова в университет были запрещены лекции по философии профессора Давыдова. Поводом для этого veto послужило то, что в его лекциях «проявлялось свободомыслие». Этот факт долго обсуждался в студенческой среде. Волновал он и Гончарова-студента. Как грубую издевку над наукой он воспринял впоследствии мракобесное решение Николая I о том, чтобы преподавание философии в университете поручать… духовным лицам.

С начала тридцатых годов у поступающих в университет стали отбирать подписку «в непринадлежности к тайным обществам». «Эта мудрая мера, — с иронией и насмешкой замечает Гончаров, — производила одно действие: тем, кто из

молодежи и во сне не видали никаких тайных обществ, этим давалось о них понятие — и только. Принадлежавшим же к этим обществам — если были такие — она, я полагаю, преградою не служила».

Вести политический надзор за университетами в то время возложено было на так называемых попечителей. По мере усиления реакционных мер по отношению к университету менялись и попечители. Целая вереница их прошла перед глазами студента Гончарова. Вначале он не имел повода вдуматься в существо их деятельности. Но вот университет посетил вновь назначенный попечитель граф Панин, и смутная тревога охватила «храм науки». Мрачным взглядом он осмотрел студентов и заметил, что у многих длинные волосы. Длинные волосы, говорит Гончаров, тогда считались у начальства признаком вольнодумства.

Усиление политического надзора за университетом в 1833–1834 годах особенно выразилось в попечительской деятельности некоего Голохвастова. С появлением этой личности и закончился «золотой век ученой республики», и на университет, по выражению Гончарова, «легла какая-то тень». При Голохвастове стали широко применяться такие меры наказания студентов, как карцер, исключение, отдача в солдаты. По словам Герцена, Голохвастов был верным слугой Николая. Наивные представления об «университетской республике» у Гончарова развеялись. В своих «Воспоминаниях» он подробно рассказывает о своем отношении к этим, как и другим, внутриуниверситетским событиям. Ему претили «крутые меры».

* * *

В развитии общественных и литературных интересов среди университетской молодежи большую роль играли в тридцатых годах студенческие кружки. По свидетельству Гончарова, «все студенты делились на группы близких между собой товарищей». Эти кружки много способствовали сближению академических интересов университетской молодежи с жизнью. В них, по словам Гончарова, «гранились друг о друга юные умы, жадно передавая друг другу знания, наблюдения, взгляды… Не так ли мы все приобретали то, что есть в нас лучшего и живого?» (курсив мой. — А. Р.).

Но студенческие кружки не были однородны. Кружок Герцена и Огарева, «Литературное общество одиннадцатого нумера», где главенствовали казеннокоштные студенты, Белинский и его друг

Чистяков, и подобные им кружки были очагами политического свободомыслия. В них группировалась революционно настроенная молодежь.

На словесном отделении, видимо, была иная атмосфера. Здесь молодежь дробилась на кружки, которые в большинстве своем имели самообразовательный характер. В одном из них состоял и Гончаров.

В среде студенчества тогда широко и оживленно обсуждались статьи Надеждина, Шевырева, Киреевского. Горячие споры вызвала диссертация Надеждина, полемика «романтиков» и «классиков». Обостренная борьба мнений завязалась вокруг «Бориса Годунова» Пушкина.

Кружок, в котором состоял Гончаров, не общался с другими кружками. Белинский и Гончаров были слушателями разных курсов и в аудитории не встречались. В студенческие годы Гончарову так и не довелось познакомиться с Белинским.

Будучи на втором курсе, Гончаров знал о существовании студенческой группы, в которую входили Н. В. Станкевич[32], К. С. Аксаков[33], О. М. Бодянский[34], С. М. Строев[35] и другие. Он видел, как они всегда занимали один и тот же угол большой аудитории, где оживленно «менялись мыслями». Но Гончарова не тянуло к этому кружку, члены которого, по словам К. С. Аксакова, объединялись «во имя высшего интереса истины». Его занимало не столько отвлеченное философствование, сколько конкретное, живое познание литературы, искусства, эстетики. Он любил литературу и уже тогда предчувствовал свое призвание к творчеству.

Не был знаком Гончаров в университете ни с Герценом, ни с Огаревым, которые находились на другом, физико-математическом, факультете.

Среди первогодников вместе с Гончаровым в университете был и Лермонтов. Но он вышел с первого же курса и уехал в Петербург. Гончаров хорошо запомнил его, однако познакомиться не успел.

Обстоятельства, таким образом, не способствовали сближению Гончарова с Белинским, Герценом, Лермонтовым и с передовыми политически активными студенческими кружками. Но суть дела, конечно, не в этом: у Гончарова не было внутреннего побуждения к сближению с ними.

Группируясь в кружки, студенчество в целом оставалось еще очень разобщенным. Организация каких-либо студенческих союзов, обществ, даже для товарищеской взаимопомощи, не разрешалась.

Менее разобщены были казеннокоштные студенты, по преимуществу разночинцы. Их объединяли и социальная общность и условия быта. Они жили и писались на казенный счет при университете и вечно испытывали на себе казарменный режим и надоедливую опеку надзирателей.

В ином положении находились своекоштные студенты. Жили они вне университета, на частных квартирах, «в московских уголках и затишьях». После лекций в университете расходились по домам и пользовались своей свободой кто как мог.

В одном из таких «отдаленных от всякого шума и суеты» московских уголков проживал и Гончаров.

В университет он ходил, «как к источнику за водой». С жаждой и любовью к знанию он в толпе других слушателей подымался по ступеням старого здания университета. Занятия проходили в круглом зале правого крыла. При входе в зал, где совершалось познание всех тонкостей и премудростей словесных наук, как на смех над дверью было начертано золотыми буквами: «Словестная аудитория»…

* * *

В начале тридцатых годов в Московском университете среди профессоров, по словам Белинского, «было много полезных деятелей». В лекциях Павлова, Надеждина, Каченовского и других слышалось живое, свежее научное слово, самостоятельная мысль. Но некоторые курсы по-прежнему вели профессора-рутинеры, профессора-«книгоеды». В их лекциях Гончаров не находил «никакой общей идеи», «никакого взгляда».

Резко-критически относился Гончаров к лекциям историка М. П. Погодина, представлявшего казенно-патриотическую точку зрения в исторической науке. Погодин читал всеобщую историю, читал по иностранному учебнику — скучно, бесцветно, монотонно. Молодежь не ошиблась, сразу разглядев «кое-что напускное» и в его характере и в его взглядах на науку. «Мы чуяли, — замечает Гончаров в своих «Воспоминаниях», — что у него внутри меньше пыла, нежели сколько он заявлял в своих исторических — ученых и патриотических настроениях, что к пафосу он прибегал ради поддержания тех или других принципов, а не по импульсу искренних увлечений».

Без симпатии относился Гончаров, как и большинство студентов, к профессору русской словесности и литературы И. И. Давыдову. Давыдов являл собою образец холодного, бездушного подхода к науке. В студенческих кружках, в том числе и в кружке,

где состоял Гончаров, о лекциях Давыдова говорили без воодушевления и даже нелестно.

Примечательным явлением университетской жизни тех лет были лекции профессора М. Т. Каченовского. По своим научным взглядам он принадлежал к так называемой скептической школе, рассматривающей все исторические факты с субъективно-идеалистических позиций. Каченовский первый подверг резкой критике «Историю Государства Российского» Карамзина — за его версию о варягах как организаторах русской государственности. Но вместе с тем Каченовский был сторонником другой нелепой версии — о том, что русский народ ведет будто бы свое начало от хазарского племени руссов. Не признавал Каченовский подлинность «Слова о полку Игореве», считая его подделкой XIV века.

И все же преподавательская деятельность Каченовского имела известный и положительный результат: его лекции развивали у слушателей способность к самостоятельному критическому суждению. «Университет, — по замечанию Герцена, — …не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека a meme[36] продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский»[37].

Студент Гончаров почувствовал неубедительность и фальшь реакционных исторических взглядов Погодина, отверг он и ложные, субъективистские концепции Каченовского. Этот факт свидетельствует о развитии его самостоятельных и прогрессивных воззрений в годы окончания университета.

В числе новых профессоров был и С. П. Шевырев, известный более в истории русской общественной мысли как ярый реакционер, как идейный противник Белинского. Но тогда, в самом начале тридцатых годов, он, по словам Гончарова, был «молодым и свежим человеком». Он вел обширный курс — от различных древних до новейших западных литератур. Из этих лекций Гончаров извлек большой фактический материал и уменье эстетически анализировать произведения литературы.

Благотворное влияние на развитие и образование университетской молодежи оказал ординарный профессор теории изящных искусств и археологии Николай Иванович Надеждин. На лекциях Надеждина воспитывалась целая плеяда будущих деятелей русской литературы: Белинский, Лермонтов, Огарев, Станкевич, Аксаков, Гончаров и другие. На этих лекциях, по выражению К. С. Аксакова, молодежь вдыхала «воздух мысли». Надеждин, по словам одного из воспитанников университета, П.

И. Срезневского, «давал направление человеку». Своей «искренней и кипучей речью» покорял слушателей.

Профессорская деятельность Надеждина в Московском университете продолжалась три года (с 1831 по 1834). В 1836 году за напечатание в своем журнале «Телескоп» «Философического письма» Чаадаева он был сослан в Усть-Сысольск.

Статьи Надеждина в «Вестнике Европы» (1828–1830) и «Телескопе» (1831–1836), его диссертация и университетские лекции явились важной страницей в развитии русской научно-критической мысли. Н. Г. Чернышевский говорил о Надеждине, что это «один из замечательнейших людей в истории нашей литературы, человек замечательного ума и учености»[38]. Основную заслугу Надеждина Чернышевский видел в том, что он «первый прочно ввел в нашу мыслительность глубокий философский взгляд» и «первый дал прочные основания нашей критики»[39].

Надеждин стремился самостоятельно, учитывая потребности и особенности русской науки и литературы, осмыслить достижения новейшей немецкой философии и эстетики. Он, как и профессор физико-математического факультета М. Г. Павлов, подверг глубокой критике идеалистическую философию Шеллинга. Надеждин выдвинул мысль о необходимости познания реальной действительности. Он указывал, что свои понятия и чувства человек черпает из окружающей жизни. «Изящное, — учил он, — будучи розлито во всей природе, делается нам доступно через ч_у_в_с_т_в_о», которое возникает при «соприкосновении духа нашего с действительностью». «Где жизнь, там и поэзия», — говорил он.

Славянофилы вели яростную борьбу с выступлениями Надеждина. Шевырев, как один из теоретиков славянофильства, утверждал, что законы искусства следует «искать не в частных явлениях» жизни, не в действительности, а «в собственной душе». Исходя из этой субъективно-идеалистической установки, славянофилы навязывали действительности вымыслы, совершенно не считаясь с тем, что они решительно расходились с жизнью. Шеллингианская эстетика, теории немецких романтиков (братья Шлегели, Новалис, Тик, Гофман и др.) явились на русской, почве эстетическим кредо реакционного дворянского романтизма тридцатых-сороковых годов.

Надеждин первый в русской критике указал на ограниченность романтизма как художественного метода изображения действительности.

Одна из главных особенностей романтизма, по мнению Н. Г.

Чернышевского, состояла в том, что он предъявлял искусству «романтические требования возвышенных страстей и идеальных личностей». Однако эта особенность романтизма находила в литературе разное истолкование. В русской литературе двадцатых-тридцатых годов прошлого века существовали как прогрессивно-романтические, так и реакционно-романтические тенденции. Под флагом романтизма выступали и Жуковский, и декабристы, и Пушкин, и славянофилы.

В творчестве и эстетических принципах декабристов было представлено прогрессивно-романтическое направление. Их романтизм был проникнут протестом против всего косного и отжившего, высоким пафосом любви к родине, сознанием гражданского долга. В статье «Несколько мыслей о поэзии», являющейся программой для декабристской литературы, Рылеев писал: «…оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить в себе дух рабского подражания и, обратясь к источнику истинной Поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку, и всегда недовольно ему известных.[40]

Так называемые «байронические» поэмы Пушкина и его романтические стихи шли в русле этой свободолюбивой патриотической поэзии двадцатых годов, призывающих к борьбе с деспотизмом и утверждению прав человеческой личности.

Романтическая эстетика декабристов и творчество Пушкина решительно были направлены против подражания западноевропейскому, в частности, немецкому романтизму, суть которого, как и всей пресловутой «немецкой идеологии», разоблаченной Марксом и Энгельсом, состояла в «пустой мечтательности» и «великих иллюзиях».

Романтизм декабристов и Пушкина выражал передовые интересы и запросы своего времени и был важным шагом на пути создания подлинно национальной культуры и литературы.

Однако в конце двадцатых и в начале тридцатых годов в русской литературе благодаря Пушкину все более стал утверждаться реализм. Романтизм, как метод художественного восприятия действительности, перестал отвечать передовым запросам жизни и литературы. В тридцатых-сороковых годах условно-романтическая литература, литература эпигонов и подражателей романтизма, стала помехой, тормозом на пути дальнейшего развития литературы.

Будучи противником романтизма в искусстве вообще, Надеждин не сумел отличить в русской литературе прогрессивный романтизм от романтизма реакционного и

эпигонского. Вследствие этого он долгое время, вплоть до появления в печати «Бориса Годунова», резко нападал на Пушкина, видя в нем романтика. Это было одним из тяжких заблуждений Надеждина. Но «Борис Годунов» как бы открыл ему глаза на суть пушкинского творчества. В 1831 году на почве общей борьбы против Булгарина и Полевого Надеждин сблизился с Пушкиным.

Стремясь к реализму в искусстве, Надеждин, однако, сильно ограничивал его задачу, он не был сторонником острого социального обличения. Вследствие этого же Надеждин, между прочим, начисто отвергал прогрессивную французскую романтическую литературу, бросая ей упрек в преувеличении отрицательных сторон жизни.

Выступая за прогресс и просвещение народа, Надеждин вместе с тем резко отрицательно относился к революционным теориям. Он осудил и революцию 1830 года во Франции, и польское освободительное движение. «Ничто так не противоположно поэзии, — писал он, — как последняя революция и дух ее».

Но главное в воззрениях Надеждина — просветительские идеи. Он искренно желал блага народу, призывал к пробуждению и просвещению народных масс. Надеждин доказывал, что без просвещения народа невозможно появление народной, самобытной литературы.

Деятельность Надеждина оставила плодотворный след в русской литературе и критике начала XIX века. В критике он являлся непосредственным предшественником Белинского. Чернышевский называл его «образователем автора статей о Пушкине», то есть Белинского, но вместе с тем подчеркивал, что деятельность Белинского представляла собой совершенно новый этап в русской науке. И действительно, уже в университетские годы, как участник «Литературного общества 11 нумера», Белинский самостоятельно критически подошел к философским и эстетическим воззрениям Надеждина.

В статьях и лекциях Надеждина Гончаров нашел первооснову своих общественных и эстетических взглядов. В одной из автобиографий (1873–1874) он, говоря об «огромном влиянии на студентов» новых профессоров, особенно выделяет лекции Надеждина, которые, по его мнению, «были благотворны для слушателей по новости, смелости идей, языка». Общественно-историческую и воспитательную значимость этих лекций Гончаров видел в том, что «они сближали науку и искусство с жизнию, изломали рутину, прогнали схоластику и освежили умы слушателей — внесли здравый критический взгляд на

литературу. Кроме того, производили и другое нравственное влияние, ставя идеалы добра, правды, красоты, совершенствования, прогресса и т. д. Все это совпадало с возникавшею и в тогдашней современной литературе жизнию, внесенною, после застоя, Пушкиным и его плеядою, критическим переворотом — после старой риторической школы, в журналистике тем же Надеждиным…»

Гончаров, несомненно, во многом был обязан Надеждину тем, что в студенческие годы стал отрицательно относиться к казенно-патриотической литературе, проникся неприязнью к реакционеру Булгарину, псевдонародной, «торговой» литературе.

Таким образом, в своем первоначальном идейном развитии Гончаров исходил из просветительских воззрений Карамзина и Надеждина.

Но было бы ошибкой утверждать, что развитие мировоззрения и эстетических взглядов Гончарова в юношеские годы всецело определялось влиянием лишь Карамзина и Надеждина. Необходимо учитывать общеобразовательное и воспитательное значение университета.

В университете, по признанию Гончарова, он «систематически, с помощью критического анализа, изучал образцовые произведения иностранных и отечественных писателей». «Только тому университет и сослужит свою службу, — впоследствии говорил Гончаров, — кто из чтения сделает себе вторую жизнь». Юным Гончаровым руководила мысль, что чтение является не только средством обогащения знаниями, но и источником воспитания в себе человека гуманных стремлений.

Заговорил об этом еще Надеждин. Он писал, что «всякая жизнь есть не что иное, как непрерывное самообразование, беспрестанное стремление к совершенству». Эти мысли Надеждина были восприняты частью молодежи, которая стремилась познать истину, посвятить себя борьбе за счастье своего народа, родины. Эта мысль постоянно звучала и в устах Белинского и его товарищей по кружку «Литературное общество 11 нумера», и в кружке Герцена и Огарева, и во многих других студенческих кружках того времени. Это было как бы знамением времени и отражало быстрый рост общественного и патриотического сознания русской молодежи.

* * *

Какие же писатели, какие книги влекли к себе тогда

Гончарова? Из иностранных глубоко и с интересом юношей были изучены Гомер, Вергилий, Данте, Сервантес, Шекспир. С увлечением прочел он Клопштока, Оссиана. Затем перешел к «новейшей эпопее Вальтера Скотта» и «изучил его пристально». В университете «он отрезвился от влияния современной французской литературы», которой ранее сильно увлекался.

Увлеченность эта, между прочим, выразилась в том, что Гончаров, хорошо владея французским языком, еще до поступления в университет начал переводить «колониальный» роман модного тогда французского писателя Евгения Сю — «Атар-Гюль».

Это был один из ранних романов Сю. В нем еще нет, по сути дела, тех современных вопросов, которые выражены в последующих романах писателя. О социальной значимости «Атар-Гюля» говорить можно весьма условно. Автора прельщают невероятные, неистовые, «экзотические» страсти людей, исключительные положения, таинственная и страшная месть. Весь роман проникнут романтикой ужаса. Отрывки из романа, опубликованные в «Телескопе», весьма характерны в этом отношении. Вот один из них:

«Змей выполз из ящика, хвост его был еще в цветах, но полуоткрытая пасть, испуская пену, зияла уже над Дженни…

Он приближился… и нашел свою самку мертвою… истерзанною… под маленьким столиком… испустил продолжительное, глухое шипение.

Потом с невероятною быстротою обвился около ног, тела и плеч Дженни, упавшей в обморок…

Клейкая и холодная шея пресмыкающегося облегла грудь юной девицы.

И там, перегнувшись еще раз, он уязвил ее прямо в горло…

Несчастная, пришедши в себя от жестокой раны, открыла глаза — и ей представилась пестрая, окровавленная голова змея… и глаза, сверкающие злобою…

— Маменька… о, маменька!.. — кричала она слабым, умирающим голосом…

На сей смертельный, судорожный, хриплый прерывающийся крик отвечал легкий хохот…

Тут показалась ужасная голова Атар-Гюля, который приподнял угол сторы точно так же, как змей.

Черный смеялся!!

Дженни не кричала более… она умерла…»

Этот отрывок, переведенный Гончаровым, был опубликован, как и несколько других, в журнале Надеждина «Телескоп» (1832 год).

Какую же цель имел Надеждин, ярый гонитель романтизма, публикуя в своем журнале три отрывка из романа «Атар-Гюль» в переводе студента Ивана Гончарова? Разумеется, он не стремился популяризировать французского романиста и его произведение. Можно с уверенностью предположить, что это он сделал, чтобы показать всю несостоятельность «крайнего» французского романтизма. Гончаров, видимо, дал согласие на столь негативную цель использования его перевода: публикация его была для Гончарова явным поощрением к дальнейшему творческому труду.

Переводы из романа «Атар-Гюль» были первой появившейся в печати литературной работой Гончарова, первым, пусть очень скромным, его шагом на творческом пути.

* * *

В самодержавно-крепостнической России, в пору жесточайшей реакции литература, особенно русская, явилась главным источником идейного воздействия на общество. В статье «Мысли и заметки о русской литературе» Белинский писал: «…все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия…»[41]

Гончаров, как Белинский, Герцен и многие другие деятели русской литературы и культуры, рос, развивался в то время, когда, по словам Герцена, «великий Пушкин был царем и властителем литературного движения».

Но Пушкин, как справедливо замечал впоследствии Гончаров, был не только «образователем» эстетического вкуса, но и «учил жить» — «преподал уроки правды, понятий свободы, нравственности».

Как ни сильно было влияние Надеждина на юного Гончарова, он в своем отношении к Пушкину в те годы решительно расходился с ним. Именно Пушкину, а затем и Белинскому, Гончаров был обязан тем, что в своем развитии пошел вперед по сравнению с Надеждиным, хотя и усвоил органически ряд его воззрений.

Гончаров указывал на то, что в университетские годы Пушкин благотворно действовал «на круг молодых студентов Московского университета». О себе же он вспоминал:

«…Я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь

восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование».

Едва ли что-нибудь другое в студенческие годы произвело на Гончарова более яркое, сильное, волнующее и незабываемое впечатление, нежели то, когда он увидел Пушкина в стенах Московского университета. Великого поэта привез на лекцию министр Уваров.

«Когда он вошел с Уваровым, — рассказывал потом Гончаров в «Воспоминаниях», — для меня точно солнце озарило всю аудиторию…

Перед тем однажды я видел его в церкви у обедни — и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России — предо мной в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы.

«Вот вам теория искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, — а вот и самое искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, — это для вас интересно», — пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение — видеть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей их состязания, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так, что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.

С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь

задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся — это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми, кудрявыми волосами».

* * *

Университетские годы — это первая молодость Гончарова, это лучшая пора его молодости. Университет оставил в его душе «много тепла и света», и воспоминания о нем всегда были «благороднее, чище, выше» всех других воспоминаний молодости.

Это были годы, когда в юную душу неудержимо врываются «все впечатленья бытия», когда горячо бьется сердце и от прочитанной книги, и от звучащей мелодии, и от первого дыхания весны, и от мечты о будущем. Это «общее веселие молодой жизни», замечает К. С. Аксаков в своей статье «Воспоминание студенчества», было первым мотивом студенческой жизни.

В те годы Иван Гончаров, как и вся университетская молодежь, отдал дань юношеской романтике. Но романтические настроения среди молодежи были разными. Юношеская романтика Герцена и Огарева была одухотворена идеалами «гражданской нравственности». Она ярко выразилась в их «аннибаловой клятве» на Воробьевых горах. Не мало в те годы встречалось и таких юношей из дворянской среды, романтика которых была в полном разладе с жизнью. В ней было много искусственного, напускного — преувеличенных чувств. То они «неиствовали», впадая в восторги любви и мечты, то падали духом: их охватывал «вертеризм», вялость чувств, сентиментализм. Эта разновидность реакционной романтики ярко представлена в типе Александра Адуева из «Обыкновенной истории».

Юношеская романтика Ивана Гончарова не была проникнута столь сильно гражданским пафосом, как у Герцена и Огарева. Но она и не была отвлеченной или беспредметной. Ей был присущ определенный общественный пафос. В юном уме зрело понятие о своем общественном долге — и не только «во имя науки», поисков «высшей истины». Его манили вдаль не отвлеченные

мечты, а идеи добра, просвещения, справедливости.

В часы досуга Гончаров много читал, переводил с иностранных языков — ради интереса и практики. Все чаще его охватывала жажда писать, быстро, много, упоенно. Кипела фантазия, образы и слова просились на бумагу. Это были неведомые миру плоды юной творческой фантазии, тайные пробы пера.

Он просиживал часами в университетской библиотеке. Или шел к Китайгородской стене рыться у букинистов (в Москве их тогда было множество).

Но страстное влечение к науке, к книге не уводило юношу от радостей жизни, не засушило его. Он в молодости был молод.

Оживленной толпой выходила молодежь из университета. Перед ней был величественный Кремль, высились башни, горели на солнце золотом купола. Прохожие, даже простые люди, то с любопытством, то ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках…

Гончаров любил подолгу бродить по вечерней Москве, уходить далеко от дома. Или спешил в «Кремлевские сады», где назначена была встреча с прелестной юной «незнакомкой»… На вечерах у товарищей и знакомых, «когда гремел мазурки гром», всегда начинал танец именно он, Иван Гончаров, жизнерадостный, остроумный и общительный юноша.

Был и у него свой круг друзей и товарищей по университету. Но в «Воспоминаниях» Гончаров не назвал их имен. Некоторые сведения на этот счет содержит приписка Гончарова к письму С. С. Дудышкина к А. Н. Майкову от 14 декабря 1843 года. «Очень благодарен, — пишет Гончаров, — что напомнили о старом, добром, милом товарище Матвее Бибикове. Если он еще в Риме — мой сердечный поклон ему. Забуду ли когда-нибудь его милое товарищество, его шалости, его любезность? Наденет, бывало, пришедши в университет, первый встретившийся ему виц-мундир, какой увидит на гвозде в передней, потом срисует с профессора карикатуру, споет что-нибудь в антракте, а в самой лекции помешает мне, Барышеву и Мину — слушать: и так частенько проходили наши дни. Это тот самый Бибиков, который для диссертации Каченовскому выбрал сам себе тему: о мире, о войне, о пиве, о вине, о… и вообще о человеческой жизни».[42]

Это письмо позволяет говорить, что Барышев и Мин вместе учились с Гончаровым и тесно дружили с ним. Д. Л. Мин впоследствии стал известным русским переводчиком, в частности «Божественной комедии» Данте. Характеристика Е. Е. Барышева как литературного деятеля дана в некрологе, написанном Гончаровым в 1881 году. «Кончив курс в Московском

университете, в начале 30-х годов, по словесному факультету, — писал Гончаров, — он прямо от лекций лучших тогдашних профессоров словесности и эстетики, Надеждина, Давыдова и Шевырева — перешел к делу, к работам, в области изящного… Словесники были тогда в первых рядах общества (курсив мой. — А. Р.), самыми видными, а при таланте — блестящими и почти единственными представителями интеллигенции».[43]

Но ближе всех из студентов Гончаров сошелся с Федором Кони. В 1827 году Ф. А. Кони поступил на философский факультет, но скоро перешел на медицинский, который окончил в 1833 году. По выходе из университета вначале посвятил себя педагогике, затем целиком отдался литературной деятельности. Еще находясь в университете, стал публиковать свои стихи и переводы, но впервые был замечен публикой, когда появился его водевиль «Жених по доверенности». За ним последовали другие водевили и комедии. Особенно выделялись «Принц с хохлом, бельмом и горбом», где язвительно высмеивалась николаевская администрация, и «Петербургские квартиры», где изобличался реакционный журналист Булгарин. Переехав в Петербург, Ф. А. Кони принял деятельное участие в издании театрального журнала «Пантеон». Кони был не только водевилистом, но и театральным историком.

Возможно, что Гончаров познакомился с Федором Кони в словесной аудитории: слушать лекции Надеждина приходили студенты со всех факультетов, посещал их и Кони, хотя, по словам Гончарова, в университет «не часто он снисходил показываться». Их сблизила любовь к литературе и искусству, и вне стен университета они были неразлучны.

О «дружестве минувших лет», о романтических настроениях друзей повествует «Альбом Федора Кони».

Первая страница украшена эпиграфом: «On n'oublie jamais ce qu'on aime»[44]. На листах альбома запечатлены и грусть, и юмор, размышления и изречения. Там можно найти смешные силуэты профессора Ивашковского, Надеждина, Павлова, карандашный портрет хорошенькой комедиантки, ажурные картинки, романтические пейзажи, кружевной цветок, лирическую строфу В. Теплякова, поэта так называемой «пушкинской плеяды»:

Моей весны златая сень,
Тебя-ль я увижу, упоенный?
В чужбине дальней каждый день
Мелькал мне призрак твой бесценный!

Очарованьем прошлых дней
Жила душа моя больная;
Прими ж слезу любви моей —
И вновь прости, моя родная!..[45]

«Сколько воспоминаний пробудили во мне эти пожелтевшие страницы! — писал в глубокой старости Гончаров своему молодому другу Анатолию Федоровичу Кони (сыну Ф. А. Кони), возвращая взятый у него на несколько дней альбом. — Подумайте только, я вдруг перенесся на целые полвека назад, если даже не больше!

С Федором Алексеевичем в университете мы виделись всегда редко… и чаще всего мы встречались у столь милой и симпатичной М. Д. Львовой-Синецкой, чей портрет, мне кажется, хорошо узнаю на одной из первых страниц альбома (портрет хорошенькой комедиантки). Это у нее собирался тогда почти весь театральный мир, в лице своих главных представителей. Здесь пели, играли, танцевали, ели и пили всяк, как хотел. Это там, могу я сказать, «младые дни мои неслись». Приходили литераторы, начиналось чтение вслух, возникали беседы. Настоящий очаг жизни и искусства, возглавляемый самой хозяйкой дома, гостеприимной и очень талантливой».[46]

То Рокселаною в «Трех султаншах», то Селименой в «Мизантропе», то героинею в озеровских трагедиях представала она (в начале тридцатых годов) в полном блеске своего таланта. Пушкин из уважения к актрисе разрешил постановку «Цыган» для ее бенефиса. Оба друга — Иван Гончаров и Федор Кони — были в толпе самых пламенных поклонников и ценителей игры этой блестящей исполнительницы комических ролей. И оба были по-юношески восторженно, но безнадежно влюблены в нее…

Салон Львовой-Синецкой, о которой рассказывает Гончаров, пользовался в тридцатых годах в Москве широкой известностью. В нем бывали постоянно и профессора Московского университета, в частности Надеждин. Нет сомнения, что много полезного почерпнул Гончаров в этом кругу передовой московской интеллигенции.

Университетские годы Гончарова поистине ознаменованы его пламенной и глубокой любовью к русскому театру. Особенно сильно влек его к себе Малый театр, где в то время играли знаменитые русские актеры: М. С. Щепкин, П. С. Мочалов и другие. Гончаров действительно «знал этих старых артистов в их

лучшей поре», как писал он в 1876 году П. Д. Боборыкину.

Посещения московского Малого театра явились для юноши превосходной школой. Малый театр, несомненно, оказал благотворное влияние на развитие у Гончарова реалистических вкусов в искусстве, на формирование его творческих убеждений. Глубокую любовь к Малому театру Гончаров сохранил на всю жизнь.

В какой-то мере и к Гончарову можно отнести слова Герцена о том, что университетская наука не отвлекала молодежь от вмешательства в жизнь и что эта связь с жизнью необыкновенно поднимала «гражданскую нравственность студентов» («Былое и думы»). Московский университет способствовал развитию тех прогрессивных черт в мировоззрении Гончарова, которые в дальнейшем, в сороковых-пятидесятых годах, сблизили его с передовыми кругами русского общества.

Глава четвертая
Опять на родине

Летом 1834 года Гончаров окончил Московский университет со званием «действительного студента». Осуществлена была заветная цель юности. «Я свободный гражданин мира, — восторженно восклицал он, — передо мною открыты все пути!» Естествен и прост был первый порыв — поехать на родину, на Волгу, к своим, хотя далек туда путь. От Москвы до Симбирска более семисот верст. На переменных почтовых дней пять езды. Но если добираться «на долгих», то более десяти. Иван Гончаров хорошо знал по прежним своим поездкам на каникулы, какая это, при тогдашнем состоянии дорог, была пытка.

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит…[47]

Так писал поэт в двадцатых годах. Но мало что изменилось с тех пор. И было решено: «На — почтовых!» Однако заглянув в свой карман, юный путешественник не нашел там нужной на дорогу суммы. Хотелось явиться в провинцию столичным франтом — и много денег, присланных из дому, ушло на платье у «лучшего портного» и другие вещи. Приходилось искать более дешевый транспорт.

Гончаров случайно узнал, что в Замоскворечье готовится какой-то дилижанс до Казани (а оттуда до Симбирска уже «рукой подать» — сто восемьдесят верст). Он отправился по указанному адресу. Но вместо дилижанса глазам предстала обычная большая бричка. Однако другого выбора не было…

Стояла знойная июльская погода. Лошади двигались лениво. Густая пыль окутывала путешественников. В «дилижансе» было тесно. Попутчики — толстый купец и капризная, тоже пухленькая, барынька — расселись так, что третьему приходилось ехать, выставив наружу руку и ногу. На третий день путников в дороге

захватил ливень. До ближайшей деревни было далеко, и все вымокли до нитки. Потом опять стало печь солнце. Дорога шла мимо убогих, как бы уснувших от зноя, деревень, по безлюдным полям. Только кое-где одиноко гомозился на пашне крестьянин с сохой, которую, пригнув голову до самой земли, тянула тощая лошаденка…

Но вот, наконец, и долгожданная Казань. Весь день на ногах: надо осмотреть и крепостные стены, и многоярусную Сумбекину башню — это замечательное создание русского зодчества конца XVII века, и зайти на университетский двор, преклонить голову у памятника Державину, побродить по старинным горбатым улицам…

Утром другого дня Иван Гончаров уже катил на перекладных в Симбирск.

Однако не только жары и грозы терзали в те времена путешественника, тяготила его и мысль о том, что за ним неотступно следило всюду «недремлющее око властей предержащих».

В полдень, когда не стало мочи от палящих лучей солнца, остановились в небольшом городишке менять лошадей. Отрадно было в тени под навесом постоялого двора, хотя и пахло навозом…

Вдруг во двор вбежал запыхавшийся человек в военной или полицейской фуражке.

— Козлов! Козлов! Где ты, подлец? — кричал он на весь двор.

Из дома проворно выскочил мужчина в красной рубахе, с большим ключом на поясе.

— Здесь, ваше высокоблагородие, здесь! — торопливо отозвался он.

— К тебе въехал приезжий, — гневно кричал офицер, — а ты и ухом не ведешь, не даешь знать в полицию! Ты знаешь, как строго приказано?.. Первым твоим делом, подлец, потребовать от проезжего вид и представить в полицию.

Гончаров сошел с телеги, вынул из кармана свой университетский отпускной билет и подал блюстителю порядка. Тот надел очки, взглянул пристально на путешественника, стремясь как бы «окаменить» его, потом на билет.

— Полиция обо всем должна знать!.. Может быть, вы зарезали ваших родителей и бежали, — выпалил он.

Путник остолбенел от такого ужасного подозрения. И только в дороге понял, что в практике городничего (это, оказывается, был сам городничий), очевидно, был подобный случай.

С хорошим, радостным чувством отправлялся юноша в путь. Но в дороге настроение его стало другим. Как-то по-иному, чем

раньше, он всматривался в окружающую жизнь. Неприглядная действительность открылась взору юного путешественника. Он увидел отсталость и застой жизни всюду, и ужасающую бедность, и придавленность крестьянина, испытал на себе тупость николаевского городничего. Нет, не на благодушный лад настраивала юношу путь-дорога на родину, от Москвы до Казани и Симбирска!..

И все же радостно забилось сердце, когда на четвертой версте от Симбирска, с самого высокого места над Волгой, показался, как бы расположенный в долине, город… Вот и родной дом. О, «сладость возвращения» к родительскому крову, — кто не испытал ее!

После скромной студенческой жизни юноша на первых порах отдался весь «неге ухода». Как паром, его охватило «домашнее баловство». Все располагало к довольству, к бездумной, беспечной жизни. И так незаметно всему этому можно было поддаться, забыть о заветных стремлениях, погрузиться в тягучий поток повседневно праздной жизни и навсегда остаться здесь.

«И по приезде домой, по окончании университетского курса, — говорит в своих «Воспоминаниях» Гончаров, — меня обдало той же «обломовщиной», какую я наблюдал в детстве. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя… Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки, с мезонинами, с садиками, иногда с колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы; те же деревянные тротуары, с недостающими досками, та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли… Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными шторами и жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или попадающиеся на улице лица.

«Нам нечего делать! — зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас. — Мы не торопимся, живем — хлеб жуем да небо коптим!» Знаменательно, что точно такое же впечатление о Симбирске в тридцатых годах высказал и Лермонтов. В его поэме «Сашка» говорится, между прочим, что

…Сон и лень
Вполне Симбирском овладели.

Но по-прежнему неудержимо влекла к себе Волга.

Наслаждением было стоять на высоком берегу, откуда глазу открывалась необъятная картина, дышать этим свежим, прохладным воздухом, «от которого, как от летнего купанья, пробегает дрожь по телу». Любовь к родине переполняла сердце молодого Гончарова. Нет, не богатство и карьера его цель! Он посвятит себя творческому труду и ради этого готов отказаться от тех материальных благ, которые могут обеспечить ему здесь, в Симбирске, его мать и Трегубов. Жизнь не пугает его. Он не боится труда. Он достигнет заветной цели.

* * *

В родном городе Гончаров ищет прежде всего нового. Но всюду видит только «все старое и ветхое». «Где же новое, молодое, свежее? Где же новые люди, нравы, дух?» — вопрошает он Трегубова, объезжая город. А тот в ответ только иронически показывает на… собор, питейную контору и свежую стерлядь в лавке. И уже тогда юноша начал понимать, что застой Симбирска — это явление, характерное для всей русской жизни.

Крепостнический строй и николаевская реакция обрекали Россию, ее экономику и культуру на страшную отсталость. Пользуясь даровым крепостным трудом, помещики вели свое хозяйство патриархальным, примитивным способом. Не было необходимости стремиться к чему-либо новому. Застой и неподвижность овладели всей жизнью дворянских поместий. Тридцатые годы явились периодом дальнейшего назревания кризиса крепостного хозяйства, его гниения и распада. Но в большинстве «дворянских гнезд» по-прежнему беспечно и праздно текла жизнь. Тогда симбирские дворяне не вели еще счета своим деньгам и благодушествовали. Богатства, создаваемые трудом крепостных, позволяли им, по выражению великого сатирика, предаваться «пошехонскому раздолью». Жизнь многих проходила, говоря словами поэта: «среди пиров, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства».

Дворянско-поместный уклад порождал и обломовщину и «куролесовщину». Всяк по-своему проявлял самодурство. Вот что, например, рассказывали в Симбирске о помещиках Т. и К.

Жили они не в столь большой отдаленности друг от друга. Постоянно у них кутежи, псовая охота, картежная игра и всякие другие забавы. У обоих было по пушке большого калибра. Захочет один позвать к себе в гости другого — стреляет. Если тот принимал приглашение — отвечал тоже выстрелом, а если нет, то есть приглашал к себе, то пушка стреляла два раза. Бывало, что

ни тот, ни другой не хотел уступить, перестреливались, пока не истощались запасы пороха. Потом съезжались на половине пути, и заключали договор, куда ехать и чем потешаться.[48]

Весьма характерна для поместных нравов того времени и другая история. По рассказу одного из современников, саратовский помещик Петр Иванович Богданов осенью выехал на охоту из Саратова в поле, с собаками; куда бежали зайцы и лисицы, туда и Богданов скакал с охотою. Так за зайцами и лисицами доскакал он до Симбирска, где захватила его зима. Между Саратовом и Симбирском до четырехсот верст по почтовой дороге. Богданов остался зимовать в Симбирске. Богданов был хорош собой, богат, щеголь, танцор, немного поэт — он быстро стал необходимым членом общества. Ну, конечно, куролесил и пьянствовал, как только тогда умели это делать.[49]

В массе своей симбирское дворянство было малообразованно и малокультурно. Обычное воспитание молодого дворянина ограничивалось умением читать и писать. Бедные дворяне зачастую оставались вовсе неграмотными. Много «недорослей» встречалось и в богатых помещичьих семьях, где еще царило пренебрежительное отношение ко всякому труду и образованию. Скотинины и Простаковы, Митрофанушки да Иванушки тогда не перевелись еще. Обломовцы являлись их прямыми и близкими потомками.

Были среди симбирского дворянства и просвещенные люди. Однако круг их был невелик. К их числу относятся такие деятели русской культуры, как историк Н. М. Карамзин, поэт и баснописец И. И. Дмитриев, поэт Н. М. Языков, писатель Д. В. Григорович, П. В. Анненков. Из среды симбирского дворянства вышли видные декабристы: М. Баратаев, В. Ивашев, Н. Тургенев.

Тип культурного дворянина, независимо настроенного и скептически относившегося к «прелестям самовластья», представлен в «Воспоминаниях» Гончарова в лице помещика Козырева.

Это был близкий друг Трегубова, и Иван Гончаров как в детстве, так и во время университетских каникул вместе с братом подолгу гостил у него. Большой господский дом был окружен обширным садом — «Огромный, запущенный сад, приют задумчивых дриад»[50]. Более всего Ивана Гончарова занимала обширная библиотека — сплошь из французских книг. Козырев был поклонником Вольтера и всей школы энциклопедистов и «сам выглядел маленьким Вольтером». Предметом своих увлекательных бесед с юным гостем он избрал французских писателей. Старик пробуждал в юноше большую симпатию к себе и незаметно передавал ему свой независимый образ мышления.

К числу передовых дворян принадлежал и Николай Николаевич Трегубое.

О прогрессивности общественных настроений Трегубова говорит, в частности, тот факт, что он состоял в масонской ложе и находился в дружбе и переписке с некоторыми декабристами. Среди его близких знакомых был и князь М. Баратаев (в «Воспоминаниях» Гончарова назван Бравиным) — организатор и руководитель симбирской масонской ложи «Ключ к добродетели», которая была через декабриста В. Ивашева связана с «Южным обществом».

В годы, предшествовавшие декабрьскому восстанию, в Симбирске, так же как и в других городах России, распространялась запрещенная правительством литература. В Ульяновских архивах сохранились рукописные списки произведений Радищева, Рылеева, Раевского, Н. Тургенева, Грибоедова и других.

События 14 декабря 1825 года не прошли бесследно для Симбирска. По приказу из Петербурга был арестован и в числе опаснейших «бунтовщиков» сослан на каторгу в Сибирь декабрист Ивашев. Арестован и отправлен на допрос в Петербург был и Баратаев. Там его подвергли секретно «телесному наказанию».

Иван Александрович близко познакомился с Баратаевым в этот свой приезд в Симбирск. Несомненно, общение с ним, глубоко образованным и прогрессивно настроенным человеком, оказало благотворное влияние на молодого Гончарова.

Жандармские репрессии применены были и к другим лицам. В городе происходили многочисленные обыски. Масонская ложа была разогнана, а ее участников привлекли к следствию. Правительственные репрессии и жандармский террор запугали симбирское дворянство и усилили в нем реакционные и верноподданнические настроения.

Молодой Гончаров в свой приезд домой по окончании университета в 1834 году быстро ощутил эту атмосферу общественной реакции в родном городе. Всюду чувствовалась какая-то придавленность. «Все напуганные масоны и не-масоны, тогдашние либералы, — говорится в «Воспоминаниях» Гончарова, — вследствие крутых мер правительства, приникли, притихли, быстро превратились в ультра-консерваторов, даже шовинистов — иные искренно, другие надели маски. Но при всяком случае, когда и не нужно, заявляли о своей преданности «престолу и отечеству»… Только старички, вроде Козырева и еще немногих, ухом не вели и не выползали из своих нор. Козырев саркастически посмеивался и над крутыми мерами властей и над переполохом».

Под «ферулою прежнего страха» находился и Трегубов, скрывая в душе протест и гнев против жандармских репрессий. Трегубову, судя по его связям и переписке с декабристами, были известны политические цели и секретный круг деятельности масонских лож. Вполне естественно, что, хотя он каким-то образом и избежал репрессий, ему приходилось и в тридцатых годах опасаться доноса.

От общения с Трегубовым в юношеские годы Гончаров вынес много ценного. Трегубов помог ему критически воспринять отрицательные явления крепостнической действительности.

Именно Трегубов, а затем и другие раскрыли перед Гончаровым «всю глубину жандармской бездны». И он тогда в первый раз узнал о действительном значении николаевской жандармерии и о роли Бенкендорфа и Дубельта. Все это явилось для него одним из совершенно новых «впечатлений бытия». И он стал «большими глазами» смотреть на жандармского полковника Стогова (в «Воспоминаниях» Гончарова — Сигов), чинившего жестокие расправы над крестьянами и заподозренными в неблагонадежности симбирскими дворянами.

* * *

В Симбирске Гончаров не собирался оставаться надолго, тем более навсегда. Родным, конечно, и особенно матери хотелось удержать его дома, женить… Гончаров мечтал о другом. Он намерен был к осени уехать в Петербург, что было задумано еще в университете. Но обстоятельства сложились иначе. В результате очень настойчивых предложений губернатора он остался служить в качестве его секретаря и пробыл в Симбирске почти целый год.

Губернатор Загряжский (в «Воспоминаниях» Гончарова — Углицкий) был ловким политиканом. Решив разыграть из себя убежденного борца с так называемыми «служебными доходами», то есть взятками, он перетасовал своих чиновников. Гончарову он заявил, что для задуманного им благородного дела нужны новые, свежие люди, а так как он видит в нем человека «с новыми взглядами», то и предлагает ему послужить на пользу государю и отечеству.

В обстановке свирепой реакции отказ от государственной службы, от «долга», рассматривался как признак неблагонадежности. Отчасти по этой причине, но, видимо, более из решения испробовать свои силы «на деле» и «разогнать немного тьму» в родном городе Гончаров остался в Симбирске служить.

Прежде всего губернатор познакомил Гончарова со своей женой и дочерью. Им он представил молодого человека в такой форме: «Вот у нас еще танцор». И, обращаясь к дочери, добавил: «Он будет твоим кавалером на наших вечерах…» «Monsieur est tres presentable»[51], - бесцеремонно оценила Гончарова губернаторша. Действительно, Гончаров производил благоприятное впечатление. В Симбирск он вернулся уже зрелым юношей, полным жизненных сил, привлекательным по внешности, изящным, с хорошим вкусом и воспитанием. Словом, он не только казался, но и на самом деле был «presentable».

Служба в губернской канцелярии дала возможность Гончарову ознакомиться с миром губернской бюрократии, узнать закулисную сторону жизни этого круга «служилых людей», губернских тузов и дельцов, — «проникнуть взглядом в губернскую бездну». В этом ему много помог Трегубов. Он с неприязнью и презрением относился к чиновничьей бюрократии и свои чувства исподволь старался привить крестнику. Трегубов говорил: «Нашему брату, дворянину, грязно с ними уживаться».

Поразительная картина гнилости губернского административного аппарата, чиновничьих нравов открылась перед глазами изумленного Гончарова: при этом он понял, что правительство знало обо всем, но «не совало носа в омут непривилегированных доходов».

Крайне поражало Гончарова то, с каким открытым бесстыдством и веселым цинизмом принято было среди чиновной братии говорить о взяточничестве, даже в присутствии самого губернатора. Некий Янов, бывший до Гончарова на его месте, а потом ставший чиновником по особым поручениям при губернаторе, рассказывал как-то в губернской канцелярии, среди обступивших его чиновников, как он ездил на ревизию в губернию и как ему всюду в пальцы перчаток набивали золотые: «Я даже думал, не отдать ли назад, да передумал. Ведь это не взятка — фи, как можно!.. тут просто суют в руки лишние деньги, да еще нажитые, очевидно, неправедно. Как же их не отобрать и не спрятать в карман, тем более, что перчатки разорвались, не выдержали».

Эта циничная ирония чиновника вызывала лишь всеобщий смех. Возвратясь с ревизии, Янов все то же рассказывал за обедом у губернатора. И тот «больше всех тешился».

Как-то, находясь в гостях у одной помещицы, Гончаров слышал, как она со своим родственником обсуждала вопрос о женихе для хорошенькой дочери и с завистью говорила о каком-то Мальхине, у которого-де полтораста душ, да и «доход от должности» немалый.

— Помилуйте, он плешивый, толстый, да еще взятки берет, — вмешался в разговор Гончаров.

Но тут за названного кандидата в женихи вступился родственник помещицы.

— А какие это взятки! Не взятки, милостивый государь, а доходы получает по месту советника казенной палаты! — строго выговорил он.

— Ну, это все равно, — возразил Гончаров.

— Как все равно? — горячился оппонент. — Не все равно! Вот будете служить, тоже сами будете получать доход: без дохода нельзя…

— Не буду! — сердито отрезал Гончаров.

— Молодо — зелено! — заметила помещица.

Гончаров не мог примириться с подобными нравами.

Каждый раз, когда он сталкивался с людьми, в которых воплощалась «застарелая порча» века, перед ним вставал образ Чацкого — Грибоедова — этих, по его выражению, «вестников» нового миросозерцания, новой жизни. И они, казалось, звали и его быть судьей старой, отживающей жизни.

С юных лет Гончаров видел в Чацком своего героя, который «лучом света рассеял тьму». Пройдет много десятилетий, и Гончаров снова взволнованно и горячо заговорит о Чацком в «Мильоне терзаний».

Вначале у Гончарова создалось впечатление, что губернатор неподкупно честный и благородный человек, что он чист от пороков, присущих чиновничьему кругу, и готов вступить с ними в борьбу. Сам он, его жена и дочь, весь его быт отличались подчеркнутой светскостью, аристократизмом, изяществом. Жил он на широкую барскую ногу, что требовало больших денег. Но у него ничего не было, кроме жалованья и… долгов. Никто не мог сказать, что он имел «доходы» от службы. Но и он, конечно, имел таковые, только в деликатной форме. За всякие потворства по откупам крупные откупщики давали губернатору и другим властям ежегодные «субсидии». Умел получить «доход» Загряжский — Углицкий и посредством игры в карты с теми же откупщиками или купцами. И всегда случалось так, что губернатору везло, а те «проигрывали».

Губернатор вечно был в долгах. Но долги он покрывал, беря снова в долг. Он был виртуозом этого дела, хотя, по свидетельству Гончарова, деланье долгов тогда не считалось вовсе в какой-либо мере безнравственным поступком. Только ленивый, по пословице, не делал в то время долгов. Занять и не отдать для этих «джентльменов» не считалось позором.

Очень скоро Гончаров понял, что губернатор вовсе не был

намерен всерьез начать борьбу со взяточничеством. Все дело кончилось небольшим шумом и некоторым испугом среди чиновничьей братии. Заявив, что он хочет прекратить «нештатные» доходы, губернатор для острастки вызвал к себе двух-трех «оглашенных» — уличенных в мелких взятках чиновников — и пригрозил им судом. А далее все пошло своим прежним порядком.

Анекдотична история служебного возвышения Загряжского. Поведал миру об этом не кто иной, как сам симбирский жандармский полковник Стогов. «Кто такой губернатор Z. (Загряжский. — А. Р.)? — писал он. — Он был в отставке капитаном Преображенского полка. 14 декабря он явился к дворцу. Государь несколько раз посылал Якубовича образумить бунтовщиков и убедить их, чтоб покорились. Якубович шел к мятежникам, и Z. за ним. Якубович вместо убеждения говорил: «Ребята, держись, наша берет, трусят, ура! Константин!» И бунтовщики кричат: «Ура, Константин и супруга его Конституция!» Якубович возвращался и докладывал: «Изволите слышать, они с ума сошли, хотели в меня стрелять».

Так было несколько раз, и Z. всякий раз ходил и один раз перевязывал ногу платком, прихрамывая, будто ударили его по ноге.

Государь не забывал усердия и сказал в. к. Михаилу Павловичу: «Я видел усердие Z., спроси его, чего он хочет!» В. к. Михаил спросил Z.: «Чего ты хочешь?» Z., не задумавшись, отвечал: желаю быть губернатором.

— Не много ли это будет?

— Для государя все возможно!

И вот Z. чрез разные метаморфозы — губернатор в Симбирске»[52].

Загряжский был очень недурен собою, щеголь и женолюб. Избалованный дешевыми победами, он затеял интригу с дочерью князя Баратаева. Ходил к ней на свидание, нарядившись старухой. Он так хорошо загримировался и играл свою роль, что сам отец указал, как пройти к дочери. Загряжский похвастался и опозорил имя девушки. Дворянство ополчилось против него, стали грозить скандалом и даже кулачною расправой. Когда Загряжского спросили, что побудило его хвастаться, он ответил: «Иметь успех у женщины и не рассказать, все равно, что, имея андреевскую звезду, носить ее в кармане». И в конце концов Загряжский вынужден был удалиться из Симбирска отнюдь не почетно.

Затхлая, обломовская атмосфера родного города тяготила юношу. Его отталкивала эта «бесцельная каниtель жизни, без

идей, без убеждений», «без заглядывания в будущее». «Над всем царила пустота и праздность». «Не было ни одного кружка, который бы интересовался каким-нибудь общественным, ученым, эстетическим вопросом». Когда-то в городе существовала неплохая сцена, но ее в 1820 году приказал «убрать» пресловутый попечитель Казанского округа Магницкий, который предлагал закрыть Казанский университет, а стены его разрушить. Жалкое существование влачил любительский театр, помещавшийся в деревянном, похожем на сарай, здании где-то на углу Бараньей слободки.

Невольно Гончарову приходилось «плыть по течению местной жизни», ездить на балы «отплясывать ноги» и развлекаться «кадрильным ухаживаньем» за губернскими барышнями. Все это, конечно, совершалось под строгим контролем маменек и тетушек, которые «пуще всякой полиции» следили за каждым взглядом и движением танцующих молодых людей. Не дай бог протанцевать с одной из барышень подряд два-три раза, — уже прочили в женихи. Приключилась такая история и с Иваном Гончаровым, который тогда, конечно, не имел «охоты узы брака несть» и от сплетен прятался дома или уходил на высокий берег Волги.

Он иногда до поздней ночи
Сидит, печален, над горой,
Недвижно в даль уставя очи,
Опершись на руки главой.

(«Тазит»)

Гончаров почувствовал, что постепенно и незаметно начинает «врастать в губернскую почву». Неизвестно, чем бы кончилось все это, как вдруг губернатор был отстранен от должности. У Гончарова появилась радостная для него возможность оставить службу и уехать в Петербург.

Пребывание в Симбирске в 1834–1835 годах оставило глубокий след в жизни молодого Гончарова. Сближение с действительностью открыло ему глаза на страшные пороки и гниль чиновно-бюрократической машины, укоренило в нем прогрессивные антикрепостнические настроения и еще более возбудило стремление к живой, творческой деятельности, к труду «на благо родины».

Не раз потом побывал еще в Симбирске Гончаров, пополнил и обогатил, юношеские впечатления. Многие из своих симбирских

наблюдений писатель творчески обобщил и воспроизвел в типических образах и картинах.

Не по душе пришлась молодому Гончарову жизнь родного города. Но у сердца свои законы, и было грустно прощаться с матерью, родным домом, Волгой, со всем, что было дорогим и незабываемым.

Из души просились слова любимого поэта:

Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа,
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?[53]

Глава пятая
В петербурге

Что же побуждало двадцатидвухлетнего Гончарова стремиться в Петербург, что так сильно влекло его туда? По мнению одного из современных исследователей творчества Гончарова, «подобно своему будущему герою Александру Адуеву, уехал он в далекую северную столицу искать «карьеры и фортуны»[54].

Эта аналогия, конечно, весьма условна. Существо стремлений Гончарова было совершенно иным, чем у «избалованного ленью и барством мечтателя», «безнадежного» романтика Александра Адуева.

Не для «карьеры и фортуны» и не ради желания вкусить соблазнов шумной столичной жизни, по примеру светской молодежи, стремился в Петербург Гончаров. Личных благ и служебной карьеры он мог добиться и в Симбирске. Петербург влек его к себе как центр тогдашней общественной и литературной жизни. Там Гончаров надеялся найти удовлетворение своим умственным интересам, развернуть свои силы и способности.

Еще до окончания университета Гончаров думал перебраться из Москвы в столицу. Год жизни в Симбирске только еще более утвердил его в этом намерении. Гончаров увидел, что «родимый город не представлял никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свежих молодых сил». Между тем духовные интересы, влечение к творческому труду уже стали для юноши выше других жизненных расчетов и соображений, — именно это характеризует нравственный облик молодого Гончарова. Он, не колеблясь, избирает свой жизненный путь.

По приезде в Петербург Гончаров определился на службу в министерство финансов, в департамент внешней торговли. По мнению Н. К. Пиксанова, этот «выбор службы был характерен для выходца из купечества, воспитанника Коммерческого училища». [55] Это мнение, конечно, нельзя признать справедливым, поскольку в департамент внешней торговли стремились многие молодые люди из дворянских и аристократических кругов. «Выбор службы» молодым Гончаровым объяснялся, конечно, не его социальным происхождением. Никто из детей Гончаровых не унаследовал от родителей их интереса к купеческому делу. Отказавшись от своей части наследства в пользу брата, Иван Александрович добывал средства к жизни личным трудом. К

кругу русской разночинной трудовой интеллигенции принадлежал и брат писателя, Николай Александрович Гончаров. По окончании Московского университета он до конца жизни был учителем языка и словесности симбирской гимназии.

Чуткий и справедливый педагог, он оставил по себе самую добрую память. Он был также одним из организаторов ряда симбирских изданий. Поэт Д. И. Минаев посвятил ему свое произведение — стихотворный перевод (пересказ) «Слова о полку Игореве».

По меньшей мере странно также видеть в И. А. Гончарове «воспитанника Коммерческого училища», которое он ненавидел и которое не пробудило в нем коммерческого духа. Он был воспитанником Московского университета.

Между прочим, для поступления в департамент внешней торговли было необходимо знание иностранных языков. И, следовательно, окончившие Коммерческое училище не годились для этой службы, так как изучение иностранных языков в училище поставлено было очень плохо. Гончаров же, к моменту определения на службу в департамент, почти в совершенстве знал три языка: французский, немецкий, английский. Вот это обстоятельство, действительно, могло повлиять на выбор службы.

Бюрократическая карьера не прельщала и не составляла жизненной цели Ивана Александровича Гончарова.

Утверждение Потанина, что Гончаров будто бы служил «до самозабвения, по-адуевски», не соответствует действительности. Ни в годы молодости, ни в последующие периоды жизни — никогда не думал он всецело отдавать себя чиновной деятельности, творческие интересы и стремления всегда брали в нем верх, и он был прежде всего художником.

Свою службу Гончаров начал рядовым канцелярским чиновником — переводчиком иностранной переписки. Восхождение по служебной лестнице совершалось, но очень медленно. На пятнадцатом году службы в департаменте Гончаров стал всего лишь младшим столоначальником, в коей должности и оставался до своего отъезда в кругосветное плавание на фрегате «Паллада» в 1852 году. Что касается повышения в чиновном звании, то за те же пятнадцать лет Гончаров дослужился до чина «коллежского асессора» — успех весьма незначительный для человека с таким образованием и такими способностями, как Гончаров. Он явно не стремился к карьере на этом поприще.

Однако жизнь Гончарова складывалась так, что он принужден был служить.

В первые годы пребывания в Петербурге Гончаров претерпел немало житейских трудностей и лишений. Существовал он на

весьма скромный заработок, не пользуясь какой-либо помощью из родительского дома. Уже в пору писательской известности он писал Софье Александровне Никитенко, которая на протяжении многих лет была его добрым другом и замечательной помощницей в творческой работе: «У Вас (и во всей семье Вашей) вкоренилось убеждение, что я счастливейший смертный! Что же мне с этим делать!.. Но следили ли Вы, каким путем и когда достиг я этих благ и сколько лет пробивался сквозь тесноту жизни, чтобы добраться до этого, и то еще не совсем верного порта, т. е. до возможности не только всякий день обедать и спать на своей подушке, но даже и поехать за границу на казенный счет. А до тех пор? А пройденная школа двух десятков лет, с мучительными ежедневными помыслами о том, будут ли в свое время дрова, сапоги, окупится ли теплая, заказанная у портного шинель в долг».[56]

Так еще с первых шагов петербургской жизни Гончарова возникло то противоречие между его глубоким и страстным стремлением к профессиональному, свободному творчеству и житейской надобностью служить, из которого он не смог выйти почти до самого конца жизненного пути.

Впоследствии, вспоминая о пережитом, Гончаров писал А. А. Толстой: «Хотелось мне всегда и призван я был писать; а между тем, должен был служить… всегда делал то, чего не умел или не хотел делать».[57] Глубокая горечь звучит в его словах: «Весь век на службе из-за куска хлеба!»

* * *

Биографы и исследователи творчества Гончарова обычно весьма мало внимания уделяли начальному периоду жизни Гончарова в Петербурге, тогда как он был, бесспорно, решающим в творческом развитии писателя. Именно в эти годы сложились общественные и эстетические идеалы Гончарова, которые нашли свое выражение уже в первом его широко признанном печатном произведении — «Обыкновенная история». Те же биографы, которые подробно исследовали этот период, обычно чрезмерно выпячивали и преувеличивали одну сторону жизни Гончарова — службу, связь с чиновно-бюрократическим миром.

Несомненно, что чиновно-бюрократическая среда наложила известный отпечаток как на образ жизни, так и на психику Гончарова. Но поистине достойно удивления, что он, долго находясь в этой среде, в этом «чиновном петербургском омуте», не только не загубил свой художественный талант, но и добился

его совершенного развития, стремясь служить «целям жизни». И это в своем роде был подвиг не только личный, но и гражданский.

Служба в департаменте внешней торговли дала Гончарову много важных наблюдений над некоторыми существенными сторонами и фактами тогдашней действительности. «Служба ввела Гончарова в особый мир, незнакомый русским беллетристам того времени: Тургеневу, Григоровичу, Достоевскому — мир коммерческий и бюрократический. Департамент внешней торговли сосредоточивал в себе руководство международной торговлей России… Движение хозяйственной жизни страны, рост капитализма и русской буржуазии здесь ощущались весьма явственно… Через руки Гончарова, как переводчика иностранной переписки, проходили документы большого экономического значения. Несомненно, здесь, в департаменте внешней торговли, мысль Гончарова впервые отчетливо осознала значение, рост русской буржуазии — не архаического провинциального торгового купечества, а буржуазии англизированной, столичной, включенной в международные связи».[58]

Здесь Гончаров мог пристально наблюдать типы и нравы дельцов буржуазной складки, что, несомненно, пригодилось ему в дальнейшем как художнику в работе над типами Адуева-старшего в «Обыкновенной истории» и Штольца в «Обломове».

Но не только в стенах департамента мог наблюдать Гончаров явления подобного порядка. Было бы грубым упрощением обусловливать представления и взгляды Гончарова относительно роли и значения буржуазии в общественном развитии лишь его служебным положением. Трезвое понимание Гончаровым того факта, что и Россия вступила на путь капиталистического развития, складывалось как результат осознания всей окружающей действительности.

* * *

Вскоре после приезда в Петербург и поступления на службу Гончаров знакомится с семейством известного тогда художника Николая Аполлоновича Майкова.

Это, по выражению П. А. Плетнева[59], была «фамилия талантов». Из старинного рода Майковых вышли видные деятели русского просвещения и искусства. Василий Иванович Майков (1728–1788) был даровитым писателем, автором комической поэмы «Елисей или Рассерженный Вакх». Аполлон Александрович Майков (1761 — 1838), отец художника, будучи директором

императорских театров, также занимался творчеством. Его перу принадлежит комедия «Неудачный сговор» и несколько од на различные исторические события. Брат его, Михаил Александрович, известен как автор четырех сборников «Басен и стихотворений».

Николай Аполлонович самоучкой достиг большого мастерства в живописи и стал академиком. Юношей он в составе корпуса Багратиона участвовал в Бородинском сражении, где был ранен, но затем вернулся в действующую армию и принял участие в походе на Париж. Во время похода вполне раскрылся проявившийся еще ранее в нем талант рисовальщика. Выйдя в отставку в чине майора и поселившись в Москве, он всецело отдался живописи. В эти годы он был человеком либеральных взглядов. С наступлением аракчеевской реакции общественный индиферентизм, охвативший некоторую часть прогрессивной дворянской интеллигенции, сказался и на его настроениях. Он замкнулся в круг вопросов «чистого искусства», то есть искусства, как бы отрешенного от интересов окружающей действительности. Но вся его жизнь была насыщена неустанным и вдохновенным трудом. Что-то было подвижническое в его любви к работе живописца, во всем его облике, в старческом лице с падающими вдоль щек длинными прядями поседевших волос, перетянутых на лбу ниткой. Как отец многочисленного семейства и человек он был образцом. «Трудно полнее и безупречнее, чище прожить жизнь, как прожил ее Майков, в качестве сначала воина, потом артиста, наконец, просто человека», — говорил Гончаров.[60]

Творческие склонности проявляла и супруга Николая Аполлоновича — Евгения Петровна Майкова (до замужества Гусятникова). За подписями «Е. М.… ва» и «Е. Подольская» в сороковых-пятидесятых годах она напечатала несколько стихотворений и две повести: «Женщина» и «Женщина в тридцать лет». Все дети Майковых отличались одаренностью, но особенно незаурядные таланты проявили впоследствии старшие сыновья — Аполлон и Валерьян, — первый на поэтическом и второй на критическом поприщах.

Еще в 1834 году Майковы переехали на жительство в Петербург. Знакомство Гончарова с семьей Майковых, возможно, произошло через племянницу Евгении Петровны Майковой — Юнию Дмитриевну Гусятникову (в замужестве Ефремову).

С ней Гончаров познакомился еще в Москве, в университетские годы и тогда, видимо, серьезно увлекался ею. На протяжении ряда лет, до своего замужества, «прелестная Юнинька» была близким другом Гончарова. Но и в дальнейшем в своих письмах он неизменно обращался к ней со словами

«прекрасный друг Юния Дмитриевна». Большая и человечески-трогательная дружба сохранилась между ними на всю жизнь.

Гончаров был представлен Майковым как молодой «словесник», питомец Московского университета. В семье Майковых люди, получившие образование в Московском университете, пользовались большим признанием.

Майковы стремились дать своим детям всестороннее гуманитарное образование. В Гончарове они почувствовали человека широких литературных познаний, живой и самостоятельной мысли, хорошего эстетического вкуса. Импонировало, конечно, и отличное знание им иностранных языков. И Майковы пригласили Гончарова преподавать их сыновьям — Аполлону и Валерьяну — русскую литературу, эстетику и латинский язык. Очень скоро Гончаров стал в их семье своим человеком.

Обучением детей Майковых занимался также и близкий их друг, Владимир Андреевич Солоницын. Это был весьма образованный, но другой идейной и житейской складки, чем Гончаров, человек. В свое время он также окончил Московский университет, уже несколько лет литераторствовал (в частности, ему принадлежал первый перевод на русский язык романа Диккенса «Замогильные записки Пикквикского клуба») и был соредактором О. И. Сенковского по журналу «Библиотека для чтения». Вместе с тем он тесно был связан с миром крупной чиновной бюрократии, занимал должность столоначальника в департаменте внешней торговли, где стал, под непосредственным его начальством, служить и Гончаров.

Для детей Майковых, в их первоначальной карьере, Солоницын являлся своего рода гением-покровителем. Все сыновья Майковых — Аполлон, Владимир и Леонид, за исключением Валерьяна, — начали свою самостоятельную деятельность со службы в департаменте внешней торговли, под эгидою Солоницына. Но впоследствии все, однако, стали литераторами.

Гончаров, по свидетельству современников, много способствовал общему и особенно эстетическому развитию Аполлона и Валерьяна Майковых. Прогрессивные взгляды Гончарова на искусство, несомненно, сказались на ранних литературных выступлениях братьев Майковых, хотя в дальнейшем каждый из них занимал свою особую общественную и литературную позицию. Впоследствии, когда Валерьян Майков выступил как талантливый критик, Гончаров внимательно изучал его философские и эстетические взгляды и в ряде вопросов был солидарен с ним.

Валерьян Майков был горячим сторонником гоголевского реализма в литературе и решительным противником реакционного романтизма и мистики. Он, в частности, как и другие русские писатели, выдвинул идею создания образов «положительного человека» в литературе, но предостерегал, что на подлинно «положительного человека» не следует смотреть «как на какую-то сухую, вымороченную почву». Все эти мысли были очень созвучны творчеству Гончарова. Но ему, бесспорно, было чуждо пренебрежительное отношение Майкова к народу и национальной культуре, его, как выразился Белинский, «патриотизм без отечества». Впоследствии (в ряде писем и в «Необыкновенной истории») Гончаров резко осудил низкопоклонство некоторых «западников», их космополитизм.

Несмотря на ошибки молодого критика, Белинский выражал сожаление, что такие талантливые публицисты, как Валерьян Майков и Заблоцкий-Десятовский, сотрудничают в «Отечественных записках», а не в «Современнике». Незадолго до своей смерти В. Майков сам обратился в «Современник» с предложением сотрудничать и печатался там. После трагической гибели В. Майкова 15 июля 1847 года в «Современнике» появился некролог, который принадлежал перу Гончарова. По сути дела, это был не обычный некролог, а критико-биографическая статья, в которой отмечались как достоинства таланта и деятельности Майкова, так и слабые стороны.

Смерть Валерьяна Майкова принесла Гончарову, и всей семье Майковых, тяжкое горе и боль. Глубоко страдая сам, Гончаров находил в себе силы и слова для утешения отца и матери, братьев и родственников Валерьяна.

Дружба Гончарова с Майковыми не порывалась никогда. Она как бы по завету перешла от стариков-родителей к детям и близким. На протяжении многих десятилетий Гончаров был в тесных отношениях с поэтом Аполлоном Майковым, его братом Владимиром Николаевичем Майковым (редактором журнала для юношества «Подснежник», где печатался и Гончаров), его супругой писательницей шестидесятых годов Екатериной Павловной Майковой.

В своих письмах из-за границы он признавался: «…Я всех их непрестанно содержу в памяти и сердце…»

История взаимоотношений Гончарова с семейством Майковых — одна из важнейших и интереснейших страниц его жизни, творческого пути.

* * *

Во второй половине тридцатых годов и в сороковые годы аристократический дом Майковых был известен в столице своим литературным салоном. «Это, — вспоминал А. М. Скабичевский, — был литературный салон, игравший некогда очень видную роль в передовых кружках 40-х годов».[61] Здесь собиралось многочисленное общество писателей, артистов, художников, деятелей науки, журналистов, издателей и просто любителей искусства и литературы. Здесь можно было увидеть представителей самых различных литературных направлений.

Дом Майковых, рассказывал впоследствии Гончаров, «кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусств». Часто посещали салон поэт реакционно-эстетского толка В. Г. Бенедиктов, писатель Д. В. Григорович, впоследствии близкий к «натуральной школе», критик «Отечественных записок» С. С. Дудышкин, публицист А. П. Заблоцкий-Десятовский, писатель И. И. Панаев, впоследствии соиздатель журнала «Современник», и другие.

Позднее, в сороковых годах, бывали Ф. М. Достоевский, М. Михайлов, Н. А. Некрасов, Я. П. Полонский, И. С. Тургенев и многие другие.

В числе близких к дому людей были журналист и основатель «Отечественных записок» П. П. Свиньин, поэт Ив. П. Бороздна и упоминавшийся еще ранее В. А. Солоницын.

По словам Гончарова, «все толпились в не обширных, не блестящих, но приютных залах… и все, вместе с хозяевами, составляли какую-то братскую семью или школу, где все учились друг у друга, разменяваясь занимавшими тогда русское общество мыслями (курсив мой. — А. Р.), новостями науки, искусств».[62] Многие являлись с рукописями и читали свои произведения. Вечер кончался ужином, «приправленным интересной, одушевленной беседой».[63]

Гончарову, стремившемуся к серьезной творческой деятельности, но не имевшему еще каких-либо литературных связей в Петербурге, среда людей, собиравшихся у Майковых, давала возможность широко знакомиться с интересами и настроениями в общественной жизни, литературе, науке и искусстве того времени. В этом водовороте и переплетении мнений и вкусов Гончаров настойчиво и убежденно искал и нащупывал собственную позицию.

Замечательно, что первый свой роман, «Обыкновенную историю», он в 1847 году поместил не в журнале реакционера О. Сенковского «Библиотека для чтения» и не в «Отечественных записках», издателем которых был тогда П. Свиньин, а в передовом демократическом журнале того времени —

«Современнике».

* * *

Долго и настойчиво готовил себя Гончаров к писательской деятельности.

В одном из писем, имея в виду как раз первоначальный период своей жизни в Петербурге, он говорит: «…Писал сам непрестанно… Потом я стал переводить массы — из Гете например — только не стихами, за которые я никогда не брался (в действительности Гончаров «брался» и за стихи — в молодости, — но всегда скрывал это. — А. Р.), а многие его прозаические сочинения, из Шиллера, Винкельмана и др. И все-это без всякой практической цели, а просто из влечения писать, учиться, заниматься, в смутной надежде, что выйдет что-нибудь. Кипами исписанной бумаги я топил потом печки.

Все это чтение и писание выработало мне однако перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы и практику. Чтение было моей школой, литературные кружки того времени сообщили мне практику, т. е. я присматривался к взглядам, направлениям (курсив мой. — А. Р.) и т. д. Тут я только, а не в одиночном чтении и не на студенческой скамье, увидел — не без грусти — какое беспредельное и глубокое море — литература, со страхом понял, что литератору, если он претендует не на дилетантизм в ней, а на серьезное значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и не всю жизнь!..»[64]

Эти строчки раскрывают перед нами целую полосу жизни Гончарова.

Иван Александрович заново перечитывает все сочинения Пушкина. Именно тогда, по его признанию, в пушкинских произведениях им «все было изучено», каждая строка «прочувствована» и «продумана». Это была подлинно творческая, вдохновенная и страстная учеба у величайшего художника слова, отца русской поэзии и создателя русского национального языка. Пушкин дал направление его реалистическому таланту.

Трагическая гибель великого поэта глубоко потрясла душу молодого Гончарова.

«Я был маленьким чиновником — «переводчиком» при министерстве внутренних дел, — вспоминал впоследствии Гончаров. — Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но надо всем господствовал он (Пушкин.- А. Р.). И в моей скромной чиновничьей комнате, на

полочке, на первом месте, стояли его сочинения… И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет… Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собою, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал… Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, перед кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины. Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери…»[65]

* * *

Семья Майковых, где царил культ бескорыстного служения искусству, пришлась по душе молодому Гончарову. В эти годы он сам был охвачен жаждой писать и сочинять «без всякой видимой практической пользы» и охотно, по собственному признанию, участвовал с Майковыми «в домашних, так сказать, то-есть не публичных, занятиях литературой». В кружке Майковых выпускались рукописные художественные альманахи: «Подснежник», «Лунные ночи». В этих с большим художественным вкусом оформленных рукописных сборниках дебютировал первыми стихами и прозой Аполлон Майков, статьями на разные темы — Валерьян и Владимир Майковы. Помещала там свои сентиментально-романтические стихи и рассказы их мать, Евгения Петровна Майкова. Глава семейства Николай Аполлонович снабжал сборники превосходными иллюстрациями. В альманахах принимали участие и завсегдатаи салона и семейных вечеров у Майковых: В. А. Солоницын, забытый ныне поэт Ив. П. Бороздна, П. П. Свиньин, В. А. Алябьева, может быть, И. И. Панаев.

Культ отвлеченного романтизма, уход в «чистое искусство», эстетизм — вот что определяло эстетическую сущность этих альманахов.

Все это теоретически обосновывается в одном из альманахов следующим образом. Благородное имя человека имеет право носить тот, кто чувствует все прелести изящного. Изящное является единственным способом к «предузнанию наслаждений будущей жизни». Соответственно с этим художнику отводится особое место в обществе: он стоит выше всей реальной действительности — «не на земле», а «где-то там, высоко, где не душно от злоязычия людей, где мир так очаровательно прекрасен». «Тысячи гениев трубят победу небесного над

земным». Но есть люди, которые топчут ногами эту «усладительную поэзию». Неправда, будто на земле «все в гармонии с душой». Истинная, идея жизни — «в мечтании».[66]

Большинство произведений, составлявших альманахи, проникнуто тончайшей идеалистической романтикой, сентиментальностью.

Разочарованный душою,
Мне жизнь — коварный сердца бред, —

пишет неизвестный поэт. Показательно, что одним из постоянных участников альманахов был поэт В. Г. Бенедиктов — типичнейший представитель безыдейной ходульно-романтической поэзии.

Но среди участников альманахов были и люди других эстетических вкусов и понятий. Их перу принадлежат повести и очерки с реалистическими элементами бытописания и юмором, анекдоты, сказки, пословицы и т. д.

В чем же выражалось участие Гончарова в этих «домашних», «не публичных» занятиях литературой в доме Майковых? Это не только его повести: «Лихая болесть» («Подснежник», 1838), «Счастливая ошибка» («Лунные ночи», 1839). В «Подснежник» за 1835–1836 годы Гончаров поместил четыре своих стихотворения: «Отрывок из письма к другу», «Тоска и радость», «Романс», «Утраченный покой».

В одной из своих статей Белинский заметил, что двадцатые годы — «это ультра-романтическое и ультрастихотворное время». Но то же самое можно сказать и о тридцатых годах. Увлечение стихотворством в то время приняло среди молодежи почти повальный характер. «Писание стихов тогда, — по замечанию Гончарова, — было дипломом на интеллигенцию». Известную дань этому увлечению отдал и молодой Гончаров.

И по своей главной теме (утраченная любовь), и по образу героя («страдалец с пасмурным челом»), и по фразеологии («волшебный миг любви», «пламенная страсть», «коварное молчание», «демон злой», «дико воющая пучина») стихи Гончарова вполне традиционны для условно-романтической поэзии тридцатых годов. Сказалась известная зависимость его художественных вкусов от эстетической атмосферы в кругу Майковых.

Однако зависимость эту не следует преувеличивать. Здесь не было идейных влияний, а лишь только формальные. В стихах

Гончарова нетрудно заметить и подражание пушкинской интонации. Несмотря на внешнюю их «гремучесть», стихи не лишены искренности. Поэт стремится выразить в них свои лирические настроения и переживания, а не напускные чувства и страсти. В отличие от уныния традиционной, элегической лирики того времени в его стихах не слышится безысходного разочарования, и конфликт с действительностью лишь временно трагичен. Меланхолические размышления обычно завершаются уверенным взглядом на будущее, сознанием связи с жизнью.

Я в мир вошел и оглянулся —
Роскошно все цвело кругом,
Я горделиво улыбнулся;
Я в мире лучшим был звеном, —

говорит поэт. Но кто-то обрекает его на страдания и:

…рукою дерзновенной
Кумир блаженства сокрушил!

Поэт погружен «в бездну муки» и все же верит в то, что

Мечты сильнее разгорятся,
Живее вспыхнет жизнь моя.

Стихи Гончарова свидетельствуют о том, что и у него был свой «романтический этап» в творчестве.

«Проба сил» в стихах (это «баловство» поэзией) для Гончарова была неудачной, и он, видимо, в дальнейшем не повторял ее. Критически взглянуть на свои поэтические опыты ему помог, несомненно, Белинский статьей о стихотворениях Бенедиктова (1835), которая нанесла сокрушительный удар не только шумной популярности Бенедиктова, но и всей эпигонской и реакционно-романтической поэзии.

Замечательно, что часть своих стихов Гончаров использовал в «Обыкновенной истории», приписав их авторство Александру

Адуеву. Но он не просто использовал эти стихи, но и намеренно ухудшил их текст, чтобы затем, устами дядюшки Адуева, язвительно высмеять их. По меткому замечанию А. Г. Цейтлина, это один из интересных случаев самопародии писателя.

О стихах Александра Адуева и подобных ему романтиков, падких на стихотворство и «поэтическую славу», Белинский (в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года») писал: «Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки; хотя в них и довольно риторической водицы, однако в них местами проглядывает чувство, иногда даже блеснет мысль… — словом, заметно что-то вроде таланта».[67]

Более того, отмечает критик, подобные стихи печатались в свое время в журналах, их хвалили, а авторы их достигали известности. Но молодому Адуеву, по меткому замечанию Белинского, не удалось насладиться даже ложной известностью. Его «не допустили» до этого «время», в которое он вышел со своими стихами, и «умный, откровенный дядя».

О, если бы знал тогда Белинский, что стихи Адуева были когда-то, в пору романтического увлечения стихотворством, поэтическими опытами самого автора «Обыкновенной истории»! Как бы он от души посмеялся вместе с Гончаровым над тем, что ими самими было пережито в прошлом и что они теперь так страстно и беспощадно преследовали и высмеивали в нравах и литературе.

* * *

Повести явились первыми прозаическими дебютами Гончарова. И это не было случайным. В тридцатых годах повесть стала чрезвычайно популярным жанром в русской литературе. «Нам нужна повесть», «мы требуем повести», — говорил Белинский и «тайну ее владычества» объяснял тем, что «ее форма может вместить в себе все, что хотите, — легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги этой жизни».[68] Именно по этим реалистическим путям стремился направить развитие русской повести Белинский. Но этой линии в литературе противостояли другие. Приходилось не только вести борьбу с реакционной литературой, но и преодолевать влияние ложно-романтической прозы Марлинского и его подражателей. «Отчаянная фразеология ложных, натянутых

страстей и притязательная (pretentieuse) фразеология немецко-бюргерской мечтательности», «преувеличения, мелодрама, трескучие эффекты» — вот что, как указывал Белинский, составляло «главный характер» повестей Марлинского.

В двадцатых годах эти повести принесли известную пользу обществу: в них был виден ум, образованность, что помогло читателям скорее распознать фальшь и пошлость сочинений Булгарина, который, по словам Белинского, «выдавал нам за народность грязь простонародья». Но времена переменились. Русская литература стремилась к связи с жизнью, и литературная манера Марлинского стала для нее помехой.

Белинский уже в «Литературных мечтаниях» (1834) подверг критике романтизм Марлинского. В статье «О русской повести и повестях Гоголя» Белинский указывал, что поскольку в произведениях Марлинского «нет истины жизни, нет действительности такой, как она есть, ибо в них все придумано», они не полезны, а вредны: они уводят читателя от реальных интересов жизни в мир беспочвенных фантазий и иллюзий. Эта статья, как и последующие выступления Белинского в печати, полностью развенчали Марлинского в глазах ранее увлеченной им публики, как представителя «ложного романтизма», как «литературщика» — «жонглера фразы».

И вот именно в эту пору борьбы Белинского с псевдоромантизмом Гончаров пишет первые свои повести — «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка», которые всецело направлены на преодоление влияния фальшивого романтизма в жизни и литературе.

Чтобы понять значение этого факта в творческом развитии Гончарова, следует также иметь в виду, что свои повести он писал, находясь в кругу Майковых, где культивировались идеалы «чистого искусства», возвышенного эстетизма и условной романтики. Гончарову, конечно, бросался в глаза весь этот напускной, искусственный романтизм. Первая повесть написана в шутливой форме и воспринималась Майковыми, как добродушная и веселая пародия. Не придавал серьезного значения этому своему первому прозаическому опыту, видимо, и сам Гончаров. Между тем в этом произведении уже наметились зачатки черт, характерных для гончаровского таланта.

«Лихая болесть» проникнута иронией над беспочвенной, праздной романтической мечтательностью, над напускным романтизмом, который тогда сильно укоренился в дворянском быту. Такова та «лихая болесть», которой поражено все семейство неких Зуровых и которая чуть не погубила их друга Никона Устиновича Тяжеленно и чуть-чуть было не одолела будто бы

даже самого рассказчика. Каждого пораженного этой «лихой болестью» охватывает «тоска и дрожь» только лишь при упоминании о загородных прогулках, где, по словам одного из персонажей повести (здесь Гончаров имел в виду Евгению Петровну Майкову, писавшую ультраромантические и «чувствительные» повести), «небесный свод не отуманен пылью», где «мысль свободнее, душа светлее, сердце чище», где «человек беседует с природой в ее храме», где «грудь колеблется каким-то неведомым восторгом». Зуровы не просто едут на прогулку, а чтобы «беседовать с природой», «взирать на лазурь неба», «блуждать по злаку полей», чтобы «исторгнуть» из себя возвышенные чувства.

Вся повесть построена на столкновении высокопарных, преувеличенных восторгов и вымыслов с «низкой», обыденной жизнью. Зуровы страдают своеобразным «дульцинированием», выдумыванием действительности. Примитивный мостик из жердей, присыпанный навозом, кажется им изящным сооружением, обычная канава — мрачной бездной, поглотившей неведомых героев, кости которых (в действительности кости кошек и собак) белеют во мгле, куча земли — величественным и таинственным холмом, с вершины которого открывается, пленительная картина, болото, где живут только лягушки, — чарующим озером.

Все герои повести падки на возвышенную романтическую фразу. «Я торжествовал, — говорит одно из действующих лиц (рассказчик), — видя, как жадная, нелицемерно жадная, толпа готова была вознести на пьедестал богиню моей души и преклонить пред нею колена. Кровь забушевала во мне, как морская волна, воздымаемая ветром до небес…» и так далее в том же духе. Гончаров пародирует высокопарный, напыщенный язык, который был так характерен для ходульно-романтических повестей и прежде всего для повестей Марлинского.

Эта ирония, эта насмешка над беспочвенной романтикой и мечтательностью, над напыщенной фразеологией придает «Лихой болести» значение более существенное, чем то, которое могла иметь «домашняя» повесть.

«Лихая болесть» свидетельствовала о стремлении Гончарова к реалистическому показу жизни. Автор предлагает вниманию читателя свои «наблюдения… со всевозможной подробностью», зарисовки быта. Вместе с тем рассказчик (в сценке, где говорится о харчевне) дает понять читателю, что он против примитивно-натуралистического воспроизведения явлений жизни. С тонкой иронией в адрес тогдашних главарей реакционной, псевдонародной беллетристики тридцатых годов Булгарина и

Орлова автор повести замечает: «По недостатку наблюдений и опытности в этом случае, я не мог собрать довольно фактов и изложить их обстоятельнее; впрочем, не должно отчаиваться: слухи носятся, что два плодовитые писателя, один московский, а другой санктпетербургский, Орлов и Б-н (то есть Булгарин. — А. Р.), обладающие всеми нужными сведениями по этому предмету, который они исследовали практически, давно готовят сочинение».[69]

Это высказывание Гончарова характеризует его как сторонника Белинского в его борьбе с Булгариным и всей псевдонародной, так называемой «торговой» литературой.

Особого внимания в «Лихой повести» заслуживает, несомненно, образ «ленивца» Никона Устиновича Тяжеленко. Как справедливо указал Б. М. Энгельгардт, в Тяжеленко «в зачаточном виде представлены многие характерные черты излюбленного героя Гончарова», то есть Обломова. Тяжеленко — «малороссийский помещик» и отличается «беспримерною, методическою ленью и геройским равнодушием к суете мирской». Большую часть жизни он проводит, лежа в постели. Постепенно Тяжеленко «приобрел все атрибуты ленивца» и стал чревоугодником. В заключение его, как и Обломова, хватил апоплексический удар.

Тяжеленко обрисован по преимуществу с «физиологической» и чисто бытовой стороны. Социальная характеристика в нем едва намечена. Несмотря на это, его следует признать прямым и первоначальным прототипом Обломова.

Осуждение фальшивого романтизма и барски-крепостнической лени — эти мотивы «Лихой болести» явились исходными для всего дальнейшего творчества Гончарова.

* * *

Вслед за «Лихой болестью» Гончаров пишет повесть «Счастливая ошибка».

Банальная, традиционная тема так называемой «светской повести» находит в «Счастливой ошибке» новое и своеобразное раскрытие. Авторы светских повестей обычно не отделяли себя от своих романтических героев: они сами были носителями этой романтики. Этого уже нельзя сказать об авторе «Счастливой ошибки». И хотя он также наделяет своих героев романтическим взглядом на жизнь, — сам он выступает как бы судьею романтизма. Свою задачу автор видит в том, чтобы показать, что тот романтизм, который так присущ людям аристократического,

дворянского круга, чужд действительности. Вся повесть проникнута юмором, который свидетельствует о критическом взгляде писателя на явления жизни.

Герой повести «Счастливая ошибка» — молодой аристократ Егор Петрович Адуев. Происходит он из «знаменитого рода» и владеет «тремя тысячами душ и другими весьма удовлетворительными качествами жениха и мужа». Он «пламенно, со всею силою мечтательного сердца» влюблен в молодую красавицу баронессу Елену Карловну Нейлейн. Не чужда этому чувству и героиня. Но некоторыми своими привычками и поступками она сбивает с толку и себя и своего возлюбленного. Между ними возникает конфликт: пылкая любовь юноши наталкивается на легкомысленное кокетство избалованной вниманием светской девушки. Счастливый случай («ошибка») сводит их опять вместе. Пережитая горечь разлуки помогает Елене серьезно взглянуть на свое чувство.

Рисуя любовь Адуева к Елене, Гончаров как будто остается в пределах романтических традиций. Фразеология переживаний героев вполне выдержана в духе светских повестей. Но в данном случае Гончаров не идет против правды: такая фразеология, такой язык действительно были характерны для романтиков из дворянско-аристократической среды.

С насмешкой относится писатель к романтическому неистовству Адуева и осуждает пустоту светских нравов.

В «Счастливой ошибке» Гончаров, следуя Грибоедову и Пушкину, психологию и поступки своих героев обуславливает окружающей их средой и условиями их воспитания, чего вовсе не делали писатели-романтики. Он ставит знаменательный для русской литературы сороковых годов вопрос: кто же виноват в том, что страдают герои, страдает человек? И сам же отвечает: «По-моему, никто». По мнению автора повести, поведение Елены «происходило из особого рода жизни. На ней лежал отпечаток той эпохи, в которой она довершила светское воспитание, того круга, в котором жила с малолетства».

Такое же объективно-реалистическое объяснение дает Гончаров характеру и поступкам Адуева.

Однако реализм «Счастливой ошибки» не глубок. Еще весьма абстрактно, общо у автора понятие о среде и обстоятельствах, в которых формируется характер человека. Так, например, остается неясным, почему «опыт жизни» принес молодому Адуеву только «горькие плоды — недоверчивость к людям и иронический взгляд на жизнь», почему он «перестал надеяться на счастье» и отчего «у него было нечто вроде «горе от ума».

Своего героя Гончаров уподобляет то Чацкому и Онегину, то,

наоборот, — романтику Ленскому или «кавказскому пленнику». Так, подобно Чацкому и Онегину, Адуев «воротился из чужих краев, усталый, недовольный ничем» и вместе с тем «его тяготило мертвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу». Такое состояние он называл «сном, прозябанием, а не жизнью». То он ищет гордого уединения, жаждет чистой любви и, как все «романтики жизни», надеется, что любовь «примирит его с жизнью», то, оскорбленный, мечет громы и молний по адресу бездушного и лицемерного света. В любви и ревности он тот же Ленский. «Признаюсь, — говорит он Елене, — до сих пор я существовал только любовью к вам, и любимою моей мечтою была — ваша любовь». Но заподозрив Елену в неискренности, он исступленно восклицает: «Сколько лукавства, притворства, кокетства!» Словом, он говорит и чувствует точно так же, как и романтик Ленский.

Что же хотел сказать Гончаров, соединяя в Егоре Адуеве черты столь различных людей, как Чацкий, Онегин и Ленский? Как следует расценивать образ Адуева? Как простое подражание литературным типам или как нечто новое в художественном отображении действительности?

Рисуя Егора Адуева, Гончаров шел как бы по стопам Грибоедова и Пушкина, но был вместе с тем далек от подражания им. Он пытался по-новому подойти к образу романтика. Он видел, что и Онегин, и Чацкий, и Ленский явились правдивым и ярким олицетворением черт определенного типа людей. Но поскольку менялась действительность, претерпевали изменения и типы этих людей. Наступил кризис дворянской революционности, вырождался и перерождался дворянский романтизм, мельчал и пустел тип дворянского романтика. Повторное появление Чацких и Онегиных было уже невозможно. Вместо них дворянский класс порождал другую разновидность романтиков. Именно эту трансформацию типа дворянского «романтика жизни» видел и чувствовал Гончаров. И вот эти свои наблюдения он стремился выразить в образе Егора Адуева. Но вполне этот образ Гончаров смог глубоко понять и нарисовать лишь несколькими годами позже — в «Обыкновенной истории» (1847 год).

В образе Егора Адуева намечены также черты (хотя и очень схематично), которые впоследствии более полно и четко будут выражены в Обломове. Адуев, «мысленно назвав Елену своею», как и Обломов, «составил себе теорию счастья». Начав «практически» приводить ее в исполнение, он прежде всего решил преобразить старый отцовский дом «в светлый храм любви». Адуев, как это будет и с Обломовым, «часто задумывался о том, как введет милую хозяйку в дедовский приют и начнет новую

эпоху жизни. Хозяин, благодетель своих подданных, муж, обладатель прелестной женщины и потом — вероятно, отец. Какая будущность!» Но у Адуева возникают подозрения, что Елена неверна ему. «Все погибло! Великолепное здание мечтаний рушилось!» — восклицает автор и насмешливо добавляет, имея в виду незадачливого героя: «Он совсем оторвал пуговицу и до крови расцарапал ухо». Вторжение в повествование юмористической нотки весьма примечательно. Этот прием разрушения иронией романтической патетики в переживаниях героев станет со временем излюбленным у Гончарова.

«Счастливую ошибку» Гончарова следует расценить как первую его попытку обличения крепостнических нравов. Автор осуждает барски-сумасбродное отношение Адуева к нуждам и просьбам своих крестьян. Гончаров показывает, что судьба крестьян всецело зависит от настроений Адуева, его успехов или неудач в любви. Ему ничего не стоит отказаться от своих обещаний уважить их просьбы о недоимках или рекрутчине, да еще и пригрозить не в шутку. Егор Адуев восторженный романтик, но и крепостник. «Видно, в покойника барина пошел!» — говорят о нем его крепостные люди. Но когда судьба нанесла ему «оглушающий удар счастья», в душе Адуева пробуждается нечто вроде раскаяния. Он просит прощения у своего слуги за обиду и объявляет ему, что отпускает «на волю», а с крестьян снимает все недоимки и ссужает «десять тысяч на помощь самым бедным». Все благодеяния, однако, Адуев совершает не в силу какого-либо идеала или убеждения. Здесь, конечно, всего лишь барская прихоть, плод романтического восторга. Это разоблачение лицемерной гуманности барина-крепостника — одна из самых важных реалистических черт «Счастливой ошибки».

В последующие десятилетия в русской литературе пройдет целая вереница так называемых «кающихся дворян». Но Гончаров принадлежал к числу тех писателей-реалистов, которым была чужда какая-либо идеализация людей этой категории. Мотивы гражданского раскаяния мы находим в облике Обломова, но они нужны романисту отнюдь не для того, чтобы вызвать снисхождение к своему герою, а наоборот, чтобы показать всю фальшь, лицемерие, лживость этих романтических порывов Обломова. Чуть-чуть будет каяться и «застарелый» дворянский романтик Райский в «Обрыве», говорить — именно только говорить! — о своем желании дать волю крепостным. Знаменательно, что этот мотив Гончаров внес уже в «Счастливую ошибку», которая была написана в конце тридцатых годов.

* * *

Дальнейшее творческое развитие Гончарова протекало в живой связи с общим ходом русской литературы. Важным шагом Гончарова на пути к реализму явился его «юмористический очерк нравов из чиновничьего круга» — «Иван Савич Поджабрин».

Написан очерк был в 1842 году, но опубликован автором лишь в 1848 году. Как по жанру, так и по ряду других признаков «Иван Савич Поджабрин» может быть отнесен к числу так называемых «физиологических очерков». По замечанию Гончарова, «тогда это было в ходу».

Возникновение этого весьма популярного жанра в начале сороковых годов было обусловлено реальными запросами как литературы, так и самой жизни. «Физиологические очерки» явились прямой и непосредственной реакцией на романтическую повесть с ходульными героями, неестественно-преувеличенными страстями и вычурным языком. В отличие от этой чуждой народу литературы, «физиологические очерки» выражали стремление к сближению литературы с жизнью, к показу действительности в ее истинном, неприкрашенном, так сказать, «натуральном» виде.

Предметом изображения в них, по преимуществу, являлся быт, или, как тогда принято было говорить, «физиология жизни», разных слоев городского (чаще всего — петербургского) населения: труженики, мелкое чиновничество, разночинная интеллигенция, обитатели «углов» и т. п.

Наряду с сочувствием к тяжелой доли рядовых людей в этих произведениях проявлялась с большей или меньшей резкостью критика отрицательных и уродливых явлений русской действительности.

В духе «физиологических очерков» в те годы писали Н. Некрасов («Петербургские углы», стихи «Чиновник»), Д. Григорович («Петербургские шарманщики»), И. Панаев (очерки, изображающие «литературную тлю» Петербурга), В. Даль («Петербургский дворник»).

В «физиологических очерках», в том числе и в «Иване Савиче Поджабрине», чувствуется прямая преемственность с петербургскими повестями Гоголя («Невский проспект», «Шинель», «Нос» и другие).

Белинский положительно оценивал «физиологические очерки», подчеркивая их общественное значение. Цензура и царь были не в шутку встревожены появлением этой литературы, проникнутой демократическим духом.

«Физиологические очерки» стали важной ступенью в развитии критического реализма «натуральной школы». Своим

очерком Гончаров включался в это общее русло развития русского критического реализма. И если бы очерк был опубликован своевременно, он получил бы более высокую оценку критики, чем в 1848 году. К тому времени жанр «физиологического очерка» был, собственно говоря, уже пройденным этапом русской литературы.

Как справедливо указывалось в советском литературоведении, образ героя гончаровского очерка, Поджабрина, связан с гоголевской традицией. Ивана Савича с полным основанием можно назвать младшим братом Ивана Александровича Хлестакова. Однако это, конечно, более мелкий тип пройдохи-чиновника. В отличие от Хлестакова, Поджабрин не разъезжает по провинции. Он безвыездно живет в Петербурге, но беспрестанно переезжает с одной квартиры на другую «вследствие того, что его притесняют», — за что же? Подобно герою «Ревизора», Поджабрин очертя голову «жуирует» жизнью. Его философия цинична и проста: «Жизнь хороша, надо жуировать». По словам автора, «выше и лучше этот он ничего не знал». Ему то и дело приходится выбираться из той или другой любовной «истории». Иван Савич «признан был всем обществом за любезного, фешенебельного и вообще достойного молодого человека». На самом деле он был невежествен («дух науки пронесся над его головой, не осенив ее крылом своим»), легкомыслен, мелко тщеславен, хвастлив, падок на вранье. Но врал не столь «гениально», как Хлестаков: у него и фантазия беднее и нет таких горизонтов в интриге, как у Хлестакова. Однако при известных обстоятельствах он, конечно, тоже может развернуться и сыграть роль не хуже Хлестакова.

В фигуре Поджабрина Гончаров представил обнаженную «физиологию», всю неприглядную сущность нравов и быта той значительной части чиновной братии, которая была насквозь поражена пороками паразитического существования.

Очерк Гончарова содержит ряд житейски-комических сцен и положений, полон того естественного и живого юмора, который так органичен для таланта Гончарова.

В «Поджабрине» Гончаров скупыми, но выразительными мазками рисует портреты, воспроизводит живую индивидуальную речь многих обитателей большого четырехэтажного дома, данного как бы в разрезе, — от баронессы до горничной и слуги Авдея, столь же типичного, как и хлестаковский Осип.

Все эти особенности развивавшегося художественного таланта Гончарова органически связывали его с начавшим складываться тогда в русской литературе направлением критического реализма.

* * *

Для домашнего, вечернего чтения в семейном кругу Майковых был написан Гончаровым и очерк (своего рода «зарисовка с натуры») «Хорошо или дурно жить на свете». Очерк начинается с рассуждения о том, что жизнь состоит из двух различных половин: «практической» и «идеальной». В первой — мы «рабы труда и забот». Не такова вторая. Там перестаешь «жить для всех» и живешь только «для себя». Эта, «эстетическая», сторона жизни открывает «простор сердцу», «сладким думам», «тревожным ощущениям и бурям», но отнюдь не умственным и политическим, а «бурям души», которые освежают «тяготу вялого существования».

Эти философические рассуждения отражали, видимо, не столько житейскую философию самого автора этюда, сколько настроения среды, в которой он находился. Правда, жизнь самого Гончарова тогда тоже складывалась «из двух различных половин». Отбыв часы «скучно-полезной службы» в департаменте, он уходил в «идеальную» сферу — к занятиям литературой и дружеской беседе среди любителей искусства. Гончаров, возможно, отдал известную дань эстетизму, романтическому презрению к прозе жизни, царившим в «артистическом гнезде» Майковых. Но в «Хорошо или дурно жить на свете» раскрывается уже ироническое отношение его к этим теориям. Тонко подсмеиваясь над людьми, склонными по всякому поводу до смешного трагизировать жизнь, он советует им отправиться в «замок фей», в институт благородных девиц, и там «избавиться от ига существования и скуки».

В начале сороковых годов Гончаров с друзьями часто посещал Екатерининский институт благородных девиц на набережной Фонтанки, где служила воспитательницей одна из Майковых. Эти посещения всегда вызывали у Гончарова насмешливое настроение.

Изъясняясь нарочито высокопарно, Гончаров подтрунивает в очерке над сентиментальным, ангельским воспитанием и «розовым существованием». Он не может поверить романтике всех этих мнимых очарований. Он слышит, как учат здесь и «правдоподобно лгать».

В числе посетителей этого «царства фей», убежища «от скучно-полезной жизни», автор очерка выделяет две фигуры. Одна из них — это «питомец дела и труда, более других изведавший горечь муравьиных хлопот и пчелиной суматохи, тщету и скуку человеческой жизни и мудрости», другая — романтически восторженный юноша: «он песнею приветствует

светлую зарю своей жизни». Ироническое противопоставление этих фигур, их юмористическая обрисовка, пародийное употребление романтической фразеологии — все это воспринимается как первое, легкое видение будущих героев «Обыкновенной истории».

Шутливо-иронический тон ранних произведений Гончарова — не только литературная манера, но и одна из самых характерных черт его уменья мыслить вообще. Этот склад его ума живо обнаруживается в непринужденной обстановке, в кругу друзей.

Весьма излюбленным удовольствием на семейных вечерах Майковых была игра в вопросы и ответы. В этих турнирах остроумия всегда участвовал и Гончаров. Более того, он был, видимо, центральной фигурой. Чувствуется, что у спрашивающих имеется повышенный интерес к его мнению, что в нем видят знатока жизни и человеческих душ.

Кто-то спрашивал Гончарова: «Какая власть сильнее: рассудка или любви?» Иван Александрович экспромтом отвечал: «Рассудок никогда не руководствует всеми действиями человека, но любовь очень часто. Мы можем припомнить несколько человек, которые из любви делали глупости или злодеяния, но не вспомним ни одного, который бы силою рассудка уничтожил в себе любовь. Одно время и разлука от нее исцеляют. Люди так уж созданы!» Далее Гончарова спрашивали: «По вашему мнению: какой недостаток всех труднее исправить?» Следовал ответ: «Эгоизм и скупость. Эти два недостатка не только трудно, но невозможно исправить: они что старее, то сильнее».

На вопрос: «Согласились ли бы вы отказаться от всякого земного блаженства с уверенностью, что вы будете святым?» — следовал быстро ответ: «Я знаю блаженство, которое не лишит меня святости. Зачем же мне от него отказываться?»[70]

Эти, как и другие, ответы Гончарова рисуют его как человека тонкого и живого ума, одаренного иронией, юмором и некоторой долей разумного скепсиса, что все потом так ярко отразилось в произведениях его художнического пера и письмах.

* * *

Летом 1843 года все семейство Майковых выехало на год за границу. Вместе с ними отправился и В. А. Солоницын. Недавно были найдены его письма Гончарову, из которых видно, что после «Поджабрина» Гончаров приступил не к написанию «Обыкновенной истории», как считалось ранее, а к работе над

романом «Старики».[71]

В письмах Солоницына Гончарову из-за границы (1843–1844)[72] содержатся настойчивые увещевания осуществить замысел этого романа. «Вам, почтеннейший Иван Александрович, — говорится в письме из Парижа от 29 ноября 1843 года, — грех перед богом и родом человеческим, что Вы, только по лености и неуместному сомнению в своих силах, не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант».

Другое письмо Солоницына (от 6 марта 1844 года) дает представление о теме задуманного и частично уже написанного романа, а также и о его основной идее и сюжете. «Наконец — идея Вашей нынешней повести. Если в русской литературе уже существует прекрасная картина простого домашнего быта («Старосветские помещики»), то это ничуть не мешает существованию другой такой же прекрасной картины. Притом в Вашей повести выведены на сцену совсем не такие лица, как у Гоголя, и это придает совершенно различный характер двум повестям, и их невозможно сравнивать. Предположение Ваше показать, как два человека, уединясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше, есть уже роскошь. Если Вы достигнете этого, то повесть Ваша будет вещь образцовая».

Из последнего парижского письма Солоницына от 25 апреля 1844 года[73] явствует, что Гончаров все же прекратил работу над романом «Старики». Касаясь мотивов, которые Гончаров, видимо, привел в своем ответном письме в оправдание этого решения, Солоницын замечает: «Вы напрасно говорите, что будто Вы мало еще видели и наблюдали в жизни… Мнение Ваше вообще об искусстве писать романы мне кажется слишком строгим: я думаю, что Вы смотрите на дело чересчур свысока. По-моему, если роман порой извлекает слезу, порою смешит, порой научает, этого и довольно… Для написания такого романа излагаемая Вами теория едва ли нужна; нужна только некоторая опытность, некоторая наблюдательность, которую, как я уже сказал, Вы и имеете… Пишите же, почтеннейший Иван Александрович, просто, не вдаваясь ни в какие теоретические мечтания…»

Рассуждения Солоницына об «искусстве писать романы» были отвергнуты Гончаровым. Это показывает, с какой высокой требовательностью уже тогда относился Гончаров к себе как писателю. Исходя из верного понимания текущих задач русской литературы и «теоретических мечтаний» о реалистическом романе, Гончаров нашел свой замысел «Стариков» неудовлетворительным и оставил работу над этим романом.

Гончаров терпеливо трудился и ждал того времени, когда, говоря его же словами, для его таланта наступит «пора самообладания, зрелости мысли, сознательного взгляда на жизнь и ее значение».[74]

И эта пора пришла. В 1844 году Гончаров начал работу над романом «Обыкновенная история», который сразу выдвинул Гончарова как замечательного мастера русского художественного слова.

Глава шестая
«Обыкновенная история»

Сороковые годы в России были отмечены дальнейшим обострением общественных противоречий, нарастанием борьбы с крепостным строем и реакцией. Глубокие изменения происходили и в русской литературе. Она все более сближалась с жизнью, проникалась общественными интересами. «Если бы нас спросили, — писал Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», — в чем состоит отличительный характер русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностию… Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, то есть изображали несуществующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине».[75]

В сороковые годы выдвигается большая плеяда новых писателей: Тургенев, Герцен, Некрасов, Григорович, Гончаров, Достоевский, Салтыков-Щедрин, А. Островский и другие; их творчество характеризуется глубокой жизненной правдой и критическим отношением к действительности.

Это новое направление в русской литературе, которое было подготовлено всем предшествующим ее развитием и за которое вел упорную и длительную борьбу Белинский, названо было им критическим реализмом — «натуральной школой».

В своих статьях сороковых годов Белинский определил принципы и сформулировал задачи этого нового направления.

«Натуральная школа» стремилась к правдивому воспроизведению жизни. Преобладающей чертой ее было, по словам Белинского, «отрицание», то есть критика крепостнической действительности. Основная задача писателей критического реализма, по мнению Белинского, состояла в углублении и развитии гоголевского «отрицания», гоголевского критического реализма. И в решении этой задачи каждый писатель, примыкавший к этому направлению, оставался вполне своеобразным и самостоятельным.

В таких произведениях, как «Записки охотника» Тургенева, «Кто виноват?» и «Сорока-воровка» Герцена, «Деревня» и «Антон Горемыка» Григоровича, «Сон Обломова», в стихотворениях Некрасова резко осуждалось крепостное право как страшное зло, как причина тягостных страданий человека, как причина всей российской отсталости. Некрасов в «Петербургских углах» и

Салтыков-Щедрин в «Запутанном деле» показали невыносимую нищету жизни простых людей, тружеников города. «Бедные люди» Достоевского выражали глубокое сострадание к униженным. Горячо выступали писатели гоголевской школы за раскрепощение (эмансипацию) русской женщины от социального и морального неравенства.

Писатели, объединившиеся вокруг этого направления в литературе, придерживались различных политических взглядов. Это понимал Белинский, но он ясно видел также и то, что объединяло их. Белинский умел собирать все прогрессивные силы, воспитывать в людях самых различных социальных категорий гуманные, антикрепостнические взгляды, создавать единый антикрепостнический фронт литературы сороковых годов. «Ты нас гуманно мыслить научил», — писал Некрасов в «Медвежьей охоте» о Белинском.

И Чернышевский не случайно в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855–1856 годы), отмечал прошлое единство «лучших людей молодого поколения 40-х годов».

В своей статье автобиографического характера, «Необыкновенная история», Гончаров вспоминал о том времени:

«…Я жил в тесном кругу, обращался часто с литераторами и с одними ими, и сам принадлежал к их числу, то, конечно, мне лучше и ближе видно было то, что совершалось в литературе: как мысли — о свободе проводились здесь (то есть в Петербурге. — А. Р.) и в Москве Белинским, Герценом, Грановским и всеми литературными силами совокупно, проникали через журналы в общество, в массу, как расходились и развивались эти добрые семена…»

Гончаров искренно разделял эти гуманные стремления и питал глубокую симпатию к «светлому кругу» деятелей тридцатых-сороковых годов, которым, по его словам, приходилось «рассеивать мрак не одного эстетического неведения», но «ратовать против многообразного зла еще в принципах, вроде, например, того, что помещики не имеют права грабить и засекать крестьян, родители считать детей, а начальники подчиненных своей собственностью», «взывать к первым, вопиющим принципам человечности, напоминать о правах личности».

В этих строках Гончарова слышится живое воздействие идей знаменитого письма Белинского к Гоголю.

* * *

Влияние Белинского на русскую общественную жизнь и литературу было огромно. Его критика, говоря его же словами, «содействовала… процессу общественного сознания». На его идеях воспитывалось целое поколение русских людей и вся передовая русская литература.

Благодаря Белинскому встал на путь критического реализма и Гончаров.

Правда, с Белинским он познакомился и лично сблизился только лишь в 1846 году, то есть с того момента, когда рукопись «Обыкновенной истории» стала читаться в кругу Белинского. Но симпатии к Белинскому и пристальное внимание к его критической деятельности возникли у Гончарова много ранее. Как ученик Надеждина, Гончаров, конечно, не остался равнодушен к «Литературным мечтаниям» Белинского. В этой статье Белинский с новых идейных позиций продолжил критику романтизма, казенно-патриотической и псевдонародной литературы, начатую Надеждиным.

Гончаров указывал на то, что именно Белинский помог ему осознать истинное значение творчества Гоголя и Лермонтова. «Только когда Белинский, — замечает Гончаров в одном из своих писем, — регулировал весь тогдашний хаос вкусов, эстетических и других понятий и проч., тогда и мой взгляд на этих героев пера (Лермонтова и Гоголя) стал определеннее и строже. Явилась сознательная критика…»[76] Уже в первой повести Гончарова, «Лихая болесть», сказалось творческое внимание к Гоголю. Критические выступления Белинского против ходульного романтизма произведений Марлинского, как уже говорилось, очень помогли Гончарову, когда он писал другую свою повесть — «Счастливую ошибку». Под влиянием Белинского в тридцатых годах у Гончарова еще более окрепло то резко отрицательное отношение к Булгарину, как представителю реакционной литературы, которое воспитали в нем Пушкин и Надеждин. И в «Лихой болести» и в «Счастливой ошибке» содержатся резкие выпады против Булгарина (Фиглярина).

Но особенно много почерпнул для себя Гончаров как художник и прежде всего как автор «Обыкновенной истории» из статей Белинского периода сороковых годов. Статьи Белинского раскрыли перед ним со всею глубиною историческую преемственность традиций русской литературы, органическую идейную и художественную связь Пушкина и Гоголя, разоблачили реакционный романтизм в жизни и литературе, ложные, чуждые идеям прогресса теории славянофилов.

Статьи Белинского помогли Гончарову твердо стать на путь реализма в творчестве. «Искусство, — писал Белинский, имея в

виду передовое реалистическое искусство, — есть воспроизведение действительности во всей истине». Он призывал русских писателей ко все более и более тесному сближению с жизнью, учил изображать жизнь и при том именно русскую жизнь, «как она есть», то есть со всеми присущими ей противоречиями. Белинский страстно боролся за то, чтобы наша литература стала вполне национальною, оригинальною и самобытною, чтобы сделать ее зеркалом русского общества, «одушевить ее живым национальным интересом».

Этим «живым национальным интересом» тогда была борьба против крепостничества и отсталости.

Враги Белинского обвиняли его и следовавших за ним писателей критического реализма в огульном отрицании действительности, в том, что они будто бы все изображают «с дурной стороны». Но Белинский вовсе не был сторонником нигилистического отрицания действительности. Его отрицание исходило из определенного положительного общественного идеала. «Всякое отрицание, — говорил он, — должно делаться во имя идеала». За критикой отрицательных сторон действительности у Гоголя и Белинского, как и других писателей этого направления, чувствовалась вера в громадные силы и способности русского народа, в великое будущее России.

Белинский говорил о возможности появления со временем положительного героя в литературе, когда его образы будут встречаться в самой действительности и когда выдумывать его не придется. Великий критик провидел, что «привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни (курсив мой. — А. Р.), не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически».[77] И такое время действительно пришло…

В статьях Белинского многие русские литераторы, в том числе и Гончаров, находили ответы на те вопросы, которые глубоко волновали тогда русское общество и литературу. Печатная критика Белинского немало помогла Гончарову и в разработке замысла нового романа «Обыкновенная история» и в его блестящем осуществлении.

* * *

Над романом «Обыкновенная история» Гончаров работал в течение трех лет. В очерке «Необыкновенная история» он писал:

«Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845, и в 1846 мне оставалось дописать несколько глав».

Следует, однако, несколько уточнить эти сведения: роман не только был задуман в 1844 году, но тогда же в значительной части и написан, что подтверждается одним из близких знакомых семьи Майковых — А. В. Старчевским, который получил приглашение Майковых «прийти слушать повесть Ив(ана) Ал(ександровича)», читанную им до этого уже «дважды».

Это чтение описано Старчевским: «…Я явился в семь часов вечера к Майковым и застал там всех наших знакомых. Спустя четверть часа Ив(ан) Ал(ександрович) начал читать свою повесть. Все мы слушали ее со вниманием. Язык у него хорош; она написана очень легко и до чаю прочитано им было порядочно. Когда разнесли чай, начались замечания, но они были незначительны и несущественны. Вообще, повесть производила хорошее впечатление. Чтение продолжалось несколько вечеров сряду, и, по мере ближайшего знакомства с действующими лицами, все чаще и чаще становились замечания… Ив(ан) Ал(ександрович) обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валерьяна Майкова, и решился сделать изменения в повести «Обыкновенная история», сообразно с указаниями молодого критика. Конечно, Ив(ан) Ал(ександрович) во время чтения своей повести при многочисленном обществе сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк. Но все же переделка эта потребовала немного времени, потому что, спустя несколько дней, опять назначено было вторично прослушать «Обыкновенную историю» в исправленном виде».[78]

Над «Обыкновенной историей» Гончаров работал уверенно и быстро. Это свидетельствовало и о зрелости его жизненных воззрений и о ясности замысла. И все же он не был избавлен от сомнений в достоинстве своего труда. Молодой, только вступающий в литературу писатель оказался очень требовательным к тому, что писал. Свою творческую работу до «Обыкновенной истории» он рассматривал как всего лишь «пробу сил» на пути к идейной зрелости и мастерству. Но и «Обыкновенную историю», когда та, после неоднократных чтений в дружеском кругу и многих переделок и исправлений, была, наконец, готова к печати, он считал далекой от совершенства. «Я с ужасным волнением, — вспоминал в «Необыкновенной истории» Гончаров, — передал и Белинскому на суд «Обыкновенную историю», не зная сам, что о ней думать!»

Так как Гончаров тогда еще не был лично знаком с

Белинским, то свою рукопись он счел удобным передать ему через М. А. Языкова, с которым прежде познакомился в доме Майковых.

Однако Гончаров просил Языкова предварительно прочесть рукопись и решить, стоит ли показывать ее Белинскому. Языков почти с год продержал «Обыкновенную историю» у себя. Развернул ее однажды, прочел несколько страничек, которые ему не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о рукописи Некрасову, прибавив: «Кажется, плоховато, не стоит печатать». Но Некрасов взял рукопись у Языкова. По первым же страницам он понял, что это произведение выходит из ряда обыкновенных. Некрасов и передал «Обыкновенную историю» Белинскому.

Критик пригласил автора прочесть роман всему кружку литераторов и друзей, группировавшихся тогда около него.

«…Гончаров несколько вечеров сряду, — как рассказывает Панаев, — читал Белинскому свою «Обыкновенную историю». Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым…

Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились».[79]

Это чтение происходило в самом начале 1846 года на квартире Белинского у Аничкова моста. С этого и началось личное знакомство Гончарова с Белинским. Тогда же он познакомился и с группой окружавших Белинского литераторов и приятелей. В кругу Белинского, по словам Гончарова, тогда «толпились»: Панаев, Григорович, Некрасов, Достоевский (появившийся с повестью «Бедные люди»), позже А. В. Дружинин с романом «Полинька Сакс». Кроме того, было тут и несколько приятелей нелитераторов (Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков и другие). «Собирались мы, — рассказывал Гончаров в «Необыкновенной истории», — чаще всего у И. И. Панаева и у Языкова, у Тютчева — иногда все, гурьбой, что позволяли их просторные квартиры. Белинского посещали почти каждый день, но не собирались толпой, вдруг. У него было тесно».

Весна и начало лета 1846 года явились в жизни Гончарова порою первых настоящих творческих радостей. После чтения своего романа Белинскому он чувствовал себя как бы окрыленным. «Белинский, — вспоминал после об этом времени Гончаров, — …при всяком свиданий осыпал меня горячими похвалами, пророчил мне много хорошего в будущем, говорил всем о нем (то есть о романе. — А. Р.), так что задолго до печати о романе знали все — не только в литературных петербургских и

московских кружках, но и в публике».

Между тем Гончаров с превеликим тщанием готовил свой роман в печать, трижды переписав его собственной рукой. Некрасов и Белинский намерены были включить «Обыкновенную историю» в задуманный ими тогда литературный сборник «Левиафан». Но сборник этот не состоялся.

В кружке Белинского неоднократно говорилось, что Белинскому, растрачивавшему все силы на «Отечественные записки» Краевского, следовало бы основать свой журнал. Некрасов много раз обсуждал с Белинским планы издания нового журнала, но осуществить эту «заветную мечту» невозможно было из-за отсутствия денег. Некрасов и Панаев решили взяться за дело на паях. Так как правительство запретило издавать новые журналы, возник вопрос, у кого купить право издания.

Осенью 1846 года Некрасов и Панаев, при поддержке некоторых своих друзей, приобрели у П. А. Плетнева право на возобновление «Современника», находившегося тогда в состоянии «летаргического сна». Плетнев выговорил себе немалую сумму. Белинского сильно возмутило это «ростовщичество» Плетнева, но пришлось соглашаться.

В цензурном комитете нашли, что Панаев и Некрасов не настолько «благонадежные» люди, чтобы их можно было утвердить редакторами. Это страшно взволновало Белинского и весь его кружок. О редакторстве Белинского нечего было и думать. Реакционная печать давно уже твердила о зловредном направлении его статей, на него, куда следовало, писались доносы. Надо было приискать подходящего человека, то есть подставное лицо, которому разрешили бы редактировать «Современник». Обратились к А. В. Никитенко, и тот согласился. Между прочим, именно с этого момента началось и знакомство Гончарова с Александром Васильевичем Никитенко, продолжавшееся десятилетия и оставившее в жизни Гончарова глубокий след.

В «Современник» из «Отечественных записок» перешли все участники кружка Белинского. Вскоре перешел оттуда в новый «Современник» и Белинский, чтобы, по словам Гончарова, «воскресить из праха этот умерший журнал и вдохнуть в него новую жизнь».

Гончаров был в курсе всех этих перипетий с журналом и тоже волновался, — и за «Современник», и еще больше, конечно, за судьбу своей «Обыкновенной истории». Некрасов и Белинский стремились открыть журнал в 1847 году «Обыкновенной историей» Гончарова.

Однако Панаев, как соиздатель журнала, настоял, чтобы в

первых двух номерах была напечатана его повесть «Родственники», о которой Белинский в одном из писем Тургеневу тогда дал отрицательный отзыв. Роман Гончарова «Обыкновенная история» был опубликован в последующих номерах «Современника» за 1847 год (N3 и 4).

В течение всего этого времени, то есть со дня чтения «Обыкновенной истории» у Белинского и до ее опубликования в «Современнике», Гончаров находился в тесных отношениях с Белинским.

* * *

Гончаров узнал, или, как он говорил, «застал» Белинского, когда его здоровье уже было подорвано, когда он «догорал в борьбе со всем враждебным, чем обставлена была его жизнь, как и жизнь почти всех более или менее в то время и в том кругу»[80], но болезнь еще не развилась до той степени, как в последний год его жизни. По свидетельству Гончарова, в то время Белинский «был еще довольно бодр, посещал, однако, немногих и его посещали тоже немногие и не часто».

У Гончарова сложилось впечатление, что «многолюдства, новых людей он не любил и избегал. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались в количестве лиц и впечатлений». Тем более приятно было Гончарову видеть, как приветливо встречал его, нового человека, Виссарион Григорьевич и как искренно оживлялся в беседе с ним. «Меня с начала знакомства с ним, как нового для него человека, — говорит в своих «Заметках о личности Белинского» Гончаров, — часто звали к нему, и туда, где он бывал, потому что он оживал с новым, не неприятным ему лицом, высказывался охотнее, был весел, доволен — словом, жил по-своему».

В Гончарове Белинский нашел интересного и содержательного собеседника. Но по натуре, характеру это были два совершенно противоположных человека.

Чтобы знать и верно судить о Белинском, надо было видеть его в привычном для него, дружеском кругу. С посторонним, мало знакомым лицом он говорил скупо, несвязно и не блистал умом. Только с близкими он был свободен в речи. В таких спорах он обнаруживал массу знаний, которых не показывал другим. В чужой обстановке он чувствовал себя неловко и тушевался.

С первой же встречи с Белинским Гончаров понял, что это был горячий, восприимчивый, исключительно честный и прямой человек — «нервная, тонкая, страстная натура». Белинский же

видел перед собой внешне спокойного, уравновешенного, но внутренне напряженного, всегда сосредоточенного, — тревожной души человека. Однако при этом различии в характерах между ними установилось доверие друг к другу. Белинский не стеснялся высказываться при нем с полной откровенностью обо всем, что тогда волновало его. Публичная трибуна Белинского была в журнале, другая, необходимая ему, совершенно свободная, где он был, по выражению Гончарова, «нараспашку», — это «домашняя трибуна».

«Я мог привязаться к Белинскому, — отмечал Гончаров впоследствии, — кроме его сочувствия к моему таланту, за его искренность и простоту».

Но отношения между Гончаровым и Белинским складывались не просто. Что-то мешало им сблизиться вполне. Видя в Белинском высший критический авторитет, Гончаров вместе с тем недоверчиво относился к его мнениям о себе. В первые недели знакомства он, наслушавшись от Белинского «горячих и лестных отзывов» об «Обыкновенной истории» и своем таланте, «испугался, был в недоумении и не раз выражал свои сомнения и недоверие к нему самому и к его скороспелому суду». Как-то в одну из первых встреч, когда Белинский «осыпал» его похвалами, Гончаров остановил его и сказал, что был бы рад, если бы он лет через пять повторил хоть десятую часть того, что сейчас говорит о его романе.

— Отчего? — с удивлением спросил Белинский.

— А оттого, — продолжал Гончаров, — что я помню, как вы прежде писали о С.[81], а теперь говорите о нем совсем другое.

Хотя свое замечание Гончаров сделал в шутливом, приятельском тоне, оно задело Белинского за живое. Он задумчиво стал ходить по комнате. Прошло с полчаса, когда он подошел к Гончарову опять и посмотрел на него с упреком.

— Каково же, — сказал он, — он считает меня флюгером! Я меняю убеждения, это правда, но меняю их, как меняют копейку на рубль! — и опять стал ходить задумчиво.

Задумался и Гончаров. «Нет, — рассуждал он про себя, — он неверно сказал. Он меняет не убеждение, а у него меняются впечатления. Он спешит высказывать процесс действия самого впечатления в нем, не ожидая конца, — и от этого впадает в ошибки и противоречия. Собственно критический взгляд приходит у него позже».

Так думал Гончаров. «Я во многом симпатизировал с Белинским, — говорит он в «Необыкновенной истории», — прежде всего с его здоровыми критическими началами и взглядами на литературу, с его сочувствием к художественным

произведениям, наконец с честностью и строгостью его характера. Но меня поражала… какая-то непонятная легкость и скорость, с которою он изменял часто не только те или другие взгляды на то или другое, но готов был, по первому подозрению, менять и свои симпатии. Словом, меня пугала его впечатлительность, нервозность, способность увлекаться, отдаваться увлечению и беспрестанно разочаровываться. Это на каждом шагу: в политике, науке, литературе. Мне бывало страшно. А он был лучший, самый искренний, честный, добрый!»

Белинский, с своей стороны, высоко ценил художественный талант Гончарова, но хотел от него чего-то большего. «На меня, — признавался впоследствии Гончаров, — он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности. «Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, — всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!»

Художественной манере Гончарова, как бы лишенной, с точки зрения Белинского, субъективного элемента, он более предпочитал манеру Гоголя. Художественный метод Гоголя он ценил именно потому, что находил в нем «ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и духовно-личною самостию, — ту субъективность, которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу…». [82]

Белинский, видимо, опасался, что «объективность» Гончарова как художника может перерасти в объективизм, и хотел поэтому вдохнуть в его талант больше гражданской страстности. Белинский ясно видел, чем Гончаров был близок к передовому направлению русской литературы. Но вместе с тем он, конечно, видел и известную узость общественных убеждений Гончарова. И не случайно поэтому он однажды назвал его даже «филистером».

В «Необыкновенной истории», являющейся как бы исповедью писателя, Гончаров посвящает немало строк истории своих взаимоотношений с Белинским и с группой окружавших его литераторов и приятелей. «Я литературно сливался с кружком, — замечает Гончаров, — но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходился и не мог сойтись с членами его».

По мнению Гончарова, он «не сближался сердечно со всем кружком» потому, что нужно было измениться вполне. Он же, «развившись много» — и не только, конечно, в эстетическом

отношении, как он сам говорил, — «остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания».

И действительно, сложившиеся уже в то время общественные убеждения и мировоззрение Гончарова в основе своей отличались от убеждений Белинского. «Я, — указывает Гончаров в «Необыкновенной истории», — разделял во многом образ мыслей относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития и т. п. Но никогда не увлекался (зачеркнуто: материализмом.-Л. Р.), не говоря уже о народившейся тогда идее о коммунизме, юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства, братства и т. д., чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму — и всему тому, что из него любили выводить — будто бы прекрасного в будущем для человечества». «Любимые» (то есть революционные) идеалы Белинского он расценивал как «несбыточные идеалы». Революционный демократизм Белинского был для Гончарова поистине камнем преткновения. Предпочитая умеренность в общественных взглядах, Гончаров, однако, никогда и, конечно, особенно в сороковых годах, по его собственным словам, «лицемерно не поддерживал произвола, крутых мер» царского правительства.

* * *

Об отношениях Гончарова с литераторами, группировавшимися вокруг Белинского в 1846–1848 годах, приходится судить на основании весьма скудных сведений и фактов.

По свидетельству самого Гончарова: «Во всех отношениях членов кружка было много товарищества, это правда, размена идей, обработки понятий и вкусов. Но тут же пристальное изучение друг друга — много и отравляло искренность отношений и вредило дружбе. Все почти смотрели врозь… Один Белинский был почти одинаков ко всем, потому что все платили ему безусловным уважением» («Необыкновенная история»). Гончаров видел, что именно разница в убеждениях не позволяла и ему и другим сближаться «сердечно».

Отношения Гончарова с участниками кружка в известной мере зависели, конечно, и от особенностей его характера: «Я, — вспоминал Гончаров, — ходил по вечерам к тому или другому, но жил уединенно, был счастлив оказанным мне, и там, и в публике, приемом, но чуждался (между прочим, по природной дикости

своего характера) тесного сближения с тем или другим, кроме семейства доброго Мих. Языкова, где меня любили, как родного, и я платил тем же».

Слова Гончарова о «природной дикости своего характера» следует отнести за счет его манеры говорить о себе всегда с безжалостной иронией. Что же касается его «стремления жить уединенно», то это объяснялось отнюдь не каким-то равнодушием к жизни, а главным образом творческими интересами.

«Когда замечен был талант, — и я, вслед за первым опытом, весь погрузился в свои художественно-литературные планы, — писал Гончаров в «Необыкновенной истории», — у меня было одно стремление жить уединенно, про себя. Я ж с детства, как нервозный человек, не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была (не Молчалинская, а Горацианская) умеренность, кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей. Это впоследствии назвали во мне Обломовщиной».

А. Я. Панаева замечает в своих «Воспоминаниях», что «многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова и приписывали это его апатичности».[83]

В понимании Гончарова как человека, его характера многие ошибались. Григорович, например, утверждал, что успех «Обыкновенной истории» и похвалы Белинского вскружили якобы Гончарову голову, чего вовсе не было. Совершенно ошибочное мнение о Гончарове сложилось у Тургенева. Гончаров встретился с Тургеневым у Белинского, когда уже вышла «Обыкновенная история». Едва познакомившись с ним, Тургенев, по словам Панаевой, объявил, что «со всех сторон «штудировал» Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы, он даже как-то боится разговаривать о них, чтобы не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет. Посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении». Но, к счастью русской литературы, это предсказание Тургенева не оправдалось. Время (а «время — порядочный человек», как говорит итальянская поговорка) показало, какие порывы, какие образы и идеи жили в душе Гончарова, каким громадным талантом и любовью к творческому труду он был одарен.

Но были случаи, когда Гончаров показывал себя не с лучшей стороны. Белинский намерен был включить в задуманный им сборник «Левиафан» значительную часть «Обыкновенной истории» Гончарова, Но тот ответил отказом. «Сборник Белинского, — писал И. Панаев Н. Х. Кетчеру 1 октября 1846

года, — не мог состояться… Господа здешние просто без церемоний объявили, что они не могут отдать Белинскому статей, обещанных ему (Достоевский, Гончаров и др.), ибо де они — люди бедные, и им нужны деньги сейчас, а от Белинского они имеют еще только отдаленные надежды на деньги».

Неверный шаг сделал Гончаров и в другом случае. Дав согласие печататься в «Современнике», он затем стал колебаться, впал в расчетливость и намерен был отдать свой роман Краевскому.

Поведение Гончарова сильно возмутило Белинского. Под впечатлением этого и, возможно, какого-то другого случая он написал В. Боткину письмо, в котором высказал весьма нелестное мнение о поступке Гончарова.

Однако спокойно разобравшись в деле, Некрасов и Белинский не порвали с Гончаровым. Некрасов купил у него «Обыкновенную историю» и еще другую повесть[84], предложив ему те же деньги, что и Краевский.

Версия о том, что под конец якобы между Белинским и Гончаровым обозначилось охлаждение, не основательна. Невыгодное мнение Белинского о характере Гончарова, высказанное однажды Боткину, вряд ли могло поколебать его в целом положительное отношение к Гончарову как художнику.

Дружественные отношения в дальнейшем были и между Некрасовым и Гончаровым.

В конце 1847 года и в 1848 году Гончаров уже не имел возможности по-прежнему часто встречаться с Белинским вследствие его тяжелой болезни. Но в своих письмах, относящихся к этому периоду, Гончаров неизменно говорил о Белинском в дружественном тоне.

24 июня 1847 года, когда Белинский находился за границей, Гончаров пишет проникнутое искренней теплотой и дружественностью письмо Белинскому и Тургеневу, в котором говорится: «Все почитатели Ваши, Виссарион Григорьевич, с радостью, и я в том числе, разумеется, услышали об улучшении Вашего здоровья, и все хором взываем к Вам: возвращайтесь скорей. Ваша последняя статья, Иван Сергеевич, произвела furore, только не между читающей чернью, а между порядочными людьми: что за прелесть!

Скоро ли вернетесь?»[85]

Тот факт, что письмо являлось припиской к письму Некрасова в Зальцбрунн, где в то время лечился Белинский, позволяет видеть в нем ценный штришок дружеских отношений и к Белинскому, и к Тургеневу, и к Некрасову.

Позднее в письме к Ю. Д. Ефремовой от 25 октября 1847 года

Гончаров замечал: «Мы ожидаем теперь много хорошего от Белинского: он воротился здоровее и бодрее — только надолго ли, бог весть. Но ведь и прогулка за границу, между прочим в Париж, много помогла ему. Он уже что-то пишет к следующей книжке».

Несколько черт в облике Гончарова раскрывают нам взаимоотношения его, в частности, с И. Панаевым.

Когда Панаев, используя свое влияние как соиздателя, оттеснил своей повестью «Родственники» «Обыкновенную историю» из первого номера возобновленного «Современника», он этим задел самолюбие автора. После этого случая их отношения были не очень сердечными и не вполне искренними. За глаза они говорили друг о друге в ироническом тоне. Гончаров не видел у Панаева ни капли беллетристического таланта. Панаев же при каждом удобном случае, чтобы уязвить Гончарова, подшучивал над его попытками скрыть от посторонних глаз свое обостренное самолюбие.

Так, в феврале 1847 года он, между прочим, писал И. С. Тургеневу: «И. А. Гончаров сияет, читая свои корректуры, и дрожит от восторга, стараясь в то же время прикинуться совершенно равнодушным».

В этих словах Панаева есть капелька «приятельского яда».

Среди литераторов, посещавших Белинского, был и критик Степан Семенович Дудышкин. В те годы, по словам Гончарова, он стал «входить в моду». Его статьи часто появлялись в «Отечественных записках» иногда и в «Современнике». По уходе Белинского из «Отечественных записок» он стал возглавлять критический отдел. Это был и внешне и внутренне невидный, бесцветный, непрезентабельный человек. Над ним многие подтрунивали и посмеивались. Всех, в частности, забавляло то обстоятельство, что Дудышкин жил в доме Дурышкиной у Сенной, а потом перебрался к Дренякиной на Литейный. Но Гончаров как-то по-особенному сочувственно и близко сдружился с Дудышкиным. Познакомился он с ним у Майковых, когда тот был еще студентом Петербургского университета. Семья Майковых всячески покровительствовала ему — «старалась его полировать». Помогал ему выйти на литературную дорогу и Гончаров. Характерно, что неблагожелательный отзыв Дудышкина в печати об «Обыкновенной истории» не затронул авторского самолюбия Гончарова, дружба их продолжалась и впредь.

Тяготел Гончаров и к другим малозначительным людям, как, например, Языкову, с которым его много лет связывала глубокая, искренняя дружба, — черта которую, может быть, некоторым и

трудно понять, но которую никак нельзя осудить по-человечески.

* * *

«Повесть Гончарова произвела в Питере фурор — успех неслыханный! Все мнения слились в ее пользу», — писал Белинский Боткину 17 марта 1847 года и добавлял: «… Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели… Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!»[86]

Так Белинский определил общественную значимость гончаровского романа. Это доказывает, что он не считал «Обыкновенную историю» «объективистским» произведением.

В другом письме к Боткину (от 22 апреля 1847 года) Белинский с радостью сообщал: «После повести Гончарова подписка (на журнал «Современник». — А. Р.) заметно оживилась».[87]

В Гончарове Белинский увидел писателя, верного основным принципам критического реализма «гоголевской школы», а его роман «Обыкновенная история» отнес к числу наиболее выдающихся произведений этой школы. В своей статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский писал: «Прошлый 1847 год был особенно богат замечательными романами, повестями и рассказами. По огромному успеху в публике первое место между ними принадлежит, без всякого сомнения, двум романам: «Кто виноват?» и «Обыкновенная история». Белинский видел, что, несмотря на существенное различие в идейных воззрениях Герцена и Гончарова, оба они стремятся «воспроизводить жизнь и действительность в их истине», что им чуждо «фальшивое идеализирование жизни».

Против реакционного романтизма в литературе Белинский повел непримиримую борьбу, начиная с «Литературных мечтаний». Охранители самодержавия и феодальной старины, квасные патриоты, славянофилы, крепостники-помещики, барчуки и ленивцы, привыкшие беспечно жить за счет труда других, — весь этот сонм врагов русского народа подымал на щит реакционный романтизм, видел в нем средство отвлечения русского общества, народа от насущных задач современности. И

когда Белинский призывал русскую литературу разоблачить и высмеять «романтических ленивцев», «вечно бездеятельных или глупо деятельных мечтателей», он метил как раз в этих врагов. Поэтому он так высоко и оценил «Обыкновенную историю», в которой Гончаров, как один из художников-реалистов, выразил свои антикрепостнические настроения через критику барски-праздного, фальшивого романтизма.

Сущность реакционного романтизма вскрыта Гончаровым в лице основного героя «Обыкновенной истории» — Александра Адуева. Почву, на которой вырастало это явление, Гончаров видел в крепостническом, дворянско-поместном строе жизни, в помещичьем воспитании.

Отчетливо и ярко изображены картины жизни и быта в имении Анны Павловны Адуевой. «Грачи», имение Адуевых, — типичный дворянско-поместный «уголок» дореформенной поры. В «Грачах» царят «тишина… неподвижность… благодатный застой». «Грачи» — полное олицетворение «патриархальной неподвижности докапиталистических отношений».[88] Узок и тесен мир грачевцев. Они ведут свое хозяйство по старинке, и потребляют сами почти все, что производят.

Все зависит здесь от прихоти хозяина. «Здесь ты один всему господин», — говорит помещица Адуева своему сыну.

Молодой Адуев о горе и бедах знает только «по слуху» — «жизнь от пелен улыбается ему». От этого «будущее представляется ему в радужном свете». Мать постоянно твердит: «Ты первый в мире», профессора прочат ему, что он «пойдет далеко». Но большей бедой для него было то, что мать «не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу». Праздная барская жизнь и безделье развили в Адуеве «преждевременно сердечные склонности» и чрезмерную мечтательность.

Цель и счастье жизни он видит не в труде и творчестве на пользу общества (трудиться казалось ему «странным»), а в «возвышенном существовании», в непрерывном ощущении душевного восторга, в пленительных, но бесплодных мечтах о славе, подвигах, «колоссальной страсти», любви, — во всем том, что приводит его в «сладкий трепет». Его душа «утопает» в холеном теле, и он не задает себе вопроса, «зачем дана жизнь».

С балкона адуевского дома взору открывается картина «благодати». Она как будто не таит в себе никакого неблагополучия. Но это только видимость, а по существу перед нами идиллия отсталости, медленного, но неуклонного упадка дворянско-поместного, крепостнического хозяйства.

В «Обыкновенной истории» Гончаров рисует действительность начала тридцатых годов, когда уже стало очевидным, что и Россия вступила на путь капиталистического развития и когда деревенская «идиллия» тоже начала втягиваться в это движение. Капитализм, по словам Ленина, разрушил патриархальную замкнутость всех слоев общества, которые «прежде не выходили из узкого круга домашних, семейных отношений»[89], и «выталкивал» из патриархального захолустья их обитателей.

Противоречия реальной жизни доходят и до грачевских обитателей. Их безмятежное существование нарушено. В сознании Адуева возникают непривычные стремления, его «что-то манит вдаль», но что именно, он не знает. Ему вдруг «тесен стал домашний мир». В деревне он не видит поприща для себя. И если для Анны Павловны Адуевой Петербург «омут», то для ее сына он «обетованная земля».

И вот наш герой, напутствуемый простодушной матерью, «весь расплаканный», уезжает искать счастья, «делать карьеру и фортуну». Он является «на главную арену деятельности в Петербург». Это начало той «Обыкновенной истории», в результате которой, по выражению Белинского, «трижды романтик» Александр Адуев переродился в бездушного и расчетливого дельца.

* * *

Суть адуевской романтики — ее фальшь — начинает раскрываться уже в первых столкновениях избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим и умным дядюшкой.

Адуев-старший, у которого «и служба, и завод», и дела идут «не плохо», на каждом шагу жестоко высмеивает напускную, беспочвенную мечтательность Адуева-младшего: «Твоя глупая восторженность никуда не годится», «с твоими идеями хорошо сидеть в деревне», «забудь эти священные да небесные чувства, а приглядывайся к делу», — твердит он постоянно племяннику. Но молодой герой долго не поддается его нравоучениям. «А разве любовь не дело?» — говорит он. Он не хочет думать «о презренной пользе труда», а хочет «жить такой жизнью, какой не бывает», боится стать «простым и обыкновенным человеком, как все». После первой неудачи в любви Александр Адуев жалуется «на скуку жизни, пустоту души».

Ему нравится играть роль страдальца. Воображение его ищет

то Онегина, то какого-нибудь героя из произведений ложноромантической школы — бледного, грустного, разочарованного. Адуев опошляет идеи и чувства пушкинской поэзии. «Малый байронствует», — язвительно говорит про него Петр Иванович Адуев. Молодой Адуев выглядит как убийственная пародия на ходульных и выдуманных романтических героев. Он любит принимать романтические позы перед избранницами своего сердца, но нигде так полно не обнаруживается его сущность, как в любви к женщине. В любовных конфликтах Александра Адуева выразились самое необузданное самолюбие и самый отвратительный эгоизм.

В своих неудачах Адуев обвиняет не себя, а человечество, судьбу и, конечно, дядюшку. Он укоряет его за то, что тот ему «представил жизнь в самой безобразной наготе», что «перед ним разостлалась, как степь, голая действительность». Охваченный глубокой апатией, Адуев проводит дни за днями на диване, вздыхает, «не знает что делать». В конце концов он приходит к неутешительному выводу: как бы не жить, лишь бы прожить, и ищет «сна души». Эта адуевская апатия ничем не отличается от обломовской.

Такие люди «с помертвелыми от романтизма лицами» (по меткому выражению Валерьяна Майкова) действительно встречались тогда в обществе.

«Еще недавно были они (то есть эти романтики. — А. Р.) «героями нашего времени», — замечал Белинский, — теперь на них мода проходит, но их все еще много, и они еще не скоро переведутся. Притом же они не столько переводятся, сколько изменяются, принимая новые формы. Поэтому они разделяются на множество оттенков, заслуживающих подробного исследования».

«Обыкновенная история» Гончарова явилась как бы прямым откликом на этот призыв Белинского.

В критике отвлеченного, враждебного жизни и литературе романтизма Гончаров, более чем в каких-либо других вопросах, был солидарен с Белинским, следовал за ним как художник.

* * *

В «Обыкновенной истории» Гончаров представил, подробно исследовал один из оттенков романтизма, одну из разновидностей типа романтиков сороковых годов.

Было бы грубой ошибкой не видеть, что Александр Адуев отличается от типа либеральных романтиков сороковых годов. В

его облике нет даже намека на романтику либеральных исканий, на стремление к проповеди гуманизма. Критику этого типа романтиков Гончаров осуществит позднее в лице старого мечтателя Райского в «Обрыве».

Ошибочно было бы также причислять Александра Адуева к числу так называемых «лишних людей»: Онегиных, Печориных, Бельтовых. И Адуев и Обломов, не имея на то никаких данных, воображали себя необыкновенными людьми «с могучею душою». На деле же они были людьми самыми заурядными, даже ничтожными, если судить о них с общественной точки зрения. Что касается «лишних людей», то они отнюдь не были духовно ограниченными людьми»: своим смелым и благородным протестом они будили сознание русского общества. И не вина, а беда их, что в окружающей жизни они не могли найти полезного применения своим духовным силам и стремлениям.

Александр Адуев — носитель самого пошлого, самого мелкого, безыдейного, но, может быть, и самого массовидного и вредного романтизма сороковых годов. Несмотря на то, что внешне он рядится в одежды пушкинского романтика Ленского и принимает порою его позы, он ничтожнее и смешнее его. Пушкин отнюдь не третировал Ленского. В Ленском, «с его душою прямо геттингенской», Пушкин показал не только крайнюю аффектацию юношеских чувств в духе господствовавшего тогда немецкого романтизма, но и зачатки гражданской героики:

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден…

Ленский таил в душе «вольнолюбивые мечты». Пушкин допускал даже, что Ленский мог быть впоследствии «повешен, как Рылеев». Но, возможно, говорил он, что в будущем Ленского «обыкновенный ждал удел», то есть, что он в конце концов из пылкого мечтателя превратился бы в обывателя-помещика.

По мнению Белинского, с Ленским «сбылось бы непременно последнее». Люди, подобные Ленскому, указывал Белинский, или «перерождаются в совершенных филистеров», или становятся «устарелыми мистиками», которые, по словам критика, «больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые».

В «Обыкновенной истории» в лице Александра Адуева Гончаров и представил как раз тот «прозаический» вариант перерождения восторженного мечтателя, который был намечен

еще Пушкиным.

Однако этот «прозаический» вариант Гончаров наполнил новым социальным содержанием. Внимательно всматриваясь в действительность, Гончаров, конечно, видел, что тип Ленского в ту пору, когда была задумана и писалась «Обыкновенная история», претерпел уже существенные изменения. Вот почему в романтике Адуеве мы уже не находим тех идеальных и даже прекрасных по своей чистоте черт, которые были у Ленского. Адуева и Ленского роднит лишь то, что роднит всех горе-романтиков — полное незнание жизни, уход в мир иллюзий.

И «обыкновенный удел» Александра Адуева, представленный в эпилоге романа, совсем иной, чем у пушкинского героя. Восемь лет возился с ним дядюшка. Погрузившись в «омут сомнений» и душевно состарившись от безделья в двадцать девять лет, «разочаров… анный», по выражению слуги Евсея, Адуев бежит от «мира людей» в деревню. Первое время он наслаждается там покоем, и ему кажется, что он, наконец, обрел истинное пристанище для себя. Однако поэзия деревенской жизни скоро надоедает ему. Адуев не хочет «погибнуть в деревне». Душа его вновь «просит деятельности». Он возвращается в Петербург и через несколько лет становится деловым человеком, идущим «наравне с веком», с блестящей фортуной и карьерой впереди, накануне выгодного брака по расчету. От былых «небесных» и «возвышенных» чувств не осталось и следа.

Романтизм Александра Адуева был «вдребезги разбит опытом». «Обыкновенная история» Гончарова явилась убедительным подтверждением слов Белинского о том, что романтизм «проиграл… и в литературе и в жизни».

Строгий реалист и судья бесплодной дворянской романтики и мечтательности, Гончаров вынашивал в себе как художник образ светлого будущего своей родины и прекрасного русского человека. И в этом смысле он говорил о себе, что он «неизлечимый романтик, идеалист». Критически изображая действительность, Гончаров вместе с тем умел, как реалист, глубоко поэтизировать жизнь, открывать в ней то, что является само по себе поэтичным и вдохновляющим для человека. И не торжествует художник, видя, как былой восторженный мечтатель превращается в полного двойника своего дяди. Более того, он как бы начинает переоценку некоторых черт, которые были присущи юному Адуеву в ту пору, когда он мечтал «о другом, высшем призвании». И читая письмо уже полностью отрезвившегося от былых романтических увлечений Александра Адуева к тетке, мы, как и сам автор романа, не можем, конечно, «заклеймить позорной бранью эти юношеские, благородные, пылкие, хоть не

совсем умеренные мечты», осудить стремление «к высокому и прекрасному».

Не осуждал этого и Белинский. Он был противником не романтизма вообще, а романтизма, существовавшего «без живой связи и живого отношения» к жизни. Своим великим сердцем видел он, что «есть пора в жизни человека, когда грудь его полна тревоги… когда горячие желания с быстротою сменяют одно другое и… когда человек любит весь мир, стремится ко всему и не в состоянии остановиться ни на чем; когда сердце человека порывисто бьется любовью к идеалу и гордым презрением к действительности, и юная душа, расправляя мощные крылья, радостно взвивается к светлому небу… Но эта пора юношеского энтузиазма есть необходимый момент в нравственном развитии человека, — и кто не мечтал, не порывался в юности к неопределенному идеалу фантастического совершенства, — истины, блага и красоты, тот никогда не будет в состоянии понимать поэзию — не одну только создаваемую поэтами поэзию, но и поэзию жизни; вечно будет он влачиться низкою душою по грязи грубых потребностей тела и сухого, холодного эгоизма».[90]

Заслуга Гончарова как художника, вдохновляющегося эстетическими идеалами Белинского, состоит не в отрицании права каждого человека на эти чистые и прекрасные человеческие чувства, а в том, что он показал, как уродует и извращает их барски-крепостническое воспитание и строй жизни. Именно с этих позиций и развернута была в «Обыкновенной истории» вся баталия против адуевского романтизма.

«Адуев, — писал Гончаров в своей статье «Лучше поздно, чем никогда»[91], - кончил, как большая часть тогда; послушался практической мудрости дяди, принялся работать в службе, писал в журналах (но уже не стихами) и, пережив эпоху юношеских волнений, достиг положительных благ, как большинство, занял в службе прочное положение и выгодно женился, словом, обделал свои дела. В этом и заключается «Обыкновенная история».

Это высказывание Гончарова многое проясняет в его стремлении доказать возможность перерождения романтика Адуева в «положительного» человека. Белинский отрицательно отнесся к этой установке.

* * *

Осудив в романтике Александре Адуеве «всю праздную, мечтательную и аффектационную сторону старых нравов», Гончаров в «Обыкновенной истории» противопоставил ему

другое, бесспорно по ряду черт более положительное, но отнюдь не идеальное лицо — Петра Ивановича Адуева.

Гончаров полагал, что решающее значение в преодолении крепостнической отсталости, в борьбе с всероссийским застоем будет иметь общественно-полезный труд, живая практическая деятельность.

Определяя в «Лучше поздно, чем никогда» главную задачу «Обыкновенной истории», он, между прочим, писал: «…В встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре — в Петербурге. Мотив этот — слабое мерцание сознания необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела в борьбе с всероссийским застоем.

Это отразилось в моем маленьком зеркале в среднем чиновничьем кругу. Без сомнения то же — в таком же духе, тоне и характере, только в других размерах, разыгрывалось и в других, и в высших и низших, сферах русской жизни».

«Мотив», о котором говорит Гончаров, действительно в то время начал проникать во все слои русского общества, но, конечно, находил там и различное толкование.

Передовая, революционно-настроенная часть общества не отрывала свой труд от активной борьбы против самодержавия и крепостничества. Другая часть прогрессивной интеллигенции призывала к труду и трудилась, искренне веря в то, что крепостное право можно уничтожить «путем реформ», легальной борьбы и просвещения.

И уже в совершенно иной форме идея труда понималась людьми, подобными Адуеву-старшему. Труд и деятельность для них стали синонимами чисто буржуазной деловитости и практицизма.

Петр Иванович Адуев — тайный советник, но, кроме того, он сделался заводчиком. «Тогда, — замечает Гончаров, — это была смелая новизна, чуть не унижение (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений…) Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно» («Лучше поздно, чем никогда»).

В противоположность «ультраромантику» Александру Адуеву Адуев-старший «думает и чувствует по земному». «Дух его, — замечает романист, — прикован к земле». Адуев-старший — «враг всяких эффектов». Для него «везде разум, причина, опыт, постепенность и, следовательно, успех». Эта философия буржуазного практицизма, буржуазно понятой

«положительности» определяет всю жизнь и деятельность Петра Ивановича. Для него «расчет везде» — даже в любви и браке. В борьбе дяди с племянником отразилась, по словам самого Гончарова, «тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старых понятий и нравов». И вполне естественно, что, когда Адуев-старший беспощадно разоблачает вздорный, напускной романтизм племянника, когда он срывает все покровы с пресловутого дворянского романтизма, симпатии Гончарова как бы на стороне Петра Ивановича.

Но Гончаров вовсе не считал Адуева-старшего идеалом «нового» человека. Решительно отвергая романтизм адуевского толка, он вместе с тем ясно видел неполноценность философии и практики буржуазного «здравого смысла».

«Обыкновенная история» Гончарова была очень созвучна высказываниям Белинского, который, с одной стороны, выступал против пресловутых «романтиков жизни» (в первую голову против славянофилов) и, с другой — против эгоизма и бесчеловечности буржуазной морали.

В «Обыкновенной истории» показана вся несостоятельность житейских принципов Петра Ивановича Адуева. Он в высшей степени безразличен к человеку, к его нуждам, интересам. «Смотрят, что у человека в кармане да в петлице фрака, а до остального дела нет, только и деньги на уме», — говорит о нем и ему подобных его жена Лизавета Александровна. Порочность «здравого смысла» Петра Ивановича особенно ярко проявляется в его отношении к женщине. В своей жене он видит не человека, а лишь предмет домашнего быта, необходимый для того, чтобы придать квартире «достоинство семейного дома», чтобы «иметь больше веса в обществе». Он не допускает мысли, что у женщины тоже могут быть общественные интересы. Правда, он окружил жену комфортом. Но вся эта жизнь кажется Лизавете Александровне «холодной насмешкой над истинным счастьем».

Как осуждение бездушного буржуазного делячества звучат в романе размышления Лизаветы Александровны о своем супруге: «…Что было главною целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людьми чиновное и денежное значение, для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, обстоятельства? Бог его знает. О высоких целях он разговаривать не любил, называя это бредом, а говорил сухо и просто, что надо дело делать».

По замечанию Л. Толстого, «адуевщина» явилась художественным выражением мещанского карьеризма, умеренности, самодовольства.

Таким образом, одну из важных заслуг Гончарова, как прогрессивного русского художника, следует видеть не только в том, что он крепостнической лени и праздности противопоставил буржуазную деловитость и практицизм, но и в том, что он показал органические пороки буржуазных идеалов, полную зависимость буржуазной морали от интересов наживы и накопления.

Это качество «Обыкновенной истории» видел и ценил не только Белинский, но и люди другого общественного склада. Типичный либерал-«западник» В. П. Боткин, например, писал Белинскому: «Ты замечаешь, какой удар повесть Гончарова нанесет романтизму, — и справедливо; а мне также кажется, что от нее не очень поздоровится арифметическому здравому смыслу».

* * *

В Александре и Петре Ивановиче Адуевых художником представлены были два крайних типа людей: «Один восторжен до сумасбродства, другой — ледян до ожесточения», — говорит Лизавета Александровна о племяннике и муже.

Вопрос о крайних типах людей в то время вовсе не был отвлеченным или чисто литературным. Он отражал факты реальной жизни. Первым возбудил его в русской литературе Белинский. В статье «Русская литература в 1842 году» он указывал, что есть люди, которые «как будто совершенно лишены души и сердца», в них «нет никакого порыва к миру идеальному — это крайность, другие, напротив, как будто состоят только из души и сердца и как будто родятся гражданами идеального мира — это другая крайность».

Идеал, или, вернее говоря, нормальный тип человека, Гончаров стремился найти не в Адуеве-младшем и не Адуеве-старшем, а в чем-то ином, третьем, в гармонии «сердца» и «ума». Слабый намек на это идеальное человеческое достоинство содержится уже в облике Лизаветы Александровны Адуевой, но свое полное и прекрасное выражение оно найдет позже — в образах Ольги Ильинской в «Обломове» и Веры в «Обрыве».

Борясь за равноправие (эмансипацию) женщины в общественной и личной жизни, Белинский горячо приветствовал тех писателей, которые в своих произведениях отображали рост самосознания русской женщины. «Обыкновенная история» Гончарова дала повод критику высказаться по этому вопросу.

В таланте Гончарова Белинский особенно отмечал

необыкновенное мастерство рисовать женские характеры, что ранее редко удавалось даже первостепенным талантам. В живых, верных действительности созданиях романиста он видел новость в литературе.

К числу этих замечательных образов прежде всего следует отнести Наденьку.

«Предмет любви» молодого Адуева — Наденька, вышла, как справедливо считал сам романист, правдивым «отражением своего времени». Она уже несколькими шагами впереди матери, старой барыни Любарской. Она считает за собой право по-своему распоряжаться «своим внутренним миром…» и самим Адуевым. Она быстро изучила его, сделала послушным рабом и стала командовать. У Наденьки не было никакого еще понятия об идеалах мужского достоинства. Однако она рассмотрела, что Адуев «не сила», что это нежный, но бесхарактерный, кое-что обещающий, но мелкосамолюбивый и обыкновенный юноша. И когда перед нею явилась умная, ловкая, блестящая фигура графа, она «перешла» на сторону последнего. Без спросу полюбила Наденька Адуева и так же без спросу разлюбила его. «В этом пока и состоял, — по меткому замечанию романиста, — сознательный шаг русской девушки, — безмолвная эмансипация, протест против беспомощного для нее авторитета матери».

Но на этом и кончилась ее «эмансипация». Заявив протест, она осталась в неведении, что ей делать дальше, так как, по словам романиста, тогда «самый момент эпохи был моментом неведения. Никто еще не знал, что с собой делать, куда идти, что начать? Онегины и подобные ему «идеалы» только тосковали в бездействии, не имея определенных целей и дела, а Татьяны не ведали».

Однако если романист, по его собственному выражению, интересовался Наденькой только в начале повести, а потом «бросил» ее, то не бросил ее совсем. Жизнь шла вперед, шли вперед в русском обществе и Наденьки. Только они уже становились Ольгами из «Обломова» и еще позже Верами из «Обрыва».

Гончаров не скрыл того, что отношения между Наденькой и Адуевым напоминают частично отношения пушкинских героев (Татьяна — Онегин, Ольга — Ленский и т. д.). Вместе с тем в таланте Гончарова проявилась и гоголевская черта — уменье, по выражению Белинского, изображать такие «плоские и пошлые лица», не отмеченные какими-либо необычайными, яркими, романтическими чертами, как помещица Адуева и старая барыня Любарская. Не случайно Гончаров заметил: «От Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь, и

все мы, беллетристы, только разрабатываем завещанный ими материал».

Однако в «Обыкновенной истории» Гончаров разрабатывал не только завещанные Пушкиным и Гоголем женские образы, он шел и дальше своих учителей.

Настоящей новостью в русской литературе был образ Лизаветы Александровны, в котором отразилось пробуждающееся и растущее самосознание русской женщины. Лизавета Александровна не нашла еще в себе сил изменить условия своей жизни и примирилась с судьбой. Но ее протест против условий, уродующих жизнь женщины, несомненно, был услышан в русском обществе.

* * *

«Обыкновенная история» имела в читательских кругах и у критики необыкновенный успех. Это объяснялось не только современностью ее идеи и темы, но и высокими ее художественными достоинствами. Гончаров поистине блеснул замечательным талантом.

Как никто до него, он своеобразно, с изумительной гармоничностью и естественностью сочетал в своей манере письма, в языке высокую пушкинскую поэтичность и изящество, его «объективность», гуманность и лиризм, с гоголевской «натуральностью», критическим взглядом и юмором.

Белинский говорил о юморе, как о «биче против всего ложного», как о «могущественном элементе творчества, посредством которого поэт служит всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о них, но только верно воспроизводя явления жизни, по их сущности противоположные высокому и прекрасному, — другими словами: путем отрицания достигая той же самой цели, только иногда еще вернее, которой достигает и поэт, избравший предметом своих творений исключительно идеальную сторону жизни».[92]

Эту замечательную мысль критика глубоко воспринял Гончаров как художник.

Юмор, позволивший художнику высказать свое критическое отношение к существовавшей тогда действительности, свое «отрицание» этой действительности, мы находим уже в первых литературных опытах Гончарова. Но в «Обыкновенной истории» юмор выступает уже как «могущественный элемент творчества», с помощью которого художник выражает и свои положительные идеалы.

Как уже говорилось выше, Гончаров в «Обыкновенной истории» создал ряд превосходных по типичности характеров. Писатель показал себя и мастером пейзажа. Виды, открывающиеся из окна поместья Адуевых, — живописные и верные картины русской природы.

Значительная часть повествования в «Обыкновенной истории» представляет собою сплошной диалог или, как выразился Белинский, «живые, страстные, драматические споры». Замечательно то, что эти длинные разговоры дяди с племянником не утомляют читателя, а, наоборот, чем дальше, тем больше увлекают. Каждое действующее лицо высказывает себя до конца. Правда, разговоры дяди с племянником несут на себе легкий дидактический колорит, но Гончаров (что свидетельствовало о его высоком мастерстве художника) не сбился на тон резонера. По искусству строить диалоги Гончаров превзошел многих, даже Гоголя.

Можно сказать, что прелесть, строгость и чистота формы у Гончарова те же, что у Пушкина и Гоголя, хотя художественные идеи и материал различны.

Видя в романе Гончарова одно из замечательных произведений русской литературы, Белинский писал: «Главная сила таланта г. Гончарова — всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств… К особенным его достоинствам принадлежит, между прочим, язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся».[93]

Действительно, язык романа «Обыкновенная история» превосходен. Чувствуется, что Гончаров не только в совершенстве овладел богатством русского литературного языка, но и сам сделал много для его дальнейшего развития и обогащения.

Высокое художественное мастерство Гончарова проявилось, кроме всего прочего, в том, что у него не чувствуется «и признаков труда, работы; а читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ».[94] Роман создает впечатление, что это «не печатная книга, а живая импровизация».[95]

* * *

«Обыкновенная история» твердо поставила Гончарова в первый ряд прогрессивных писателей-реалистов.

Естественно, что в обстановке острой идейной борьбы, которой характеризовалась русская общественная жизнь сороковых годов прошлого века, «Обыкновенная история»

Гончарова вызвала в печати резкую полемику. Первый отклик о романе появился в «Московском городском листке» в марте 1847 года и принадлежал перу Аполлона Григорьева. «Обыкновенная история» Гончарова, — писал он, — может быть, лучшее произведение русской литературы со времени появления «Мертвых душ», первый опыт молодого таланта… опыт, по простоте языка достойный стать после повестей Пушкина и почти наряду с «Героем нашего времени» Лермонтова, а по анализу, по меткому взгляду на малейшие предметы, вышедший непосредственно из направления Гоголя». С резкой критикой статьи А. Григорьева сразу же выступил Белинский в «Современнике» (анонимная заметка). Он увидел, что оценка Григорьева, внешне хвалебная[96], содержала вместе с тем и неправильный взгляд на характер гоголевского реализма. Сущность этого реализма А. Григорьев фактически сводил «к меткому взгляду на малейшие предметы».

Этим не замедлила воспользоваться реакционно-охранительная газета «Северная пчела». На ее страницах выступил со статьей ярый враг Белинского, враг всего прогрессивного и талантливого в русской литературе, Фаддей Булгарин. Выдавая мнение А. Григорьева за точку зрения самой «натуральной школы», Булгарин писал: «Видите ли в чем поставляет натуральная школа гениальность! В метком взгляде на мелочные предметы! Вот оно! Вот то, что мы говорим в течение десяти лет!..»

Журналисты реакционного лагеря извращали существо критического реализма «натуральной школы», выдавая стремление к правдивому изображению действительности, его подлинную народность за грубый натурализм, «грязность», «мелочность».

Увидя в Гончарове сторонника «натуральной школы», Булгарин старался всячески противопоставить Гончарова этой школе. «Нет никакого сомнения, — писал Булгарин, — что повесть г. Гончарова «Обыкновенная история» весьма хорошая повесть в своем роде, хотя нисколько не похожа на повести г. Гоголя, потому что хотя у г. Гончарова и есть просторечие, но нет вовсе грязностей…»

Лицемерный характер похвал «Северной пчелы» в адрес Гончарова стал вполне очевиден после выступления одного из ее сотрудников — Я. Брандта. В своих статьях, подписанных буквами Я.Я.Я., Брандт обвинял романиста в стремлении «опошлить всякое сердечное движение, всякий порыв чувств…, столь свойственных и извинительных молодости». Это была откровенная защита дворянского реакционного романтизма.

С нападками на Гончарова выступил и славянофильский журнал «Москвитянин», также взявший под защиту «романтизм в жизни», романтиков адуевского типа.

Статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» нанесла большой удар всему антинародному лагерю критики. Белинский дал отповедь и охранителям из «Северной пчелы», и сторонникам «искусства для искусства», и славянофилам с их реакционной романтикой и идеализацией старины.

Во враждебной «Современнику» и «натуральной школе» критике высказывалось мнение, что тип такого романтика, как Александр Адуев, устарел и уже не существует на Руси. В своей статье Белинский опроверг это мнение как совершенно ошибочное и вредное. Художник, замечал он, ведь убедительно показал, что так называемый «провинциализм» и романтизм Александра Адуева есть не что иное, как продукт дворянско-поместной патриархальности, крепостнической отсталости и рутины.

Отвечая на нападки, которые делала критика по адресу другого лица в романе — Адуева-старшего, в частности, полемизируя со славянофилами, Белинский блестяще доказал, что подобный тип людей уже появился и впредь будет появляться в русском обществе, поскольку и Россия вступила уже на путь капиталистического развития. Вместе с тем Белинский ясно видел неполноценность Адуева как человека.

Высоко оценивая «Обыкновенную историю» в целом, Белинский решительно не согласился с финалом романа. По его мнению, в конце романа нарушена правдивость обрисовки молодого Адуева: «…Такие романтики никогда не делаются положительными людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи, в апатии и лени, нежели заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на большом приданом. Еще бы лучше и естественнее было ему сделать, его мистиком, фанатиком, сектантом; но всего лучше и естественнее было бы ему сделать его, например, славянофилом… Тогда бы герой был вполне современным романтиком, и никому бы не вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют…»

Белинский видел, что объективно роман Гончарова был направлен против реакционных устремлений славянофилов, которые идеализировали старину и отсталость России и упорно отрицали тот факт, что она уже вступила на путь капиталистического развития. Исходя из объективной значимости романа, а также из фактов самой русской жизни, Белинский наметил другой вариант эпилога, несомненно по своей идейной

остроте и общественной направленности более значительный. Однако эволюция характера Александра Адуева, показанная в «Обыкновенной истории», бесспорно, также являлась типичной, «обыкновенной» для большой части дворянской молодежи того времени.

Таким образом, в круг писателей-реалистов сороковых годов Гончаров вошел со своей самостоятельной темой и как вполне оригинальный художник.

Глава седьмая
Новые художественные замыслы

Конец сороковых годов был ознаменован в жизни Гончарова новыми творческими замыслами. «…Вскоре после напечатания, в 1847 году в «Современнике», «Обыкновенной истории», — писал Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда», — у меня уже в уме был готов план «Обломова», а в 1848 году (или 1849 году — не помню) я поместил в «Иллюстрированном сборнике» при «Современнике» и «Сон Обломова» — эту увертюру всего романа». «Сон Обломова», как «эпизод из неоконченного романа», появился в свет в апреле 1849 года.

Это, действительно, была настоящая «увертюра» всего романа. Гончаров подчеркивал, что в «Сне Обломова» им был «набросан» «главный мотив» обломовщины.

В чем же и как выразился этот мотив?

Гончаров видел, что обломовщина неотделима от крепостничества, патриархальных форм жизни. Размышляя о причинах всероссийской отсталости, он указывал, что они «истекают все из той же обломовщины (между прочим, из крепостного права)». «Сон Обломова» явился первым словом страстного обличения обломовщины. В нем была изображена патриархальная, косная, крепостническая «Обломовка», оказавшая столь пагубное влияние на воспитание Ильи Обломова. Картина, нарисованная Гончаровым, содержала в себе глубокое и важное обобщение: Обломовка воспринималась как изумительно яркое и полное олицетворение «сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни». Именно это и определило «главный мотив» обломовщины как стихии жизни, порождавшей косность, апатию и лень.

Осуждающий, антикрепостнический характер «Сна Обломова» был очевиден для всех. Почувствовала это и цензура и вычеркнула из него ряд «опасных», по ее мнению, строк.

У читателей «Сон Обломова» имел большой успех, что, однако, не нашло полного отражения в критике. Журнал «Современник» положительно отозвался о «Сне Обломова», но ограничился оценкой чисто художественной стороны произведения, — и это не было случайностью. В 1849 году, после смерти Белинского, отделом критики и библиографии в журнале заправляли Анненков и Дружинин. Как приверженцы «эстетической» критики, они избегали давать общественную оценку литературным явлениям и пытались даже

противопоставить Гончарова писателям-сторонникам критического реализма.

Примерно в таком же духе, что и «Современник», высказались о «Сне Обломова» и «Отечественные записки». Рецензент всячески стремился умолчать об его антикрепостнической направленности. По мнению рецензента, автор «Сна Обломова» «всему сочувствует с равной любовью». Гончарова он называет «объективным поэтом в изложении того послеобеденного сна, который объемлет всю Обломовку, который полон неодолимого обаяния…»

Славянофильский «Москвитянин», признав лишь частные художественные достоинства «Сна Обломова», осуждал «иронический тон красок» в нем и указывал, что «нельзя трунить» над сердечной, хотя и неразумной, добротой и необщительной простотой обломовцев, которые, несмотря ни на что, будто бы «очень милы». Это была откровенная защита крепостничества, патриархального уклада жизни, всех, говоря словами самого журнала, «пошлостей жизни в захолустье». Вопреки всем этим недоброжелательным мнениям критики, Гончаров как художник неуклонно шел своим путем, оставаясь верным принципам критического реализма и особенностям своего таланта.

* * *

Гончарову, как, видимо, и всякому большому художнику, в высшей степени было свойственно ощущение связи своего творчества с действительностью. Это ощущение особенно обострялось в пору возникновения и созревания новых художественных замыслов.

В «Обыкновенной истории» писатель отобразил целый период русской жизни. В начале сороковых годов, когда задумывался и писался этот роман, Гончаров, конечно, не мог еще ясно видеть следующий период, который тогда только намечался. Однако сам Гончаров потом говорил, что «предчувствовал, что следует далее» и «пережил про себя в воображении и этот период».

Рождение нового замысла, — замысла «Обломова» и создание «Сна Обломова», этого подлинного художественного шедевра, — свидетельствовали о дальнейшем идейном и творческом росте писателя. Годы, прошедшие со времени написания «Обыкновенной истории», обогатили Гончарова многими новыми и важными знаниями, наблюдениями и впечатлениями.

Это была пора наиболее тесной связи писателя с передовыми интересами русской общественной жизни и литературы. Громадную роль в этом отношении сыграло для Гончарова его

знакомство с Белинским. В пору возникновения у Гончарова замысла «Обломова» и работы над «Сном Обломова» (1847 год) он имел еще возможность встречаться с Белинским, который, превозмогая свою болезнь, продолжал работать. Белинский, несомненно, знал о гончаровском замысле. Писатель не скрывал того, что работал над новым произведением. По свидетельству самого романиста, он тогда «всякому встречному и поперечному рассказывал», что замышлял, что писал, читал приходившим к нему друзьям и знакомым то, что уже было написано, или делился с ними тем, что только еще намерен был писать. Это, признавался Иван Александрович, он делал потому, что в нем «не вмещалось», «не удерживалось богатство содержания», а еще более оттого, что был «крайне недоверчив к себе», беспрестанно мучил себя вопросами (эта черта со временем еще сильнее развилась в писателе): «Не вздор ли я пишу?», «Годится ли это?»

Белинскому Гончаров, конечно, поверял свои замыслы и сомнения со всей откровенностью и чутко прислушивался к его замечаниям и советам.

Плодотворное воздействие критики Белинского писатель испытывал на себе и в дальнейшем. Глубоко восприняв существо учения Белинского об искусстве и реализме, Гончаров указывал, что Белинского надо читать и художнику, и критику, и публицисту. «Влияние его еще горячо чувствуется и продолжается доныне», — писал он о Белинском в 1869 году.

Писательская известность, которую принесла Гончарову «Обыкновенная история», способствовала укреплению его связей с литературными кругами и умножению знакомств с замечательными людьми того времени. Не порывая с литературным салоном Майковых, Гончаров входит в круг постоянных сотрудников «Современника». Григорович в числе лиц, «составлявших тогда его редакцию», называет в своих «Литературных воспоминаниях» и Гончарова.

Но Гончаров печатает свои работы без подписи. Только в 1927 году была установлена принадлежность перу Гончарова анонимных фельетонов «Письма столичного друга к провинциальному жениху», опубликованных в «Современнике» N 11 и 12 за 1848 год.[97] Ранее Гончаров поместил в «Современнике» (1847, N8, отдел «Смесь») некролог «В. Н. Майков», до этого он выступал в журнале «с русским фельетоном», о чем свидетельствует начальная фраза некролога: «На нынешний раз мы должны начать наш русский фельетон печальной новостью».[98]

Попытки заниматься журналистской работой были у Гончарова и прежде. Это видно из его собственных слов. В

автобиографии 1858 года Гончаров, отмечая свое участие в «домашних», «не публичных» занятиях литературой в тридцатых годах в семье Майковых, указывал, что «потом это участие перешло, хотя мало и незаметно, уже в журналы, в которых участвовали некоторые из друзей Майковых. И Гончаров перевел и переделал с иностранных языков несколько разного содержания статей и поместил в журналах без подписи имени».

Это очень интересное признание, на которое исследователи как-то не обращали должного внимания. К сожалению, до сих пор не удалось установить, в каких именно журналах Гончаров помещал эти свои переводы и статьи «без подписи имени».

Но как бы там ни было, журналистской работой и в тридцатых и в сороковых годах Гончаров занимался не столько по склонности, сколько, видимо, по необходимости. Вспоминая впоследствии о начале своей литературной деятельности, Гончаров в «Необыкновенной истории» писал: «Твердой литературной почвы у нас не было, шли на этот путь робко, под страхами, почти случайно. И хорошо еще у кого были средства, тот мог выжидать и заниматься только своим делом, а кто не мог, тот дробил себя на части! Чего и мне не приходилось делать!»

Однако не только материальные соображения иногда заставляли Гончарова браться за журналистскую работу. Его участие как журналиста в «Современнике» продиктовано было и другими причинами. В связи с усилившимися цензурными преследованиями журнал в конце сороковых годов терпел недостаток в материалах. Невольно приходилось частично заполнять его каким-либо материалом, которому не угрожали бы цензурные запреты и который вместе с тем привлекал бы подписчиков.

В связи с этим обширнее стал в журнале отдел «Смесь». Завела редакция отдел «Моды». Писатели, группировавшиеся около «Современника», — И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, А. В. Дружинин, И. И. Панаев и другие — не гнушались никакой работой, чтобы только помочь журналу.

О своей работе, особенно ранней, «в качестве рецензента или публициста» Гончаров был невысокого мнения. «У меня, — говорил он, — было перо не публициста, а романиста».

Что касается публицистических статей других литераторов, то Гончаров умел различать среди них и талантливые и интересные. Вообще он высоко оценивал публицистику «Современника» второй половины сороковых годов. Показательно в этом отношении хотя бы его письмо к Юнии Дмитриевне Ефремовой из Петербурга от 25 октября 1847 года. «Отчего же вы

это не читаете «Современника»? — писал он ей. — А здесь-то хлопочут посылать его к Вам. Рекомендую Вам там в октябрьской книжке письмо Герцена из Парижа, «из Avenue Marigny» — потом в «Смеси» помещается всегда resume всего, что творится замечательного на белом свете, и у нас и за границей, следовательно, Вы узнаете, что было здесь без Вас».

Как известно, Белинский отмечал большую общественную значимость «Писем из Авеню Мариньи» Герцена и решительно выступал с защитой их от нападок буржуазных либералов, «западников» правого толка — Боткина, Корша и других.

Тот факт, что Гончаров рекомендует Ефремовой читать «Письма из Авеню Мариньи» Герцена, свидетельствует о его положительном отношении к ним.

Письма Герцена были напечатаны в октябрьском и ноябрьском номерах журнала за 1847 год. Незадолго до этого Гончаров лично познакомился с Герценом. Произошло это в самом начале 1847 года, когда, по выражению Гончарова, Герцен «мелькнул через Петербург» проездом за границу. Познакомил их Панаев в кондитерской Вольфа на Невском. После короткой беседы они расстались и больше никогда потом не встречались.

На протяжении ряда десятилетий Гончаров с вниманием и уважением относился к общественной и литературной деятельности Герцена. Много полезного и важного для себя как писателя вынес Гончаров из его статей «Дилетантизм в науке» и «Дилетанты-романтики», появившихся в «Отечественных записках» в 1843 году и оказавших сильное воздействие на русское общество. В них, между прочим, Герцен писал: «Человечество не хочет больше ни классиков, ни романтиков, — хочет людей и людей современных». Эти мысли Герцена не могли тогда не приковать к себе внимания Гончарова и, безусловно, ориентировали его в работе над «Обыкновенной историей».

Но в Герцене Гончаров видел деятеля либерального направления. Поэтому, когда Герцен в пятидесятых-шестидесятых годах развернул в «Колоколе» революционную агитацию, Гончаров заявил, что Герцен «вышел из роли». Революционную деятельность и пропаганду Герцена он считал «политическими заблуждениями». Однако и после этого Гончаров говорил, что Герцен «был во многом полезен России, открывал нам глаза на самих себя». По мнению Гончарова, он вынужден был уехать за границу, чтобы уйти «от угроз, от страха беды, к большой свободе! …Он ушел, потому что здесь этого ничего он не мог бы делать!» («Необыкновенная история».)

В 1848 году, по всей вероятности, осенью, Гончаров познакомился с Гоголем. «Раз он, — рассказывал Некрасов А. С.

Суворину о Гоголе, — изъявил желание нас видеть. Я, Белинский[99], Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников; у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи «К родине». Выслушал и спросил: «Что же вы дальше будете писать?» — «Что бог на душу положит». — «Гм», — и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об «Обыкновенной истории».[100]

В своих «Литературных воспоминаниях» И. Панаев также рассказал об этом свидании с Гоголем, заметив, между прочим, что хотя Гоголь и говорил с каждым из них об их произведениях, «было заметно, что не читал их». Что касается Гончарова, то он никогда после не вспоминал об этом, оставившем тяжелый осадок на душе (и не только у Гончарова), знакомстве с Гоголем. Но до конца жизни он чтил Гоголя как великого художника, отмечая при этом его плодотворное влияние на свое творчество.

* * *

У многих, знавших Гончарова в те годы, создавалось впечатление, что он доволен жизнью. Редко встречались на долгом жизненном пути романиста люди, которые сумели верно понять его душу, ощутить его сердце. Гончаров не любил раскрываться на людях, был сдержан в чувствах. И только в письмах к наиболее близким ему друзьям он до предела откровенен и искренен.

Это была одна из черт его характера, выработавшихся под влиянием известных обстоятельств жизни.

На протяжении ряда лет Гончаров по своему положению в обществе ничем не отличался от заурядного разночинца. Ему, как мелкому чиновнику, жить приходилось на весьма скромное жалованье, бывать же постоянно в аристократической среде, в семье и литературном салоне Майковых, где хотя и ровно обходились как с выше, так и с ниже поставленными людьми, но где, конечно, нельзя было показывать ни своей бедности, ни своих душевных невзгод. Правда, Гончаров, по словам Григоровича, считался у Майковых «своим». Но при всей близости к ним Гончарову, конечно, приходилось соблюдать в отношениях традиционный в аристократическом кругу decorum[101].

Гончаров мог блеснуть умом, умел всегда сказать le mot[102], искриться юмором, быть интересным собеседником, казаться беспечным, беззаботным — словом, счастливым. Но в душе его не было благости, пресловутого прекраснодушия. Именно уже тогда

возникли у него первые жалобы на неудовлетворенность жизнью, на «томящую скуку», «холод».

В дальнейшем эти минорные ноты все чаще и сильнее будут врываться в его письма и звучать тяжким диссонансом в жизни писателя, отмеченной горячей любовью к творческому труду.

Его личная, интимная жизнь складывалась трудно и безрадостно: без подруги и семейного гнезда. В себе он носил идеальный образ любимой женщины — не разменивался на преходящие, легкие желания. Много лет он любил Юнию Дмитриевну Ефремову, но она стала женой другого. Были у него затем и другие яркие встречи, не принесшие, однако, семейного счастья. Из этих «драм», шутя заметал как-то Гончаров, он выходил всегда «небритый, бледный и худой». Уже на тридцать первом году своей жизни Гончаров с горестной иронией сравнивал себя со «старой, давно прочитанной ветхой книгой», считал себя, подобно герою Пушкина, «инвалидом в любви». Утешение он находил в дружбе с теми же Майковыми, особенно с Ев. П. Майковой.

Чувство достоинства, самолюбие, наконец, ум не позволяли обнаруживаться в поведении Гончарова этой неурядице личной жизни. И это явилось, быть может, одной из причин, породивших в нем склонность к внешней сдержанности, обостренной мнительности, легкой душевной ранимости.

В конце сороковых годов Гончарову уже было много за тридцать. Молодость прошла… Наступила пора духовной зрелости. Менялся характер и облик Гончарова. Появилась солидность — несколько преждевременная.

В семье Майковых принято было давать друг другу шутливые прозвища. Так, младшего сына Владимира звали Стариком, хотя он был намного моложе всех. По совокупности впоследствии его красавицу жену Екатерину Павловну Майкову, с легкой руки Гончарова, стали величать Старушкой. Самого же Гончарова с тонким юмором окрестили именем де-Лень. Словом, уже тогда, видимо, в его облике появились те черты, которые позже кое-кому казались обломовскими, — внешняя апатичность, малоподвижность. В действительности же «под спокойным обличаем Гончарова, — как писал в своих «Воспоминаниях» А. Ф. Кони, — укрывалась от нескромных или назойливо-любопытных глаз тревожная душа. Главных свойств Обломова — задумчивой лени и ленивого безделья — в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни он был большим тружеником».[103]

Это одна из самых верных и проницательных характеристик Гончарова как человека.

Но не только неурядицами личной жизни следует объяснять порой тяжелое душевное состояние Гончарова. Настроения и ощущения писателя, как и многих других русских людей того времени, самым непосредственным образом зависели от общей обстановки в России.

Имея в виду тридцатые и сороковые годы, Гончаров в одной из своих статей впоследствии писал: «Молодое поколение не застало и не видало прежнего быта, старой жизни, следовательно, не знает старой скорби (курсив мой. — Л. Р.), того «недовольства», как оно называет безнадежную тоску, из которой не предвиделось выхода». Писателю и всем его современникам, людям сороковых годов, пришлось преодолевать и переживать эти, говоря его словами, «потемки старого времени».

И сам Гончаров иногда верно сознавал, что чувство неудовлетворенности вызывалось общими, объективными причинами. Так, например, в письме Ю. Д. Ефремовой из Симбирска от 20 августа 1849 года он писал: «…Здесь я ожил, отдохнул душой и даже помолодел немного, но только поддельною, фальшивою молодостью, которая, как минутная веселость от шампанского, греет и живит на минуту. Мне и не скучно пока, и не болен я, и нет отвращения к жизни, но все это на три месяца. Уж чувствую я над головой свист вечного бича своего — скуки: того, и гляди, пойдет свистать. Прав Байрон, сказавши, что порядочному человеку долее 35 лет жить не следует. За 35 лет живут хорошо только чиновники, как понаворуют порядком да накупят себе домов, экипажей и прочих благ. — Чего же еще, рожна, что ли? — спросят. Чего? Чего? Что отвечать на такой странный вопрос? Отсылаю вопрошателей к Байрону, Лермонтову и подобным им. Там пусть ищут ответа».

Пройдет несколько лет, и Гончаров еще острее почувствует общее неблагополучие русской жизни и не без боли и гнева будет говорить о «бесплодно гниющих силах и возможностях».

* * *

Спустя несколько месяцев после выхода в свет «Сна Обломова» Гончаров предпринял поездку в Симбирск, где не был четырнадцать лет. Из Петербурга он выехал в июле 1849 года, получив в департаменте сперва месячный, а затем трехмесячный отпуск. Об этой своей поездке и о первых днях пребывания в Симбирске Гончаров увлекательно и шутливо рассказал в письме к Майковым от 13 июля 1849 года.

До Симбирска» этого «благословенного богом уголка»,

Гончаров добирался три недели. Это было целое странствие по доброй воле. «Заносила меня нелегкая в Нижний, — рассказывал друзьям Гончаров, — проволокла даже до татарского царства, в самую Казань, где я прожил двое суток. Затерялся я совсем между чуваш, татар и черемис, сворачивал в сторону, в их жалкие гнезда, распивал с ними чай… От Петербурга до Москвы — не езда: это прекрасная, двухдневная прогулка, от которой нет боли в боках и голове… Зато дальнейшее путешествие, от Москвы в глубь России — есть ряд мелких, мучительных терзаний».

В своем письме Гончаров нарисовал правдивую, реалистическую картину жизни и быта народа, безотрадную картину грозившего ему бедствия: «Жары сожгли траву и хлеб, земля растрескалась…» Без всяких прикрас описана им Москва. «Тихо дремлет она, матушка, — с любовью и горечью говорит он. — Движения почти нет. Меня поразила страшная отсталость во всем, да рыбный запах в жары. Мне стало и грустно и гнусно. Поэзия же воспоминаний, мест исчезла. Хладнокровно, даже с некоторым унынием посматривал на знакомые улицы, закоулки, университет, но не без удовольствия шатался целый вечер по Девичьему полю с приятелями, по берегам Москвы-реки; поглядел на Воробьевы горы и едва узнал. Густой лес, венчавший их вершину, стал теперь, ни дать ни взять, как мои волосы. Москва-река показалась лужей; и на той туда же острова показались, только, кажется, из глины да из соломы. Одним упивался и упиваюсь теперь: это погодой, и там и здесь. Ах, какая свежесть, какая тишина, ясность и какая продолжительность в этой тихой дремоте чуть-чуть струящегося воздуха; кажется, я вижу, как эти струи переливаются и играют в высоте. И целые недели — ни ветра, ни облачка, ни дождя…»

В Москве Гончаров пробыл неделю. Там он познакомился с одним молодым автором, который читал ему «прекрасную комедию». Гончаров был намерен «хлопотать» о ней для журнала Краевского «Отечественные записки», о чем и писал ему из Симбирска.

По всей вероятности, этим молодым автором был А. Н. Островский, а его комедия — «Банкрот», то есть первый набросок «Свои люди — сочтемся».

Таким образом, знакомство Гончарова с Островским следует отнести к 1849 году.

Симбирск радушно встретил Гончарова. Ему были рады и мать, Авдотья Матвеевна, и брат, и сестры, и дворовые люди, помнившие «Ванюшу». Но не было среди встречавших крестного, Трегубова, который умер, видимо, весною 1849 года.[104]

Свой рассказ о Симбирске в письме к Майковым Гончаров

начинал теплыми, трогательными строками о матери. «Маменька, — писал он, — меня встретила просто, без эффектов, так, почти с немой радостью и, следовательно, очень умно. Славная, чудесная женщина. Она постарела менее, нежели я ожидал».

Зато много перемен нашел он в брате и сестре.

Младшая, Анна Александровна[105], из восемнадцатилетней худенькой девушки, какою он оставил ее в 1835 году, превратилась в «толстую тридцатилетнюю барыню, но только милую, чудесную барыню: ни ум, ни понятия ее не заросли в глуши». Она по-прежнему была бойкая, насмешливая. Старшая сестра, Александра Александровна[106], жила в деревне, и с нею Иван Александрович увиделся несколько позже. Почти неузнаваемым предстал перед ним его брат Николай Александрович. «У братца моего, — подмечал Гончаров с добродушной насмешкой, — брюшко лезет на лоб, а на лице постоянно господствует выражение комической важности. Я бы не вдруг решился показать его своим петербургским приятелям: очень толст и иногда странен. Но как все это любит меня, как радуется моему приезду».

С большим уважением и интересом встретило Гончарова городское общество. О его намерении приехать на родину стало всем известно задолго. По словам Г. Н. Потанина, который был тогда гимназистом и давал уроки детям Гончаровых, Николай Александрович встречному и поперечному говорил: «Брат мой, новый литератор, едет сюда!» Это всколыхнуло Симбирск. Все начали читать «Обыкновенную историю». Про Ивана Александровича пошли толки в женской половине города, что он «отчаянный петербургский франт» и щеголь, каких свет не производил.

И вот, по описанию того же Потанина, перед своими земляками предстал «обыкновенный мужчина» среднего роста, полный, бледный, с белыми руками, коротко подстриженный, начисто бритый, как тогда было принято в департаментах, с голубовато-серыми глазами, улыбка — насмешливая. Одет безукоризненно: визитка, серые брюки с лампасами и прюнелевые ботинки с лакированным носком, одноглазка на резиновом шнурке, короткая цепь из часов с замысловатыми брелоками. Разговаривая, Иван Александрович поигрывал одноглазкой или цепочкой. В окружении многочисленных поклонников и любопытных он держался свободно, был оживлен, разговорчив, весел.

По мнению Потанина, то было самое счастливое время для Гончарова:

«Тут было все: и радость первого литературного успеха, и пленительные воспоминания детства, и сияющее лицо матери, и ласки, восторги, подарки тому же счастливому любимцу, и воркование слепой няни, которая теперь готова молиться на своего Ванюшу, и раболепие старика-слуги… А тут еще такой почет общества… Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всем окружающим, он здесь вполне чувствовал, что он именно то солнце, которое все собою озаряет и радует всех».

Однако Потанин ошибается, рисуя Гончарова эгоистически упоенным счастьем. Как раз наоборот! Нередко что-то тяготило и тревожило душу. Нотка тревоги прозвучала уже в заключительных строках письма к Майковым: «…Мне еще хорошо, — замечал Гончаров, — а вот что-то будет подальше, как всюду преследующий меня бич — скука — вступит в свои права и настигнет меня здесь: куда-то я скроюсь? А уж предчувствие-то скуки есть. О, господи, господи! Спаси и помилуй».

Но и мысль о возвращении в Петербург не вызывала у писателя особой радости. «Вспомнить не могу, — говорит он в этом же письме, — что надо ехать туда, опять приняться за хождение на службу, за обычную тоску и лень. Какая разница между здешнею и петербургскою ленью…»

В течение всей дальнейшей жизни Гончаров часто будет говорить о «лени», — именно в этой форме обычно выражалась его неудовлетворенность жизнью. Гончаров постоянно стремился писать, работать, а когда на этом пути у него вставали трудности, то он всегда винил себя в «лени». Это была величайшая несправедливость к себе.

Пребывание Гончарова летом 1849 года в Симбирске, где он на этот раз будто бы «окончательно постиг поэзию лени», отмечено большим и вдумчивым изучением жизни. Поездка на родину дала писателю много новых и ценных впечатлений.

«Тут, — вспоминал впоследствии Гончаров («Лучше поздно, чем никогда»), — толпой хлынули ко мне старые, знакомые лица, я увидел еще не отживший тогда патриархальный быт и вместе новые побеги, смесь молодого со старым. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства — все это залегло мне в голову и почти мешало кончать «Обломова», которого написана была первая часть, а остальные гнездились в голове». Именно тогда возник в воображении Гончарова замысел нового, третьего романа, получившего в конечном своем осуществлении название «Обрыв».

Тогда же писателю пришлось пережить и тяжелое разочарование.

За время отпуска Гончаров намерен был закончить писать

«Обломова». Но это намерение не осуществилось. Работа не двигалась вперед. 25 сентября 1849 года Гончаров писал А. А. Краевскому из Симбирска: «Вещь вырабатывается в голове медленно и тяжело (курсив мой. — А. Р.)… прочитавши внимательно написанное, я увидал, что все это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить, что, словом, работа эта никуда почти не годится».

Он пробовал запираться в своей комнате, каждое утро садился за работу, но «все выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде материала». Между тем дни шли да шли… Запас жизненных наблюдений, необходимых для осуществления замысла романа, обличавшего крепостничество, оказался недостаточным. Попытавшись в Симбирске продолжить работу над «Обломовым», писатель ощутил, что у него нет должной ясности в отношении ставшей перед ним задачи, — что он «не так взялся за предмет». Именно вследствие этого вещь вырабатывалась у него «медленно и тяжело».

Писатель чувствовал и видел, как менялась общественная обстановка, как все больше назревала и обострялась борьба против крепостного права. Развитие творческой мысли писателя, созревание образа обломовщины, оказались в прямой зависимости от назревания в русском обществе вопроса о ликвидации крепостного права. Признание, что «работа эта никуда почти не годится», указывало на то, что художник как-то по-новому стремился осмыслить художественную концепцию романа.

Нет сомнения, что именно в это время Гончаров осознал необходимость углубления творческого замысла «Обломова», усиления его обличительной антикрепостнической направленности. Но в осуществлении этой цели Гончаров натолкнулся на большие трудности.

* * *

Конец сороковых и начало пятидесятых годов (1848–1854) вошли в историю русского революционно-освободительного движения как «мрачное семилетие», как самый тяжкий период реакции во всех областях общественной жизни и литературы. Царское правительство, напуганное революцией 1848 года во Франции и в ряде других европейских государств, а также ростом крестьянских бунтов, ввело новые реакционные меры для подавления всего прогрессивного и оппозиционного в стране.

Все журналы, за исключением, разумеется, реакционных, подверглись преследованиям. Но особенно эту, по словам Гончарова, «усиленную строгость цензуры» испытывал передовой демократический журнал того времени «Современник». Уже 1848 год, то есть когда еще был жив Белинский, начался для «Современника» неблагополучно. В Третье отделение поступили анонимные доносы («Записки»), в которых журнал обвинялся в «потрясении основ».

Не успели еще дать ход этим «Запискам», как были получены известия о «февральских днях» 1848 года во Франции. 22 февраля Николай I, находясь на балу и прочтя депешу из Берлина, воскликнул: «Седлайте коней, господа! Во Франции объявлена республика!»

Быстрее всех реакционеры «оседлали коней» против русской прогрессивной журналистики. Уже буквально на следующий день поступил к императору «всеподданнейший доклад» графа Орлова о «Современнике» и «Отечественных записках». В нем почти дословно повторялись упомянутые уже доносы. Орлов предлагал «усилить строгость цензурного устава» и подвергать журналы, особенно статьи Белинского, «наистрожайшему просмотру».

Вслед за этим последовала «Записка» барона Корфа, в которой он доказывал, что некоторые журналы занимаются «потрясением умов», «злонамеренными политическими внушениями», «распространяют коммунистические идеи», и призывал «охранять низшие классы от вторжения таких идей». Аналогичную записку подал царю и граф Строганов.

Все это возымело действие, и Николай I распорядился учредить особый комитет, который должен был следить и за цензурой и за всей литературой. Так был создан пресловутый Бутурлинский комитет, прославившийся, по выражению Анненкова, «ненавистью к слову, мысли и свободе». Участник кружка «Современника» М. Н. Лонгинов, впоследствии ставший начальником Главного управления по делам печати и превратившийся в гонителя литературы, писал, вспоминая об этом времени:

«Громы грянули над литературой и просвещением в конце февраля 1848 года. Литературе и науке были нанесены жестокие удары, и все, занимающиеся ею, надолго были лишены возможности действовать как следует. Журналистика сделалась делом и опасным и в высшей степени затруднительным. Надо было взвешивать каждое слово, говоря даже о травосеянии или коннозаводстве, потому что во всем предполагались личность или тайная цель. Слово «прогресс» было строго воспрещено… Уныние овладело всей пищущею братиею…»[107]

Бывший издатель «Современника» П. А. Плетнев писал Я. П. Гроту, что «цензура покамест похожа на удава, который инстинктивно бросается душить все, что дышит».[108]

Тем временем в Третье отделение опять поступили доносы, направленные как против «Современника», так и против «Отечественных записок». Наиболее гнусные из них принадлежали Ф. Булгарину.

Вскоре над «Современником» нависла новая угроза, сильно встревожившая всех сотрудников журнала. В Третье отделение доставили «пашквиль» на Николая I. Решив во что бы то ни стало разыскать автора этого «пашквиля», Третье отделение обратилось к содействию Ф. Булгарина. Тот в своих «Догадках», между прочим, намекал, что этим автором, в частности, мог быть Некрасов, ибо он-де «самый отчаянный коммунист» и что он якобы «страшно вопиет в пользу революции».

Третье отделение занялось изучением всех без исключения сотрудников «Современника». Гончаров, как и все из кружка «Современника», чувствовал за собой наблюдение жандармского ока.

«Ни для кого из нас, не только литераторов, но и в публике, — вспоминал он в «Необыкновенной истории», — не было тайною, что за нами, то есть литераторами, правительство наблюдает особенно зорко.

Говорят даже, что в III Отделении есть и своего рода «Книга живота», где по алфавиту ведутся их кондуитные списки. За ними наблюдают, что они делают, где, у кого собираются, о чем говорят, кто какого образа мыслей, какого направления… Я посещал кружок Белинского, где, хотя втихомолку, но говорили обо всем, как говорят и теперь, либерально, бранили крутые меры. Белинский увлекался всем новым, когда в этом новом была искра чего-нибудь умного, светлого, идея добра, правды — и не скрывал, конечно, этого от нас…

Его — т. е. всех, значит, посещавших Белинского, слушало правительство и знало, конечно, каждого».

Существование журнала висело на волоске. И тот факт, что в этой тяжелой и тревожной обстановке Гончаров поместил свой «Сон Обломова» в приложении к «Современнику», говорит о многом в пользу Гончарова. Нет сомнения, что реакционеры расценили этот поступок Гончарова как своего рода демонстрацию сочувствия «Современнику» и как прямую поддержку его в трудных обстоятельствах.

Гончарова глубоко возмутили провокаторские действия Булгарина против передовой литературы. Писатель осознавал себя убежденным врагом реакционной литературы, в частности ее

«подлого болота» — «Северной пчелы». О Булгарине Гончаров с негодованием говорил: «Фу ты, мерзавец какой!..»[109]

Ненависть к «мерзавцу» Булгарину воспитывал у русских людей еще Пушкин. Жестокую борьбу с Булгариным и с его вредным влиянием вел в сороковых годах Белинский. Щедрин в «Благонамеренных речах» говорил, что «то было время поклонения Белинскому и ненависти к Булгарину». Гончаров горячо разделял эти чувства прогрессивной части русского общества.

Усиление политической реакции и репрессий против литературы затрудняло творческую деятельность передовых писателей. Цензурные гонения обрушились на Некрасова, Тургенева, Щедрина, который за свою литературную деятельность был даже сослан в Вятку.

Неблагоприятно сказалась сложившаяся обстановка и на Гончарове. Пострадал от руки николаевских цензоров «Сон Обломова». Работа над «Обломовым» подвигалась трудно и медленно. Это порождало у писателя опасения, не потерял ли он вообще «всякую способность писать».

* * *

Безрадостно было на душе Гончарова при отъезде на этот раз из Симбирска. Правда, осуществилось его долгожданное желание «повидаться с маменькой» после четырнадцатилетней разлуки. Светлыми и радостными были первые дни и недели пребывания в родном доме. Тронули сердце воспоминания юности, молодости. Помолодило Гончарова и знакомство с Варварой Лукиничной Лукьяновой. Только что окончив институт, она приехала в Симбирск и поступила воспитательницей детей Гончаровых. В дальнейшем их связывала дружба. Портрет этой «красивой смольнянки» в бархатной рамке неизменно стоял на письменном столе Гончарова.

И все же отдых в Симбирске, в родном доме, среди забот и ласки родных, не создали у Гончарова душевного довольства. В письмах к друзьям он обещал скрыть от родных и окружающих, если явится его «вечный враг» — «тоска». И сдержал слово. Все видели его всегда в хорошем настроении. Но истинные свои чувства и мысли он выражал в письмах. Тревога за судьбу своей будущей творческой работы тяжко давила на душу писателя…

Проводы из Симбирска были оживленными и по-провинциальному даже торжественными. Провожать своего земляка-писателя пришли многие. Большая вереница колясок и

карет с разодетыми дамами и их супругами или кавалерами сопровождала отъезжающего на большое расстояние по дороге — до деревни Кандорати.

Со слезами и тоской прощалась со своим Ваней его мать, точно предчувствовала, что расстается навсегда…

Авдотья Матвеевна умерла 11 апреля 1851 года. Известие о смерти матери явилось самым большим, самым тяжелым горем в жизни Гончарова. «Больно и мучительно, как подумаешь, что ее нет больше, — писал он своей сестре А. А. Кирмаловой 5 мая 1851 года. — …Горжусь, благодарю бога за то, что имел подобную мать. Ни о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоминание так не свято, как о ней».

Глава восьмая
Путешествие на фрегате «Паллада»

Осенью 1852 года среди друзей и знакомых Гончарова, а затем и в петербургских литературных кругах распространилось известие: Гончаров отправляется в кругосветное плавание. Знавшие Гончарова люди были изумлены. Никто не мог подумать, что этот малоподвижный и флегматичный по внешности человек, «де-Лень», мог решиться на такой поступок.

«Необычайное происшествие!»

Внешний облик Гончарова и впоследствии вводил многих в заблуждение. Некоторые видели в нем двойника Обломова. Правда, Обломов тоже мечтал о путешествиях в дальние страны, но дальше своего дивана не двинулся. За флегматичной внешностью в Гончарове скрывался человек громадной творческой энергии, живого и ясного русского ума, больших и гуманных чувств. Что такие натуры рождала тогдашняя русская жизнь — примером также может служить и великий наш поэт-баснописец И. А. Крылов…

У каждого человека в жизни есть своя заветная романтическая мечта. У Гончарова — это была мечта о море, о кругосветных путешествиях. «Страстишка к морю жила у меня в душе», — признавался он в своих «Воспоминаниях».

Эта «страсть к воде» возникла у него еще в детстве. Много в этом способствовал крестный отец его Н. Н. Трегубов своими увлекательными рассказами о подвигах морских путешественников, об открывателях новых земель. «По мере того как он старел, а я приходил в возраст, — вспоминал Гончаров, — между мной и им установилась — с его стороны передача, а с моей — живая восприимчивость его серьезных технических познаний». В частности, Гончаров был всецело обязан Трегубову серьезными знаниями по морскому делу и по истории мореплавания, которые так пригодились ему в поездке вокруг света. У Трегубова были некоторые морские инструменты, телескоп, секстант, хронометр, и он научил крестника владеть ими. «…Можно, пожалуй, подумать, — говорил впоследствии Гончаров, — что не один случай только дал мне такого наставника для будущего моего дальнего странствия».

Уже в отроческие годы Гончаров прочитал ряд книг по географии, которые он нашел в богатой библиотеке крестного.

Юношеское романтическое желание «видеть описанные в путешествиях дальние страны» с годами превратилось в

осознанный и серьезный интерес к географическим знаниям. В Петербурге Гончаров завязал знакомства с участниками только что возникшего тогда Русского географического общества: В. И. Далем, А. П. Заблоцким-Десятовским, Г. С. Карелиным и другими.

Но прежде всего по приезде в Петербург Гончаров поспешил посетить Кронштадт и «осмотреть море и все морское». Гуляя по Васильевскому острову, он «с наслаждением» заглядывался на суда и «нюхал запах смолы и пеньковых канатов».

Но, конечно, не эта любовь к морю, желание осуществить свою «давнюю мечту» главным образом побудили Гончарова идти на фрегате вокруг света.

Побудили его к тому другие, более важные причины…

Как и многие русские люди тогда, Гончаров остро ощущал, что в России «мешают свободно дышать». Запрещение писать по вопросам крепостного права выбивало почву из-под ног у прогрессивных русских писателей. Видел и чувствовал это и Гончаров. Он сознавал, какая угроза возникла для осуществления замысла романа «Обломов». Все же он «изредка… присаживался и писал», но затем опять надолго оставлял работу. Прошли годы, но написана была всего лишь первая часть, включавшая «Сон Обломова».

В письмах Гончарова, относящихся к этому времени, слышится нарастающая неудовлетворенность жизнью. Писателя все больше тяготит необходимость повседневно находиться «в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров», то есть служба, чиновничья лямка, однообразие среды и быта.

В ту пору, когда Гончаров готовился к поездке на фрегате, ему было уже сорок лет. Тяжел и сложен был опыт пережитого. Впечатлительный и нервозный по натуре, Гончаров очень остро, с резкой болью в душе воспринимал неустроенность своей и всей окружавшей его жизни. «Если бы Вы знали, — писал Гончаров в несколько преувеличенном тоне И. И. Льховскому, с которым тесно сдружился по совместной службе в министерстве финансов (июль 1853 года), — сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу вечной нравственной и материальной грязи и заблуждений, чтобы выкарабкаться и на ту стезю, на которой Вы видели меня, все еще грубого, нечистого, неуклюжего и все вздыхающего по том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться так же бесплодно, как гоняется за человеком его тень».

В облике Гончарова, как человека, мы не находим ни капли

самодовольства. В том, что он говорил и писал о себе, была всегда какая-то беспощадность, горечь, ирония и даже насмешка. Большой, ясный ум и гуманное сердце этого человека жаждали светлой и деятельной жизни. Гончаров горячо, всей душой желал блага своей родине, мечтал о ее светлом будущем, питал добрые чувства к народу. И естественно, что такого человека не могла удовлетворять российская действительность.

Тоска по вдохновенному творческому труду, «сознание бесполезно гниющих сил и способностей», стремление изменить обстановку, обогатить себя новыми впечатлениями — вот что явилось основной причиной того, что Гончаров в 1852 году решил отправиться в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада».

* * *

От Аполлона Майкова Гончаров узнал, что один из русских военных кораблей идет вокруг света на два года. Майкову предлагали ехать в качестве секретаря этой экспедиции, поскольку-де нужен был такой человек, который бы «хорошо писал по-русски, литератор». Но Майков отказался и порекомендовал Гончарова.

И Иван Александрович принялся хлопотать «из всех сил».

Перед отплытием Гончаров в письме к Е. А. Языковой объяснил этот свой поступок следующим образом: «Я полагаю, — писал он, — что если б я запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может быть, прожил бы остаток жизни повеселее… Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь — я, такой ленивый, избалованный! Кто, меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь».

Причину своего отъезда он с глубокой искренностью высказал и в письме к Е. П. и Н. А. Майковым из Англии[110]: «Так вот зачем он уехал, — подумаете Вы: он заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце; ничем не освежалось воображение и т. п. Все это правда, там я совершенно погибал медленно и скучно: надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее — это все равно, лишь бы изменить».

Все эти признания писателя относительно причин, побудивших его ехать, прикрыты в письме словами «я просто

пошутил… а между тем судьба ухватила меня в когти». Это не только тонкая ирония над собой. Возможно, эти слова и отражают тот момент, когда у человека есть колебания, но он невольно отдается ходу вещей.

Готовясь к отъезду, Гончаров с радостью восклицал: «…И жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился, все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!» В Петербурге ему было «невесело». Была для того и глубоко личная причина. Однажды у Языковых Гончаров встретил их родственницу Августу Андреевну Колзакову. Она взволновала его, пробудила в нем надежды на любовь и счастье. Но отчего-то этот роман скоро угас или был с усилием погашен. И перед уходом в кругосветное плавание в памяти Ивана Александровича остался лишь, как он потом говорил, образ ее «чистой красоты». И он «уехал покойно, с ровно бьющимся сердцем и сухими глазами».

* * *

И как человек и как художник Гончаров постоянно жаждал «обновления» своих впечатлений и наблюдений. Его всегда манила к себе даль нового, неизведанного.

Уходя в плавание, Гончаров надеялся, что участие в походе русского корабля обогатит его новыми впечатлениями и ощущениями, он предполагал написать книгу, которая, по его мнению, «во всяком случае была бы занимательна», если бы даже он «просто, без всяких претензий литературных», записывал только то, что видел. Но вместе с тем он с тревогой спрашивал себя, где «взять силы, чтоб воспринять массу великих впечатлений», разобраться в них, чтобы верно, «безо всякой лжи» поведать о них публике.

Писатель-патриот, писатель-реалист глубоко осознавал, какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, которые следят за плаванием, и вдумчиво, серьезно готовился «к отчету».

Путешествие «без идеи», по его мнению, только забава. Свою идею путешествия Гончаров сформулировал следующим образом: «Да, путешествовать с наслаждением и с пользой, — писал он в одном из первых своих очерков, — значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека,

отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь» (курсив мой. — А. Р.).

Эти мысли русского писателя можно смело рекомендовать вниманию современных путешественников, стремящихся к правдивому познанию жизни того или другого народа.

На протяжении всего путешествия Гончаров неуклонно следовал этому своему принципу. Стремление писателя провести во всем «параллель между чужим и своим» раскрывает перед нами его напряженную думу о родине, о ее судьбах. Перед его глазами, как в калейдоскопе, проходили многие страны и народы, разнообразные картины природы. Но всюду и везде неотступно вставал в памяти образ родной страны, которую крепостническое бесправие и отсталость обрекали на обломовщину. В воображении писателя возникали картины патриархальной поместной жизни, образ русского помещика в атмосфере «деятельной лени и ленивой деятельности». Потом ему виделся «длинный ряд бедных изб, до половины занесенных снегом. По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит холстинная сума через плечо, в руках длинный посох, какой носили древние».

Безотрадная, унылая картина! Какую боль за родину вызывала она в русском путешественнике!..

«Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее», — писал Гончаров, когда фрегат находился в океане. С горечью говорил писатель, что почва его родины — это «почва Обломовки», и в пути вынашивал в себе мысли и образы для страстного обличения обломовщины. Во всем, что он видел, наблюдал, узнавал, путешествуя на фрегате, он убежденно и настойчиво искал доводов против патриархальности, обломовщины, от которых страдала Россия.

* * *

Что бы ни побуждало Гончарова к участию в экспедиции, путешествовал он фактически, как он сам говорил не раз, «по казенной надобности».

В чем же заключалась эта «надобность»?

«Адмирал, — рассказывал Гончаров в одном из первых путевых писем, — сказал мне, что главная моя обязанность будет — записывать все, что мы увидим, услышим, встретим. Уж не

хотят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, ошибутся…»

Однако Гончаров отлично справился с этой обязанностью и явился замечательным летописцем-художником, «певцом похода» — притом отнюдь не «ex officio»[111], как думал он вначале. Его «Очерки кругосветного плавания», печатавшиеся в 1855 году в журналах и вышедшие в 1858 году отдельным изданием, под названием «Фрегат «Паллада», увековечили героику этого похода, имевшего мирную цель установления торговых отношений с Японией.

В кругосветное плавание фрегат «Паллада» вышел из Кронштадта 7 октября 1852 года. Поход протекал в сложных условиях и явился замечательным подвигом русских людей. Командованию и экипажу корабля пришлось преодолевать в пути многочисленные препятствия и трудности — и не только чисто мореходного, но и военно-политического характера.

В свое время фрегат «Паллада» был одним из лучших кораблей-красавцев русского военного флота. Первым командиром его был П. С. Нахимов. Но к моменту похода в Японию корабль устарел, срок его службы подходил к концу. Уже в самом начале плавания, после сильных и затяжных штормов в Балтийском море, и особенно после того, как «Паллада» при входе в пролив Зунд «приткнулась к мели», в корпусе корабля обнаружились повреждения, и фрегату пришлось стать на капитальный ремонт в Портсмуте. В дальнейшее плавание корабль отправился только в начале января 1853 года. Благоприятное время для плавания вокруг мыса Горн было упущено, и маршрут пришлось изменить: «Паллада» пошла не на запад, к Южной Америке, как намечалось ранее, а на восток, к мысу Доброй Надежды.

Но и здесь погода не благоприятствовала плаванию. Корабль продвигался вперед в упорной борьбе со стихией. «Вообще вторая часть плавания (то есть после мыса Доброй Надежды. — А. Р.), — сообщал Гончаров Майковым 25 мая 1853 года, — знаменовалась беспрерывными штилями, ежедневными грозами и шквалами». «Фрегат наш более, чем плох», — писал Гончаров. Впереди же были самые «ураганистые моря».

Наиболее суровыми условия плавания стали за мысом Доброй Надежды, где, по выражению нашего путешественника, их «трепанула буря». «Классический во всей форме», по мнению самих моряков и Гончарова, шторм фрегат преодолел в Индийском океане. Но главное испытание он выдержал в Тихом океане, где его застигла сильнейшая из морских бурь. Казалось, что старый и израненный предыдущими штормами корабль не

выстоит перед напором грозной стихии.

Нет сомнения, что только благодаря мужеству русских моряков, их уменью, неутомимости и готовности не щадить своих сил в борьбе за честь и славу отчизны старый фрегат выдержал все выпавшие на его долю испытания и оправдал начертанное на его борту имя — «Паллада», что значит по-русски «Победа».

Трудовая героика похода сочеталась с героикой боевой, военной. В 1853 году Турция объявила войну России. Вскоре после этого против России выступили Англия и Франция. Началась грандиозная битва за Севастополь.

Фрегат «Паллада», находившийся тогда в Тихом океане, оказался перед необходимостью приготовиться к боевым действиям.

Английское командование отдало специальный приказ о захвате русского корабля и отрядило для этой цели эскадру, которая, кстати сказать, так своей задачи и не выполнила. Она была разгромлена русскими у берегов Камчатки. О «героическом отбитии англичан от этого полуострова» Гончаров с гордостью вспоминал потом в очерке «По Восточной Сибири».

Несмотря на угрозу со стороны англичан, на «Палладе» и не подумали о сдаче: не таковы были традиции русских моряков.

«А у нас поговаривают, — писал в этот момент Гончаров Майковым, — что живьем не отдадутся, — и если нужно, то будут биться, слышь, до последней капли крови».

На склоне жизни Гончаров рассказал А. Ф. Кони о факте, который во время похода фрегата оставался в секрете. Когда адмирал Путятин получил известие об объявлении войны России Англией и Францией, он созвал к себе в каюту старших офицеров и в присутствии Гончарова, связав их всех обязательством хранить тайну, сообщил, что в силу невозможности парусного фрегата успешно сразиться с винтовыми железными кораблями неприятеля или уйти от него, — он решил «сцепиться с ними и взорваться».[112]

* * *

Поход фрегата «Паллада» овеян подлинной героикой, овеяны ею и образы русских моряков. Это вдохновенно и правдиво запечатлено в очерках Гончарова.

«…История плавания самого корабля, — писал он впоследствии, — этого маленького русского мира с четырьмястами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь плавателей, черты морского быта — все это

также само по себе способно привлекать и удерживать за собой симпатии читателей…»

Прежде всего именно эта патриотическая романтика, эта настоящая русская героика привлекли в свое время и привлекают поныне читателей к «Фрегату «Паллада» Гончарова.

Гончаров проникся глубокой симпатией к русским морякам, участникам похода, которые, по его выражению, были «неистово преданы делу».

На корабле он сблизился не только с кругом офицеров, но завязал знакомства и с матросами. Однако общение это, судя по всему, не было широким, что отчасти, видимо, объяснялось тем, что Гончаров плавал «по казенной надобности», являлся секретарем адмирала. По уставу же и существовавшим понятиям того времени входить в личное общение с нижними чинами начальствующему персоналу не полагалось.

В очерках Гончарова мало уделено места описаниям корабельного быта, взаимоотношениям между рядовым и командным составом корабля. Гончаров был вынужден умолчать о многих отрицательных явлениях и фактах, имевших место на фрегате. В то время во флоте еще не были отменены телесные наказания. Далеко не все офицеры были «родными отцами» матросов, знали их души и стремились не страх вселять к себе у подчиненных, а «любовь и доверенность», как завещал один из выдающихся русских флотоводцев — адмирал Сенявин.

Гончаров искренно сочувствовал участи матросов, которым приходилось не только выполнять тяжелый и опасный труд, но и терпеть произвол и грубость офицеров, жестокости реакционной военной дисциплины. Однако по цензурным условиям он мог говорить об этом лишь в письмах. Относительно опубликования в печати материалов о военном флоте и особенно фактов, характеризующих отношение офицеров к матросам, существовали особые цензурные предписания и запреты. В письмах же к друзьям Гончаров рассказывал и о тяжелых условиях быта матросов, и о плохой пище, и о болезнях, уносивших немало жизней, и о несчастных случаях вследствие непосильного труда и напряжения людей в борьбе со стихиями, и о телесных наказаниях…

Но как ни узок круг простых людей, матросов, выведенных в «Фрегате «Паллада», и как ни скуп рассказ об их повседневной жизни, ясно видно, что автор питает к ним добрые чувства. Особенно тепло и живо нарисован Гончаровым образ Фаддеева. Гончарову явно нравился этот трудолюбивый и находчивый матрос из крестьян. Все в нем самобытно: «Он внес на чужие берега, — замечает Гончаров, — свой костромской элемент и не

разбавил его ни каплей чужого». Все в нем напоминало Гончарову о далекой России.

В Фаддееве, как и в других матросах, Гончарова всегда поражало удивительное спокойствие, «ровность духа». Хороши или плохи обстоятельства, он, этот простой русский человек, всегда спокоен и тверд духом в самом незатейливом смысле этого слова. Однако Гончаров отлично видел, что в этом не было и намека на покорность судьбе. «Все отскакивает от этого спокойствия, — замечает писатель, — кроме одного, ничем несокрушимого стремления к своему долгу — к работе, к смерти, если нужно».

Путешествие дало возможность Гончарову еще ярче увидеть, понять, какие могучие силы таятся в русских людях, не боящихся труда и борьбы.

* * *

В своих очерках Гончаров не имел возможности распространяться и в рассуждениях об офицерском составе. Он не смог, в частности, рассказать, что знал и что думал об адмирале Путятине, который хотя и считался опытным моряком, но по своим взглядам являлся реакционером, отличался ханжеством и самодурством. Гончаров принужден был умолчать о том, что Путятин создал на фрегате невыносимо тяжкую атмосферу, находился в постоянных распрях с командиром «Паллады» И. С. Унковским, и эти распри чуть не привели однажды к дуэли между ними.

От внимания писателя не ускользнуло то, что офицерский состав фрегата не отличался единодушием и сплоченностью. Немало среди офицеров было культурных и гуманных людей, воспитанных на лучших, прогрессивных традициях русского флота. Сам командир корабля, И. С. Унковский, был замечательным моряком, воспитанником знаменитого М. П. Лазарева. Однако значительная часть офицерского состава корабля, начиная с начальника экспедиции, адмирала Путятина, была настроена реакционно.

В своих очерках Гончаров показал типичных представителей николаевской военщины. Это лейтенант Н. Криднер — мелкий человек с баронской фанаберией — и мичман П. А. Зеленый, который впоследствии был одесским градоначальником и прославился своим самодурством.

Дух николаевской реакции давал о себе знать во всей жизни русского военного корабля. Испытывал его влияние на себе и

Гончаров, что проявлялось в отдельных его суждениях о народах Африки и Азии. Но важнее всего то, что во время путешествия Гончаров был больше близок к прогрессивному, а не реакционному кругу офицерства на корабле и что в походе окрепли его прогрессивные, антикрепостнические взгляды.

О многом говорит, например, тот факт, что один из офицеров фрегата, а затем командир шхуны «Восток», которая была Путятиным куплена в Англии и придана фрегату, В. А. Римский-Корсаков, отличавшийся широкой образованностью и гуманным отношением к подчиненным, пользовался особым уважением Гончарова. В своих путевых письмах Гончаров с нескрываемой симпатией рисует портрет старшего офицера корабля И. И. Бутакова. Когда лейтенант Бутаков был послан Путятиным из Сингапура в Петербург с особым поручением, Гончаров вручил ему письмо для передачи Языковым. «Примите же его, — писал он о Бутакове Языковым, — и как вестника о приятеле и как хорошего человека, тем более, что у него в Петербурге знакомых — ни души. Он весь век служил в Черном море, — и не даром: он великолепный моряк. При бездействии он апатичен или любит приткнуться куда-нибудь в уголок и поспать; но в бурю и вообще в критическую минуту — весь огонь. Вот и теперь, в эту минуту, орет так, что, я думаю, голос его разом слышен и на Яве и на Суматре. Он второе лицо на фрегате, и чуть нужна распорядительность, быстрота, лопнет ли что-нибудь, сорвется ли с места, потечет ли вода потоками в корабль — голос его слышен над всеми и всюду, а быстрота его соображений и распоряжений изумительна. Адмирал посылает его курьером просить фрегат поновее и покрепче взамен «Паллады», которая течет, как решето, и к продолжительному плаванию оказывается весьма неблагонадежной» (из письма Гончарова от 18 мая 1853 года).

Много души вложил писатель в образ старшего штурмана А. А. Халезова, прозванного во флоте Дедом. Сколько истинно русского в его характере, облике, языке, подлинно народной силы и красоты в его душе!

То, что симпатии Гончарова были решительно на стороне моряков, подобных Римскому-Корсакову, Унковскому, Халезову, Бутакову, не трудно заметить, читая «Фрегат «Палладу». Гончаров тесно дружил с ними, постоянно проводил время в их кругу. В одном из писем Майковым (из Зондского пролива) он писал: «Четверо нас собираются всегда у капитана вечером закусить, и сидим часов до двух». «Четверо нас» — это сам командир, И. С. Унковский, старший офицер И. И. Бутаков, капитан-лейтенант К. Н. Посьет, друг писателя, и, наконец, сам Гончаров.

Бесспорно, что в этом тесном кругу офицеров фрегата

обсуждались не только военные, но и другие, политические вопросы, связанные с внутренним состоянием России. Страшную отсталость страны, всю гниль николаевской системы в то время видели многие.

Тяжко было тогда русскому человеку находиться вдали от родной земли, не иметь известий о событиях. Тяжело было и Гончарову, но эти свои переживания он предпочитал высказывать не в «очерках путешествия», а в письмах к самым близким людям. В одном из писем с пути к Майковым он по поводу страшных испытаний, принесенных России войной, говорил: «Я так живо сочувствую тому, что движет Вас и всю Русь в настоящее время…» Читая «Фрегат «Палладу», мы все время ощущаем это патриотическое чувство.

* * *

Фрегат для Гончарова — это «уголок России», «маленький русский мир, живая частица» далекой отчизны.

Вот корабль у экватора — в «безмятежном царстве тепла и безмолвия». Шквал прошел, и фрегат опять «задремал в штиле». А «на дворе» февраль. Дождались масленицы. Ротный Петр Александрович Тихменев сделал все, чтобы чем-нибудь напомнить этот «веселый момент русской жизни». Он напек блинов, а икру заменил сардинами. Нельзя, чтобы масленица не вызвала у русского путешественника хоть одной улыбки. И все смеялись, как матросы возят друг друга на плечах около мачт. Празднуя масленицу среди знойных зыбей Атлантики, они вспомнили катанье по льду и заменили его ездой друг на друге — удачнее, чем ротный заменил икру сардинами. «Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, — замечает наш путешественник, — расхохочешься этому естественному, национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц».

В случаях повеселиться недостатка не было. «Не только в праздники, но и в будни, после ученья и всех работ, свистят песенников и музыкантов наверх. И вот морская даль, под этими синими и ясными небесами, оглашается звуками русской песни, исполненной неистового веселья, бог знает от каких радостей, и сопровождаемой исступленной пляской, или послышатся столь известные вам хватающие за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно забытых страданий».

В будничной жизни выдалось одно необыкновенное, торжественное утро. По традиции, 1 марта, которое, видимо,

было днем «именин» корабля, после обедни и обычного смотра команде, после вопросов: всем ли она довольна, нет ли у кого претензий, — все, офицеры и матросы, собрались на палубе. Все обнажили головы: адмирал вышел с книгой и вслух прочел морской устав Петра Великого.

Потом опять все вошло в обычную колею, — дни текли однообразно. «В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии, фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, со свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уже высоко, жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уж отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов… Чуткое воображенье, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы…»

Прочтешь эту картину, писанную как бы не пером, а кистью и красками, где все так естественно и поэтично, и задумаешься. И что-то всколыхнет, взволнует душу…

* * *

На корабле у Гончарова создалась репутация мужественного человека. Таким он и был в действительности. Но поскольку повествование Гончаров ведет «от себя», то можно подумать, что образ путешественника, который находится в центре книги, — это образ самого Гончарова. На самом деле это не так или не всегда так.

Центральное действующее лицо в очерках, герой их — это сугубо прозаический, обыкновенный человек, привыкший к комфорту, заурядный чиновник, которого бог весть для чего

судьба оторвала от повседневного посещения департамента и удобств городской жизни и бросила на «зыбкое лоно морей». Гончаров подтрунивает над своим героем, называет его и даже самого себя путешествующим Обломовым. Но все это тонко и умно задуманная ирония. Обломов не решился переправиться через Неву, Гончаров же объехал кругом весь мир.

Из путевых писем Гончарова мы видим, что ему стоило большого здоровья и сил переносить все лишения и невзгоды, с которыми связано плавание на устаревшем парусном корабле.

Особенно тяжело он пережил «обручение» с морем — путь от Кронштадта до Портсмута, который был труден и для настоящего моряка. «Что вам сказать о себе, о том, что разыгрывается во мне, не скажу под влиянием, а под гнетом впечатлений этого путешествия? — писал он М. А. Языкову из Лондона. — Во-первых, хандра последовала за мной и сюда, на фрегат; потом новость быта, лиц — потом отсутствия покоя и некоторых удобств, к которым привык, — все это пока обращает путешествие в маленькую пытку… Впрочем, моряки уверяют меня, что я кончу тем, что привыкну, что теперь и они более или менее страдают сами от неудобств и даже опасностей, с которыми сопряжено плавание по северным морям осенью».

У Гончарова возникли было сомнения и колебания (из-за болезни и т. д.), не вернуться ли из Англии домой, и он будто бы даже начал так вести дело на корабле, чтобы «улизнуть»… Из противоречивых и шутливо-иронических признаний Гончарова на этот счет видно, что в конце концов это намерение не очень было решительным. «…Когда я увидел, — писал он из Портсмута Майковым, — свои чемоданы, вещи, белье, представил, как я с этим грузом один-одинешенек буду странствовать по Германии, кряхтя и охая, отпирать и запирать чемоданы, доставать белье, сам одеваться да в каждом городе перетаскиваться, сторожить, когда приходит и уходит машина и т. п., - на меня напала ужасная лень. Нет уж, дай лучше поеду по следам Васко-де Гамы, Ванкуверов, Крузенштернов и др., чем по следам французских и немецких цырульников, портных и сапожников. Взял да и поехал».

Постепенно Гончаров «во многом свыкся с морем», у него появилась «привычка к морю».

«…В качку хожу, как матрос, — писал он Е. А. и М. А. Языковым из Зондского пролива, — сплю и не слышу подчас пушечного выстрела, ем и не проливаю супа, когда стол ходит взад и вперед… наконец привык к этой странной, необыкновенной жизни и… не хочется воротиться назад».

Вначале Гончарову мало удавалось заниматься путевыми

записками, и его порою снова стала посещать хандра. Работа служебного характера на фрегате отнимала много сил и времени, — «Как в департаменте!» — иронически восклицал он в одном из своих писем.

Кроме выполнения служебных обязанностей, писатель, по просьбе адмирала, преподавал словесность и историю гардемаринам.

У Гончарова решительно улучшается настроение, когда он чувствует в себе «потребность рисовать» и удовлетворяет ее. Уверенность в своих творческих силах и желание писать постепенно нарастали у него в пути. Эту «охоту писать», в частности, каждый раз «разогревала» в нем «книжка Ивана Сергеевича», то есть Тургенева.

Уходя в плавание, Гончаров прихватил с собою «Записки охотника», которые вышли в свет в августе 1852 года. «И вчера, — сообщал он Языковым из Китая, — именно вчера, случилось это: как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля, и — что всего приятнее — среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как будто рассказывающий это своим детским голоском, и прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море; где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг — так и ходят около…»

Он сетует по поводу того, что ему пока еще не удалось «сосредоточить в один фокус» все увиденное, что он еще «не определил смысла многих явлений», что у него нет «ключа» к ним. «…Я не постиг поэзию моря и моряков и не понимаю, где тут находили ее, — замечает Гончаров в письме к Майковым из Портсмута. — Управление парусным судном мне кажется жалким доказательством слабости ума человечества. Я только вижу, каким путем истязаний достигло человечество слабого результата… После пароходов на парусное судно совестно смотреть».

Но именно из этого письма видно, что Гончаров уже подобрал первый «ключ» к явлениям и фактам окружающей его жизни. Этим «ключом», этим критерием в оценке фактов и явлений действительности для Гончарова является идея прогресса, трезвый реализм, развенчание пресловутой экзотики.

* * *

Гончаров много писал писем с пути. «Писать письма к приятелям, — признается он И. И. Льховскому, — для меня большая отрада». В этих письмах Гончаров подробно рассказывал

о своих путевых переживаниях, впечатлениях и наблюдениях. Он просил друзей сохранить его письма. Они являлись в ряде случаев подготовительными, первоначальными этюдами «Очерков путешествия» («Фрегат «Паллада»).

Как секретарь экспедиции, Гончаров вел судовой журнал, в который заносил различные события. К сожалению, журнал этот не сохранился. Но еще большее значение имел в подготовительной литературной работе автора очерков его путевой дневник (тоже не дошедший до нас). Гончаров постоянно делал в своем дневнике записи. «Чуть явится путная мысль, меткая заметка, я возьму да в памятную книжечку, думая, не годится ли после на что…» — писал он Майковым из Сингапура.

Еще с мыса Доброй Надежды Гончаров сообщал Майковым, что у него «материалов, то есть впечатлений, бездна», но что работу тормозит его «несчастная слабость вырабатывать (то есть стилистически отделывать. — А. Р.) донельзя».

Однако ко времени прихода корабля на Филиппинские острова (март 1854 года) у Гончарова уже была написана большая часть очерков. Подтверждение этому мы находим в письме к Майковым: «Пробовал я заниматься, и, к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова, все это записано у меня, и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас…»

В этот период путешествия Гончаров глубоко, с прогрессивных реалистических позиций осмыслил громадный материал своих путевых наблюдений, что позволило ему создать правдивую и богатую по содержанию книгу.

Для праздного романтика и бедность живописна, все окружающее он представляет себе в радужном свете. По-иному раскрывается действительность взору реалиста. Русский писатель был чужд эстетскому обольщению необычным, экзотическим. За внешними эффектами он стремился увидеть неприкрашенную правду жизни, рисовал жизнь такой, какой она являлась сама по себе, то есть со всеми ее контрастами и противоречиями, а не такой, какой она представлялась в воображении. Гончаров видел, что нищета всюду в мире одинакова: и под лучезарным блеском южного солнца и под сереньким небом севера. Будь то русский крепостной крестьянин, португалец, негр или китаец — одинаково тяжел их труд, одинаково бедны их одежды и хижины. И русский писатель проникался глубоким и искренним сочувствием к этим угнетенным и бесправным людям. Жизнь и человек — вот что всегда в центре внимания автора «Фрегата

«Паллады», убежденного гуманиста и реалиста.

* * *

Несмотря на то, что Гончаров не был человеком революционных взглядов, в своих наблюдениях над зарубежной действительностью он поднялся на целую голову выше многих западных прогрессистов того времени. Он, приветствуя «материальный прогресс», сумел вместе с тем критически взглянуть на буржуазное общество.

Развивающийся капитализм нес гибель патриархально-феодальным формам жизни. Гончаров расценивал это как прогрессивный исторический факт. Вместе с тем он видел и пороки буржуазного общества. И не только видел, но и резко обличал их.

Первые впечатления Гончарова от зарубежной действительности связаны были с пребыванием в Англии. Это было время расцвета английского промышленного капитала и английской внешней торговли, пора неограниченных претензий Англии на мировое господство. Англия «стала, раньше других, капиталистической страной и, к половине XIX века, введя свободную торговлю, претендовала на роль «мастерской всего мира», поставщицы фабрикатов во все страны, которые должны были снабжать ее, в обмен, сырыми материалами».[113]

Сходя на английскую землю, Гончаров намерен был ничего «не писать об Англии». Ему казалось, что и без того уже всем русским «наскучило слушать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии». Не желая повторяться, Гончаров полагал ограничиться беглыми заметками об Англии и англичанах, описанием того, что «мелькнуло» в его глазах.

Однако за время пребывания в Англии у него накопилось немало новых и интересных наблюдений, которые составили одну из первых, и притом самых важных, глав «Фрегата «Паллады».

В своих суждениях об английской действительности Гончаров не только вполне самостоятелен, но и весьма проницателен. Писатель отдает должное успехам английской промышленности и торговли, но далек от того, чтобы пленяться картиной английской жизни. Ему чужда англомания, которой были так заражены в то время многие и в России и за рубежом. В Англии, более чем где-либо в другой стране, он смог убедиться в том, что материальный и технический прогресс буржуазного общества во многих случаях сопровождался подавлением духовных сил и стремлений человека, превращением его в простой придаток

машины.

«…В животных, — с глубоким сарказмом говорит Гончаров, — стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается забывать, зачем он круглый божий день и год, и всю жизнь, только и делает, что подкладывает в печь уголь, или открывает и закрывает какой-то клапан». Всякое «уклонение» от механической функции, замечает далее автор очерков, «в человеке подавляется».

Гончаров прекрасно показал, как за всем хваленым английским буржуазным благополучием, благопристойностью кроется лишь одно — «стремление к торгашеству», к «мелочной, микроскопической деятельности», стяжательство, власть чистогана, лицемерие и глубокое равнодушие к интересам человечества. «Кажется, — пишет он, — все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин».

Гончаров смело сдергивает покровы с показной, внешней стороны английской буржуазной морали: «Незаметно, — говорит он, — чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им».

«Но, может быть, это все равно для блага человечества, — с явной иронией спрашивает он себя, — любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым — даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию? Казалось бы, все равно, но отчего же это противно?»

Гончаров стремится отстоять, утвердить «светлое человеческое начало» в жизни, как к этому стремилась всегда русская прогрессивная мысль.

Добродетель, по замечанию автора очерков, достигается в Англии чисто полицейскими мерами. «Везде рогатки, машинки для проверки совести… вот какие двигатели поддерживают добродетель в обществе». Нет элементарного внутреннего доверия между людьми, каждый боится, как бы его не надул «ближний».

Эти обличительные строчки Гончарова не утеряли своей значимости и поныне, так как в них запечатлены не какие-либо случайные, преходящие, временные явления, а роковые пороки

капиталистического общества.

В 1843 году в статье «Положение Англии» Ф. Энгельс писал:

«Удивительно, как сильно в Англии духовно пали и расслаблены высшие классы общества… Политические и религиозные предрассудки передаются по наследству от поколения к поколению… Англичане, то есть образованные англичане, по которым на континенте судят о национальном характере, эти англичане — самые презренные рабы в мире… Англичанин пресмыкается перед общественным предрассудком, ежедневно приносит себя ему в жертву — и чем он либеральнее, тем покорнее он повергается во прах перед этим своим божком… Таким образом, образованные классы в Англии глухи ко всякому прогрессу».[114]

Находясь в Англии, Гончаров на каждом шагу чувствовал этот упадок духовной жизни, что и явилось одной из причин его неудовлетворенности западноевропейской действительностью.

В Англии Гончарову пришлось столкнуться не только с нравственным, но и политическим лицемерием. Все усилия господствующих классов, говорит Гончаров, направлены к тому, чтобы показать, что «общество благоденствует». Но правда жизни была другой. Несмотря на то, что автор очерков не смог вдуматься в существо классовых различий и классовых противоречий буржуазного общества, он все же ясно увидел, что «от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но и целые страны под английским управлением».

Англию он покидал без сожаления. «Я охотно расстаюсь, — писал он в очерках, — с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти. Боюсь, — добавлял он при этом, — что образ современного англичанина долго будет мешать другим образам…»

И действительно, так это и произошло. На всем длинном пути в Японию Гончарову не раз пришлось столкнуться с этим образом, пристально наблюдать типы английских торговцев и колонизаторов, стремившихся повсюду в мире утвердить свое влияние и господство.

«Вот он, — с глубокой иронией пишет Гончаров, — поэтический образ, в черном фраке, в белом галстуке, обритый, остриженный, с удобством, то есть с зонтиком подмышкой, выглядывает из вагона, из кеба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по Темзе, бродит по музеуму, скачет в парке! В промежутках он успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог дюка. Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того, покойный сознанием, что он прожил день по

всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо, вешает в шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает».

Вряд ли в литературе того времени, да и много после, было более насмешливое и язвительное изображение собирательного типа английского буржуазного дельца, всех его мнимых совершенств и насквозь лживой, ханжеской морали.

* * *

Гончаров придавал исключительно важное значение развитию мировой торговли, которая, по его мнению, разносила «по всем углам мира плоды цивилизации», вносила движение в патриархальную идиллию, ликвидировала феодальную замкнутость и отсталость.

Определяя задачи мировой торговли, Гончаров решительно высказывался против использования ее в целях экспансии, захвата и порабощения более развитыми странами менее развитых. Он осуждает насилие над народами, жестокость и бесчеловечность колонизаторов.

В силу ограниченности своих общественных воззрений, Гончаров не видел, что эксплуататорские, агрессивные устремления и дела английских и американских колонизаторов составляют существо капитализма. Однако, ставя выше всего в художественном творчестве верное отображение действительности, он сумел в своих очерках запечатлеть характерные черты и противоречия буржуазного прогресса.

Как трезвый реалист, Гончаров видел неизбежность и относительную прогрессивность развивающегося капитализма. Вместе с тем он видел и тот «безотчетный ужас», который порождали в нетронутых еще «цивилизацией» странах капиталистические колонизаторы, всюду утверждая свое господство, свой «фаустрехт» — право кулака. Гончаров метко разоблачает колонизаторский прием развязывания агрессии против народов Азии: «Пойти, например, в японские порты, выйти без спросу на берег и, когда начнут не пускать, начать драку, потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать войну». Эта разбойничья тактика, описанная Гончаровым, применяется и современными империалистическими агрессорами.

В «Фрегате «Паллада» показано, что главарем колонизаторских захватов в ту пору была Англия. Но Гончаров заметил появление на международной арене и другого хищника — США, стремившегося к колонизации и захватам на Дальнем Востоке под флагом «покровительства» народам.

Когда фрегат «Паллада» пришел на Ликейские острова, оказалось, что пресловутая «цивилизация» уже «тронула эту первобытную тишину и простоту жизни». Американцы проникли и в этот глухой уголок Азии. «Люди Соединенных Штатов, — записал Гончаров, — уж явились сюда с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации». Разоблачая лицемерие американских колонизаторов, он с тонкой иронией замечает: «Благословенные острова. Как не взять их под покровительство?»

Таким образом, от взора писателя не ускользнули подлинные цели и стремления «цивилизаторов». Однако в ряде случаев Гончаров отступал от верного взгляда. Это видно, например, из очерка о Капской колонии в Африке. Гончарову казалось, что «европеец старается склонить черного к добру, протягивает ему руку», что, цивилизовавшись, эти народы сравняются «со своими завоевателями». Он с предубеждением смотрел на туземцев — кафров и готтентотов, тут же противореча себе и называя их и европейцев братьями, «детьми одного отца», — бога человеческого.

Отдельные ошибочные мнения Гончаров высказывал и о корейцах и о народах севера России. В одном случае это была дань предрассудкам своего времени, в другом — результат незнания или плохого знания жизни некоторых народов. Бесспорно, например, что несколько слов, сказанных Гончаровым о корейцах, свидетельствуют о том, что ни он, ни другие люди с фрегата не имели никакого представления о жизни корейского народа и судили о нем, не сходя с борта корабля, на основе ходячих мнений и предрассудков.

В своих очерках Гончаров настойчиво проводил мысль о необходимости гуманно относиться как к отдельному человеку, так и ко всем народам, отстаивал идею мира и дружбы между различными нациями. Особенно сочувствовал Гончаров китайскому народу и верно провидел, что «этому народу суждено играть большую роль в торговле, а может быть и не в одной торговле». Он восхищался трудолюбием и талантливостью китайского народа и с гневом осуждал «повелительно-грубое» обращение англичан с ними и другими народами. «Не знаю, — говорил он, — кто из них мог бы цивилизировать — не китайцы ли англичан…»

* * *

Поход военного русского корабля «Паллада» из Петербурга на Дальний Восток — одна из славных страниц истории отечественного мореплавания. Официальной задачей экспедиции на фрегате «Паллада» было установление сношений с Японией. Царское правительство преследовало, конечно, в данном случае свои корыстные цели. Но с другой стороны этот поход имел прогрессивно-историческое значение, так как способствовал мирному сближению двух соседних государств, чего нельзя было сказать о действиях эскадры коммодора Перри, посланной еще ранее американским правительством для «открытия дверей» в Японию. США вели в то время широкую экспансию в районе Тихого океана. Угрожая оружием, США навязали Японии неравный, выгодный только для себя торговый договор и заставили ее открыть ряд портов.

Русские избрали путь равноправных переговоров и не угрожали суверенитету японского государства. По свидетельству одного из иностранцев, хорошо знавшего Японию того времени, «честь мирного склонения» японского правительства к заключению обоюдовыгодного торгового договора принадлежала русским, в частности адмиралу Путятину.[115]

В мае 1854 года фрегат «Паллада» прибыл к месту последней своей стоянки — в устье Амура (где впоследствии и был затоплен по приказу командования). После долгого ожидания, наконец, на корабле были получены точные известия о начале войны с Англией. Первое известие доставила шхуна «Восток» еще в конце марта 1854 года. В этой обстановке, писал Гончаров, «надо было думать о защите фрегата и чести русского флага, следовательно, плавание наше, направленное к мирной и определенной цели, изменялось… Цель путешествия изменилась, с этим прекратилась и надобность во мне».

Для Гончарова наступил момент прощания с кораблем, с его людьми, мужество которых он так высоко ценил.

В очерках Гончарова есть прекрасный образ русского фрегата. Кажется, что это живое, гордое существо — оно дышит, трудится, страдает, но борется до конца. «Странно однако ж устроен человек, — делился своими чувствами с петербугскими друзьями Гончаров; — хочется на берег, а жаль покидать и фрегат! Но если бы Вы знали, что за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю «Палладу».

Путешествие было окончено. «Два года плавания, — признавался Гончаров, — не то что утомили меня, а утолили

вполне жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и образов».

* * *

Наконец Гончаров «расквитался с морем» и отправился на родину «сухим путем» через Сибирь. «Истинное путешествие в старинном трудном смысле слова, подвиг, — писал он Майковым, — только с этого времени и начался».

Тогда путешествие по Сибири было сопряжено не только с большими трудностями, но зачастую и с настоящими опасностями. По описанию Гончарова, это был «глухой край, требующий энергии, силы воли, железного характера, вечной бодрости, крепости, свежести лет и здоровья».

Однако Гончарову в пути пришлось воевать не столько с волками и медведями, сколько с… ямщиками. Со станции Жеребинская Иркутской области он писал якутскому губернатору: «…Там господствует совершенная анархия, на которую я грозил пожаловаться государю-императору, потом генерал-губернатору, наконец, самому исправнику. Только последняя угроза и расшевелила ямщиков. Но окончательно подействовали на них волостные старшины, через посредство которых я только и мог получить лошадей…»

Путешествуя по Сибири, Гончаров вел дневник; используя каждую удобную минуту, он заносил мелким, неразборчивым почерком в «памятную дорожную книжку» свои впечатления. Писал всюду: и в «пустой юрте» и «на стоянках в лесу».

Гончаров с глубоким волнением переживал возвращение на родину. «Слава богу, — восклицал он, — все стало походить на Россию!»

Он с радостью замечал, что Сибирь постепенно «населяется, оживляется и гуманизируется». Упорный труд людей по освоению нетронутых земель, разработке природных богатств громадного края Гончаров считал настоящим подвигом. Предприимчивого переселенца-крестьянина Сорокина он называет «маленьким титаном».

Успехи сибирских крестьян в развитии земледелия и скотоводства, по мнению Гончарова, объяснялись тем, что в Сибири не было крепостного права. Но зато, отмечал он, Сибирь «вкусила чиновничьего — чуть не горшего ига».

В сибиряках писатель увидел свой, особый отпечаток: они отличались «свободным взглядом на мир божий» и независимым характером, — «без всякой печати крепостного права».

Суровая зима застала Гончарова в пути. 25 декабря он прибыл в Иркутск с сильно обмороженным лицом и распухшими ногами. В течение вынужденной, двухмесячной остановки в Иркутске он побывал у всех декабристов: у Волконских, Трубецких, Якушкина и других, которые жили вне города в жалких избах. Волконский наделил Гончарова письмами в Москву и Петербург, потому что письма от декабристов вскрывались на почте в Казани. Писатель выполнил его просьбу — письма были доставлены указанным лицам. Об этой своей встрече с декабристами Гончаров рассказал не в «Фрегате «Паллада», а почти тридцать лет спустя, — в очерке «По Восточной Сибири». Раньше этого сделать было нельзя по цензурным условиям.

Проезжая по Сибири, Гончаров был преисполнен чувства законной гордости за бесстрашных русских путешественников и землепроходцев, которые «подходили близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенищ своих сапог, дрались с зверями, со стихиями — все это герои, которых мы знаем наизусть и будет знать потомство…»

Сбылись слова писателя. Потомство знает и славит отважных землепроходцев и моряков, совершивших эти подвиги. Много, очень много говорит сердцу советских людей «Фрегат «Паллада» Гончарова.

* * *

Путешествуя вокруг света, Гончаров сумел взглянуть на все глазами русского человека и зоркого художника. «Фрегат «Паллада» — это в высшей степени оригинальное, самобытное, во всем глубоко национальное русское явление. В «Фрегате «Паллада» нет и следа какого-либо подражания произведениям подобного жанра в зарубежной литературе. Создать такое произведение мог только русский писатель-реалист, писатель-патриот. По своей прогрессивной направленности, широте и реалистичности изображения действительности, жизни и быта разных народов, природы очерки Гончарова не имеют равных не только в русской, но и во всей мировой литературе.

Ошибались те, кто пытался рассматривать «Фрегат «Палладу» как научное описание. Гончаров отнюдь не претендовал на это. Выдающийся русский критик Д. И. Писарев справедливо указывал, что на «Фрегат «Палладу» Гончарова «должно смотреть не как на путешествие, но как на чисто художественное произведение», что в его очерках «мало научных данных, в них

нет новых исследований, нет даже подробного описания земель и городов, которые видел Гончаров; вместо всего этого читатель находит ряд картин, набросанных смелою кистью, поражающих своей свежестью, законченностью и оригинальностью».[116]

К рассказу о своем путешествии Гончаров подходил как художник. Из всей массы впечатлений и наблюдений он отбирал самое важное, характерное, в образах и картинах воспроизводил реальную, а не вымышленную жизнь.

Реализм Гончарова проявился в описаниях не только жизни и быта народов разных стран, но и природы. Даже когда голос художника начинает звучать патетически, в его картинах нет и следа искусственности, умышленного украшательства, риторики. Вот художник рисует угасающее солнце, наступление ночи: «Фиолетовая пелена покрыла небо и смешалась с пурпуром; прошло еще мгновенье, и сквозь нее проступает темнозеленый, яшмовый оттенок: он в свою очередь овладел небом… Наступает, за знойным днем, душно-сладкая, долгая ночь, с мерцанием в небесах, с огненным потоком под ногами, с трепетом ночи в воздухе. Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи: ни серенад, ни вздохов, ни шопота любви, ни пенья соловья! Только фрегат напряженно движется, и изредка простонет да хлопнет обессиленный парус, или под кормой плеснет волна — и опять все торжественно и прекрасно-тихо!»

Писатель не сразу нашел нужную форму для своего произведения. Уже в начале путешествия он ставил перед собой вопрос, каким должен быть жанр его очерков. В мировой и русской очерковой литературе существовали известные традиции, в частности стерновская традиция «сентиментальных путешествий», оказавшая свое влияние на Карамзина. До Гончарова очерки путешествия писались В. П. Боткиным, П. В. Анненковым и другими. Гончаров сначала полагал, что только их «тонкое перо» может передать все им увиденное. Но как самобытный художник пушкинско-гоголевской школы он выработал, создал новую, свою «поэтику» описания путешествия.

Очерки Гончарова по содержанию, стилю и языку свидетельствовали о полном преодолении писателем субъективной сентиментальной манеры «Писем русского путешественника» Карамзина и ложноромантической очерковой традиции Марлинского. Гончаровские очерки продолжили и утвердили реалистические тенденции «Путешествия в Арзрум» Пушкина. В своих «Письмах» Карамзин стремился более всего запечатлеть «чувствования путешественника». Карамзинский герой чувствителен, восторжен, падок на возвышенную риторическую фразу, патетические восклицания. Его взгляд во

всем ищет только необычайное. А вот как писал Марлинский: «Багряные облака, точно огненные думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Елены… Экватор опирается на твои рамены, сизые волны океана, как столетия, расшибаются о твои стопы, и сердце твое — гроб Наполеона, заклейменный таинственным иероглифом рока». Поистине «океан фразерства», скажем словами Белинского…

Излишне восторженным языком написаны и «Письма об Испании» В. П. Боткина. Для Гончарова же характерна строго реалистическая мотивировка всех сравнений, ассоциаций.

Гончаровский путешественник трезво, спокойно, порой иронически смотрит на мир, ничем как бы не поражается, однако умеет в обычном находить поэзию.

Полемизируя с Бенедиктовым, его эстетским отношением к изображению природы и жизни, Гончаров пишет ему: «Ну, что море, что небо? Какие краски там? — слышу я ваши вопросы. — Как всходит и заходит заря? Как сияют ночи? Все прекрасно — не правда ли?» — Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день. Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе. Отыщите в сердце искру любви к ней… Нужно вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите…»

И тут же Гончаров дает живописную, полную истинной поэзии и любви к родной природе картину восхода солнца над Петербургом.

Язык «Фрегата «Паллады» — образец художественного реалистического языка: он точен, чист, красив. В нем не чувствуется никакой претензии на внешнюю эффектность, гремучесть, «умышленное украшение», то есть риторику, которыми как раз отличался язык «блестящего фразера» Марлинского или поэта Бенедиктова — «язык богов», по лукавому замечанию Гончарова. Совершенно спокойно, без преувеличений и насильственных восторгов, как это сделали бы сами люди с корабля, рассказал писатель о самых трудных, грозных, опасных — более того, страшных моментах в плавании фрегата.

Гончаровский юмор в «Фрегате «Паллада» по виду — добродушный и мягкий, но по сути — метко обличающий. По собственному признанию, Гончаров и свои письма, и очерки, и свои устные рассказы любил «приправлять юмором».

* * *

В русской критике пятидесятых годов очерки «Фрегат «Паллада» получили в общем положительную оценку. Но толковались они по-разному. Либерально-дворянский критик А. В. Дружинин пытался выставить Гончарова «безмятежным» писателем, сторонником «чистого искусства», чуждым гоголевского духа отрицания, то есть критики действительности. Этой эстетской точке зрения противостояла революционно-демократическая критика, которая подчеркивала прогрессивную направленность, реалистичность и высокую художественность гончаровских очерков. По поводу очерка Гончарова «Манила», напечатанного в «Отечественных записках», Некрасов писал: «… Статья прекрасна, отличается живостью и красотой изложения, свежестью содержания и той художнической умеренностью красок, которая составляет особенность описаний г. Гончарова». К числу важных достоинств гончаровского очерка Некрасов относил его умение передавать «предмет со всею верностью, мягкостью и разнообразием тонов…»[117]

Восхищенный гончаровскими очерками путешествия, поэт Аполлон Майков посвятил своему прежнему наставнику стихотворение с такой начальной строфой:

…Море и земли чужие,
Облик народов земных —
Все предо мной как живые
В чудных рассказах твоих…

Эпическую широту и поэтичность гончаровских очерков отметил Добролюбов. Писарев в своем отзыве о «Фрегате «Паллада» (статья «Писемский, Тургенев и Гончаров») говорил, что книга была встречена русскими читателями «с такой радостью, с какою редко встречаются на Руси литературные произведения».

Глава девятая
Роман и жизнь

В Петербург Гончаров вернулся 13 февраля 1855 года, то есть через неделю после смерти Николая I и за полгода до падения Севастополя. Здесь он быстро вошел в прежний круг близких ему друзей и петербургских литераторов.

«В начале 1855 года, именно в феврале, — писал Гончаров в «Необыкновенной истории», — я вернулся через Сибирь в Петербург. Там я застал весь литературный кружок в сборе: Тургенев, Анненков, Боткин, Некрасов, Панаев, Григорович. Кажется, тогда уже явился и граф Лев Николаевич Толстой, сразу обративший на себя внимание военными рассказами. Если не ошибаюсь, тогда же был в Петербурге и другой граф, Алексей Константинович Толстой (впоследствии автор Смерти Иоанна Грозного). Я познакомился с обоими, не помню, у кого: кажется, у князя Одоевского или Тургенева. Граф А. Толстой потом уехал, а Лев Николаевич (не помню хорошенько, тогда ли граф Лев Т., или позже, был в Петербурге) оставался тут и сходился с нами почти ежедневно — опять все у тех же лиц — Тургенева, Панаева и проч. Говорили много, спорили о литературе…»

Все, что волновало тогда русское общество, все события и острые политические вопросы находили в этом кругу определенный отзвук. «Говорили много», — замечает Гончаров, — значит, говорили обо всем, что переживала Россия, и, конечно, о том, что необходима ликвидация крепостного права, борьба с отсталостью и реакцией.

Посылая с пути некоторые свои очерки Краевскому для «Отечественных записок», Гончаров, однако, не хотел, чтобы они печатались до его возвращения. Вдали от России, будучи плохо информированным о происходившем в стране, он, видимо, не представлял себе, насколько они придутся кстати, будут созвучны переживаемым событиям.

Но вернувшись в Петербург и ознакомившись с положением дела и настроениями в обществе, Гончаров стал быстро подготавливать их к печати.

Издатели журналов не мешкали, и еще в 1855 году в «Отечественных записках», «Современнике» и «Морском сборнике» были напечатаны основные главы очерков. К исходу того же года отдельной книгой вышли главы «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов». Публикация очерков продолжалась в журналах и в 1856 и в 1857 годах. Полностью

книга очерков «Фрегат «Паллада» вышла в свет в 1858 году.

«Очерки путешествия» Гончарова, отличавшиеся прогрессивной, антипатриархальной и антикрепостнической направленностью, оказались очень своевременными для переживаемого тогда русским обществом момента. Закончилась Крымская война, в которой, по словам Маркса, самодержавие и крепостничество потерпели «жалкое крушение». Все увидели гнилость крепостнической системы, страшную отсталость России по сравнению с западно-европейскими странами. «Колоссальные жертвы… встряхнули русский народ».[118] Повсеместно в России возникали и множились крестьянские волнения, или, как тогда говорили, «бунты». Война принесла «небывалое отрезвление»[119] и всколыхнула и возбудила передовую часть русского общества.

«В 1855 и в 1857 годах, — писал об этом знаменательном периоде русского освободительного движения Герцен в «Колоколе», — перед нами была просыпавшаяся Россия… Новое время сказалось во всем: в правительстве, в литературе, в обществе, в народе… Немая страна приучилась к слову, страна канцелярской тайны — к гласности, страна крепостного рабства — роптать на ошейник».

Это был период, когда, по определению Ленина, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостничеством. Именно в обстановке этой борьбы окончательно определились и окрепли в мировоззрении, эстетических взглядах и творчестве Гончарова те черты и особенности, которые позволили ему подняться на новую, высшую ступень реализма и стать большим, подлинно национальным художником.

* * *

Трудно сложились в эти годы обстоятельства личной жизни писателя. Вернувшись в Петербург, он принужден был вернуться и к прежней службе в департаменте, где его чуть повысили: сделали начальником наименее интересного стола (отдела).

Но это нисколько не подбодрило Гончарова. Он чувствовал, что бюрократическая атмосфера и канцеляризм все сильнее давят на него. Титулярному советнику Гончарову «легче было превратиться в нового аргонавта, …нежели кругосветному путешественнику — в столоначальника министерства финансов. Привыкший уже к иным масштабам, он задыхался в тесной канцелярии».[120]

Вскоре после возвращения из плавания Гончаров стал подумывать о перемене службы, стремясь к более живому, ближе

стоящему к литературе делу. К радости Гончарова, адмирал Путятин обратился к начальнику департамента, где служил Гончаров, с просьбой отпустить его на два месяца, — писать отчет за всю экспедицию. Предстояло много работы, но зато, по выражению самого Гончарова, не надо было «таскаться каждый день на службу», что, конечно, позволяло иметь больше свободного времени и для литературных занятий.

Вскоре наметилась возможность уйти совсем из департамента. «Да едва ли я пойду опять туда на службу», — писал Гончаров Е. В. Толстой 1 декабря 1855 года и сообщал о том, что на днях министр народного просвещения Норов сделал ему предложение «занять место у него, где жалованья много, больше даже, нежели сколько мне нужно, а дела еще больше, чем жалованья».

Новая должность, на которую здесь намекает Гончаров, — место старшего цензора по русской литературе — «с тремя тысячами рублей жалованья и с 10 000 хлопот», — по ироническому замечанию писателя.

В своих письмах Е. В. Толстая интересовалась ходом работы над романом «Обломов». Отвечая ей, Гончаров с нескрываемой горечью писал в канун нового, 1856 года, что не она одна спрашивает о романе — «спрашивают пуще» редакторы, а «романа нет как нет».

Таким образом, в 1855 году Гончарову, судя по всему, так и не удалось вплотную взяться за работу над романом: на писание донесения об экспедиции[121] и на подготовку к печати «Очерков путешествия» уходило немало времени и сил. Отсутствие благоприятных условий для осуществления главного творческого замысла, как всегда в подобных случаях, тяжело переживалось писателем.

Но была и другая, кроме этих обстоятельств, более личная причина того, что настроения Гончарова в то время были окрашены в минорный, даже горестный

До нас дошла серия писем (32) Гончарова к Е. В. Толстой, которые он писал ей в 1855–1856 годах. П. Н. Сакулин, опубликовавший эту переписку, замечает, что она вводит нас в «самые интимные уголки внутренней жизни Гончарова».[122] Действительно, в этих письмах отразились самые сокровенные чувства и переживания Гончарова, романтика большой, но неразделенной любви его к Елизавете Васильевне Толстой.

* * *

Елизавету Васильевну Толстую Гончаров знал еще шестнадцатилетней девушкой. Он встречал ее в семье Майковых в начале сороковых годов. Уже тогда, видимо, она произвела на него впечатление. В альбомной записи от 1843 года он называет «дорогими» минуты ее пребывания в Петербурге и желает ей «святой и безмятежной будущности».

С тех пор прошло двенадцать лет. Гончаров стал известным писателем. Ему уже сорок три года, но он по-прежнему одинок. В письмах своих он называет себя «стариком» и жалуется на болезни и хандру. «Мучительная сторона страсти», то есть любви, кажется ему чем-то «уже давно угасшим и забытым».

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! Уж не бывать![123]

И вдруг осенью 1855 года у Майковых снова появляется Е. В. Толстая. Ее красота и ум приковывают к ней взоры всех, кто встречается с ней. Сильное впечатление произвела она, между прочим, и на Тургенева, изредка посещавшего дом Майковых. Но более всех восхищен и поражен этим прекрасным видением Гончаров. Он становится ее страстным и настойчивым поклонником. Она быстро вытеснила из его памяти образы ранее любимых и идеализированных им женщин, зажгла «в увядшем сердце кровь — опять тоска, опять любовь!..».[124] Новые чувства, новые переживания, новая жизнь вторглись в творческие думы романиста.

Письма Гончарова к Толстой — целая повесть любви, страстная исповедь о пережитом, «исповедь души». Сначала перед нами нежный и преданный друг, который любовно исполняет всевозможные поручения красавицы. Он снабжает ее книгами — Тургенева, Писемского, «Отечественными записками» и разными альманахами, достает билеты в театр, часто бывает с ней в опере, на гастролях итальянских и французских артистов, деликатно доставляет ей из магазина заказанные модные перчатки — словом, поступает так, как поступают в таких случаях все влюбленные мужчины.

Но Гончаров не сразу решается открыть ей свои чувства. Он долго предпочитает говорить о дружбе — дружбе целомудренной и святой, как просвира. Однако чувствуется, что он хочет большего… «Не могу же я, — говорит он в одном из писем, — в

самом деле, любоваться на нее, как Пигмалион на Галатею». Все чаще и чаще перед словом «дружба» в его письмах появляется многозначительное многоточие: «дружба» явно становится псевдонимом любви. Вопреки всем предрассудкам и условностям «науки страсти нежной», Гончаров доверчиво открывает любимой женщине все свое восхищение ею, «весь беспорядок души» своей, «волнение и хаос».

В своем «ослепительно-прекрасном друге» он видит сочетание всех совершенств: она создана «гармонически прекрасно, наружно и внутренно». Это, по его мнению, «артистически щеголеватое создание», «аристократка природы». «Чистота сердца» сочетается в ней с «возвышенностью характера». Гончаров особенно вменял ей в достоинство, в начале их отношений, отсутствие «умничанья» и «сентиментальничанья», внешней экзальтации. «Предо мною, — восклицает он, — идеал женщины, и этот идеал владеет мной так сильно, я в слепоте!»

Из письма в письмо следовали страстные, поистине патетические, беспредельные по откровенности признания в любви. Как бы стремясь облегчить тягость своих переживаний, влюбленный часто иронизирует, подшучивает над собой, бросая какой-нибудь забавный каламбур. Так, шутя, он пишет Е. В. Толстой, что «совсем отолстел»…

Признается он любимой женщине и в ревности, — также в шутливой форме. «Тургенев, у которого я был вчера, — сообщает он Е. В. Толстой, — спрашивал меня: «Скажите, какая прекрасная женщина живет у Майковых и можно ли там увидеть ее?» Я показал ему шиш».

Отъезд Е. В. Толстой в Москву (18 октября 1855 года) обострил чувство Гончарова. Вслед он шлет ей целую серию писем — вымышленный «роман», — «Pour и contre»[125]. От третьего лица, своего «друга», он рассказывает о своей любви, о своих душевных муках. Он любит «горестно и трудно». «Я болен ею, — признается его мнимый друг. — Мне стало как-то тесно на свете жить: то кажется, что я стою в страшной темноте, на краю пропасти, кругом туман, то вдруг озарит меня свет и блеск ее глаз и лица — и я будто поднимусь до облаков».

Страстно идеализируя любимую женщину, Гончаров вместе с тем порою трезво и критически всматривается в нее, изучает, анализирует ее отношение к себе.

Красавица-провинциалка благосклонно принимала его ухаживания, но дальше дружбы не шла — ограничивалась «просвирками». К Ивану Александровичу она питала «дружбу какую-то, так, чувство вроде самого пресного теста, без всякой

закваски, без брожения» («Pour и contre»). Но даже и такая дружба радует Гончарова, «производит музыку во всем организме». Он постоянно рефлексирует, в его душе происходит сложная борьба. «Дружба героя тяжела», «какой у меня несчастный, мнительный характер», — признается он в своих письмах.

«Pour и contre» является искренней и волнующей исповедью любви.

Гончаров чувствовал (и постепенно все больше в этом убеждался), что не ему суждено быть героем романа Елизаветы Васильевны. В грезах и мечтах юности она чертила себе другой идеал (в красивой позе и на коне), видимо, этот идеал сохранился в ее воображении. И герой этот явился в лице блестящего офицера, ярославского помещика, одного ее родственника, А. И. Мусина-Пушкина. В январе 1857 года Елизавета Васильевна вышла за него замуж.

По иронии судьбы, Гончарову пришлось устраивать счастье Е. В. Толстой: по просьбе ее матери хлопотать перед Синодом о разрешении брака с двоюродным братом.

В утешение и на память себе он испросил у супруга Елизаветы Васильевны ее фотопортрет, сделанный с написанного Н. А. Майковым портрета красками, в котором, по мнению Гончарова, художник «уловил самую поэтическую сторону красоты».

При всех своих совершенствах как женщины Елизавета Васильевна была вполне земная. Она просто и трезво смотрела на жизнь. Гончаров же в своем отношении к женщинам (о чем говорят некоторые факты его биографии) всегда был романтиком и искал в них идеал. «Диоген все искал с фонарем среди бела дня «человека», я искал «женщины», — говорит он о себе в «Pour и contre». Он стремился найти в любимой женщине то «ewige Weibliehe»[126], о котором мечтал великий немецкий поэт, и потому неизбежно переживал ряд горьких переживаний.

Мало радостей давала ему любовь: требовательность и сомнения неизбежно сопутствовали ему, разрушали надежды на счастье. «Позади у него, — говорил Гончаров о себе в третьем лице Е. В. Толстой (письмо от 25 октября 1855 года), — мало доброго: он увлекался иногда без пути и толку и часто страдал от того, что чересчур добросовестно смотрел бог знает на что. Вот источник его сомнений».

31 декабря 1855 года он с болью в сердце писал Е. В. Толстой: «Лучшего моего друга уж больше нет, он не существует, он пропал, испарился, рассыпался прахом. Остаюсь один я, с своей апатией, или хандрой, с болью в печени, без «дара слова», следовательно, пугать и тревожить Вас бредом некому».

Этим письмом, в сущности, и закончился роман Гончарова, — тот, который «творился в его душе». Светлая и радостная мечта, надежда на чистое и большое счастье были утеряны. Как бы предвидя эту печальную развязку, еще 25 октября 1855 года (в начале своих отношений с Е. В. Толстой), он говорил ей о своем «друге», то есть о себе: «Того участия, которого ему недоставало в жизни, он уж не найдет, и ему предстоит одинокая и печальная старость». И это горькое предвидение сбылось.

Гончаров тяжко переживал происшедшее. «Я совсем одичал и почти никуда не выхожу, кроме Майковых да еще одного или двух коротких домов», — сообщал он о себе А. И. Мусину-Пушкину 27 октября 1856 года.

Да, осталась только прежняя дружба с Майковыми, Языковыми, Юнией Дмитриевной Ефремовой. Эта дружба «согревала» художника. В сердце его звучали, как молитва, слова любимого поэта:

О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!

Но пережитая личная драма не убила в Гончарове творческие силы. Он выстрадал ее не только как человек, но и как художник.

Прошла любовь, явилась муза.
И прояснился темный ум.[127]

По замечанию П. Н. Сакулина, претерпев личную неудачу, Гончаров-художник остался в выигрыше: он выстрадал право «артистически» наслаждаться портретом Елизаветы Васильевны; она осталась «дамой его мыслей»; в минуты творчества ее образ будет светить ему из неизвестной дали; ее портрет, в котором отразился «идеал общей женской красоты», поможет ему рисовать другой художественный образ — образ Ольги Ильинской.

До встреч Гончарова с Е. В. Толстой им была почти завершена первая часть романа «Обломов» или, как говорил сам писатель, — «введение, пролог к роману». Образ Ольги Ильинской в этой части еще отсутствовал. Любовь Гончарова к Е. В. Толстой навеяла ему многое для создания этого образа и любовного сюжета романа. «Главная задача романа, его душа —

женщина», — говорил Гончаров. Личные переживания помогли писателю не только создать пленительный образ Ольги Ильинской, но и поэтически глубоко раскрыть ее любовный конфликт с Обломовым.

* * *

24 ноября 1855 года. «Мне удалось, наконец, провести Гончарова в цензора… — отметил в своем дневнике А. В. Никитенко. — Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором. А с другой стороны, это и его спасет от канцеляризма, в котором он погибает».[128]

Этим назначением Гончаров, конечно, был спасен от канцеляризма, но никакого выигрыша для творческой работы переход в цензуру не дал. В одной из своих автобиографий Гончаров указывал, что должность цензора «почти не оставляла ему свободного времени для прочих занятий». Громадные творческие силы, притом в годы расцвета таланта, были отняты цензурой у творца «Обломова». По справке, которую привел в своей книге известный французский исследователь биографии романиста А. Мазон, Гончаров, по должности цензора, прочитал за неполные три года 38 248 страниц рукописей и 3 369 листов печатных изданий. Кроме того, им было написано громадное количество всевозможных цензурных отзывов, многие из которых воспринимаются, за исключением чисто цензурных моментов, как произведения литературно-критической мысли.

Но дело не только в том, что Гончарову как художнику пришлось в течение почти трех лет выдерживать эту лавину служебных дел. Гораздо хуже то, что деятельность в органах цензуры нанесла известный ущерб его общественной репутации. Правда, Гончаров пришел в цензуру, когда она, в связи с общей подготовкой реформ, стала либеральнее. Первоначально деятельность Гончарова в цензуре, несомненно, имела положительное, прогрессивное значение. Он сделал много для того, чтобы нива русской литературы не обратилась в «поле, усеянное костями журналистов». Он сумел отстоять от цензурного запрета новое издание «Записок охотника» и «Муму» в сборнике «Рассказы и повести» Тургенева, второе издание стихотворений Некрасова. Благодаря его содействию было разрешено издание романа Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», вышли в свет роман Писемского «Тысяча душ», драма «Горькая судьбина» и т. д.

В начале цензорской деятельности Гончарова у него не

только сохранились хорошие отношения со многими русскими литераторами, но и завязались новые знакомства. В одном из своих писем к Е. В. Толстой он, между прочим, замечал: «На днях у меня обедает почти вся новейшая литература (не в квартире), а я обедал у литературы вчера, третьего дня и т. д. Мы пока только и делаем, что обедаем, некоторые еще и ужинают. Этот обед — прощальный с литературой». Называя данный им обед «прощальным», Гончаров имел в виду или свой уход в цензуру, или отъезд за границу Тургенева.

Но в условиях самодержавно-крепостнической России в представлении прогрессивно настроенных людей и народа звание цензора не было лестным. В предшествующие годы свирепых цензурных гонений и репрессий цензура вызвала в широких кругах не только презрение, но и ненависть. В цензуре видели душителя всего живого в литературе и печати вообще.

Отрицательное отношение к цензуре высказывали даже люди, благонамеренные по своим политическим взглядам. Так, например, писатель либерального направления А. В. Дружинин, один из близких друзей Гончарова в то время, в своем дневнике записал 2 декабря 1855 года: «Слышал, что по цензуре большие преобразования и что Гончаров поступает в цензора. Одному из первых русских писателей не следовало бы брать должность такого рода. Я не считаю ее позорною, но, во-первых, она отбивает время у литератора, во-вторых, не нравится общественному мнению, а в-третьих… в-третьих, что писателю не следует быть цензором».[129]

Период либерализма в цензуре оказался весьма кратковременным. В 1858–1859 годах, когда в России начала складываться революционная ситуация, реакционные, охранительные тенденции в цензуре вновь усилились.

Осенью 1859 года Добролюбов в своих письмах к друзьям говорил о «свирепствующей цензуре», о «крутом повороте» цензуры «ко времени докрымскому».

Еще ранее (летом 1857 года) Некрасов писал Тургеневу, что цензура стала «несколько поворачивать вспять». Что касается Гончарова, то, по замечанию Некрасова, про него как цензора говорили «гадости». К. Колбасин в одном из своих писем Тургеневу замечал, имея в виду Гончарова, что «японский путешественник с успехом заменит Елагина».[130]

О подобных неблагоприятных мнениях о себе, порою несправедливых, как, например, мнение Колбасина, Гончаров, конечно, знал и болезненно переживал их.

Нелестно говорили о цензуре и цензорах вообще и в дружеском для Гончарова кругу, не стесняясь его присутствия. Об

этом, в частности, свидетельствует письмо Гончарова к П. В. Анненкову от 8 декабря 1858 года: «Третьего дня за ужином у Писемского… Вы сделали общую характеристику цензора: «Цензор — это человек, который позволяет себе самоволие, самоуправство и т. д.», словом — не польстили. Все это сказано было желчно, с озлоблением и было замечено всего более, конечно, мною, потом другими, да чуть ли и не самими Вами, как мне казалось…» Особенно обидело и уязвило Гончарова то, что «ругают наповал звание цензора в присутствии цензора, а последний молчит, как будто заслуживает того». И Гончаров высказывал Анненкову «дружескую просьбу», если речь зайдет о «подобном предмете, не в кругу наших коротких приятелей, а при посторонних людях», воздерживаться от «резких» отзывов о цензорах, так как это может быть отнесено на его счет, что поставит его в «затруднительное положение».

Цензорская деятельность Гончарова неблагоприятно отразилась на отношении к нему передовой русской печати того времени. С очень резким фельетоном против Гончарова выступил Герцен в «Колоколе» («Необыкновенная история о цензоре Гон-чаро из Ши-пан-ху»).[131]

По поводу этого фельетона Гончаров писал А. А. Краевскому: «Хотя в лондонском издании, как слышал, меня царапают… Но этим я не смущаюсь, ибо знаю, что если б я написал чорт знает что — и тогда бы пощады мне никакой не было за одно только мое звание и должность».

Жестоко был осмеян Гончаров как цензор Н. Ф. Щербиной в «Молитве современных русских писателей»:

О ты, кто принял имя слова!
Мы просим твоего покрова:
Избави нас от похвалы
Позорней «Северной Пчелы»
И от цензуры Гончарова.

По верному замечанию французского литературоведа А. Мазона, положение Гончарова в цензуре было фальшиво «вследствие трудности совместить дисциплину и осторожность с либерализмом». Гончаров чувствовал ложность своего положения: цензорская деятельность подрывала его репутацию как прогрессивного писателя и мешала творческой работе. «Вынашивание» «Обломова» слишком затягивалось. Между тем роман уже вполне созрел, «выработался» в воображении

художника — прояснилась его идея и конфликт, определились основные образы. Нужно было только «сосредоточиться», чтобы писать роман. И такая возможность вскоре явилась.

* * *

Летом 1857 года Гончаров уехал лечиться на воды за границу — в Мариенбад..

Гончаров ехал с пониженным, почти тяжелым настроением, — сказывалась и усталость и моральная неудовлетворенность от работы в цензуре; печальный и глубокий след в душе оставила пережитая личная драма. Впереди не было светлых надежд, радостных ожиданий.

И вдруг… свершилась перемена. Прорвалось наружу то, что напряженно и мучительно сдерживалось долгое время, — жажда творить.

Интригуя этой «переменой» своего друга И. И. Льховского, Гончаров писал ему 15 июля: «Узнайте, что я занят, не ошибетесь, если скажете женщиной: да, ей: нужды нет, что мне 45 лет, я сильно занят Ольгою Ильинской (только не графиней). Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с шести до девяти часов, едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару — и к ней. Сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник: он хотя и моложе меня, но неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести. Тогда уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию, или прямо в Париж, не знаю: все будет зависеть от того, овладею я ею или нет. Если овладею, то в одно время приедем и в Петербург: Вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного внимания, с каким я вожусь с нею, или это так, бесцветная, бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее. Но теперь, теперь волнение мое доходит до бешенства: так и в молодости не было со мной… Я счастлив — от девяти часов до трех — чего же больше. Женщина эта — мое же создание, писанное конечно, — ну, теперь угадали, недогадливый, что я сижу за пером?»

Тот же интригующий и радостный мотив звучал и в письме Гончарова к Ю. Д. Ефремовой: «…Я сильно занят здесь одной женщиной, Ольгой Сергеевной Ильинской, и живу, дышу только ею… Эта Ильинская не кто другая, как любовь Обломова, то есть писаная женщина».

Образ Ольги Ильинской, вдруг с такой силой возникший в воображении писателя, по-новому озарил весь творческий замысел романа, внес в него высокую и красивую «поэму любви».

Работая над романом, над прекрасным образом Ольги Ильинской, Гончаров испытывал необычайный прилив жизненных сил. «…Живу, живу, живу, — писал он Ю. Д. Ефремовой 25 июля 1957 года из Мариенбада. — И для меня воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы… Только не любовь, она не воскреснет».

По выражению самого романиста, он буквально «вспыхнул» жаждой творить. Хотелось свою радость высказать всем, всем словами поэта: «Пишу, и сердце не тоскует».[132]

Роман писался с невероятной быстротой. Сам Гончаров был изумлен результатами своего труда. «Странно покажется, — сообщал он из Мариенбада Ю. Д. Ефремовой, — что в месяц мог быть написан почти весь роман: не только странно, даже невозможно, но надо вспомнить, что он созрел у меня в голове в течение многих лет и что мне оставалось почти только записать его; во-вторых, он еще не весь, в-третьих, он требует значительной выработки; в-четвертых, наконец, может быть, я написал кучу вздору, который только годится бросить в огонь… Главное, что требовало спокойствия, уединения и некоторого раздражения, именно главная задача романа, его душа — женщина — уже написана, поэма любви Обломова кончена: удачна ли, нет ли — не мое дело решать, пусть решают Тургенев, Дудышкин, Боткин, Дружинин, Анненков и публика, а я сделал, что мог… Посудите же, мой друг, как слепы и жалки крики и обвинения тех, которые обвиняют меня в лени, и скажите по совести, заслуживаю ли я эти упреки до такой степени, до какой меня ими осыпают. Было два года свободного времени на море, и я написал огромную книгу[133], выдался теперь свободный месяц, и лишь только я дохнул свежим воздухом, я написал книгу. Нет, хотят, чтобы человек пилил дрова, носил воду[134], да еще романы сочинял, романы, то есть, где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии. Если бы это говорил только Краевский, для которого это — дело темное, я бы не жаловался, а то и другие говорят! Варвары!»

Именно в работе над «Обломовым» проявилась наиболее ярко и полно эта особенность Гончарова как художника: долгое вынашивание образов и быстрое осуществление замыслов, когда уже взято в руки перо.

Успех в работе над «Обломовым» пробудил у Гончарова новые творческие надежды и стремления. «Меня тут радует, — писал он И. Льховскому, — не столько надежда на новый успех,

сколько мысль, что я сбуду с души бремя и с плеч обязанность и долг, который считаю за собой. Дай бог! Тогда года через два, если будет возможность, можно приехать вторично, с художником под мышкой…»[135]

* * *

В то время как Гончаров лечился в Мариенбаде, в Париже находились Тургенев, В. Боткин, Фет. Гончаров стремился встретиться с ними. Особенно хотел он увидеть Тургенева.

В письмах из Мариенбада он неоднократно упоминает имя Тургенева. Тургенев еще много раньше был посвящен Гончаровым в замысел и содержание «Обломова». Он настойчиво побуждал романиста писать роман, не бросать работу над ним. «Не хочу и думать, — писал ему Тургенев 11 ноября 1856 года, — чтобы Вы положили свое золотое перо на полку, я готов Вам сказать, как Мирабо Сиэсу: «Le silence de Mr. Gontcharoff est une calamite publique»[136]. Я убежден, что, несмотря на многочисленность цензорских занятий, Вы найдете возможным заниматься Вашим делом, и некоторые слова Ваши, сказанные мне перед отъездом, дают мне повод думать, что не все надежды пропали. Я буду приставать с восклицанием: «Обломова!»

В одном из своих писем к И. Льховскому из-за границы Гончаров, имея в виду Тургенева, говорил: «Когда я писал, мне слышались его понуждения, слова и что я мечтаю о его широких объятиях». И он с радостью поехал со своей рукописью из Мариенбада в Париж, где знал, что найдет Тургенева, В. Боткина и других знакомых ему литераторов.

Проехав по Рейну, Гончаров прибыл в Париж 16 августа. Он узнал, что в гостинице «du Bresil» живет много русских. Среди них были и его друзья. С ними он увиделся на другой день, а на третий и с Тургеневым, читал им свой роман — «необработанный, в глине, в сору, с подмостками, с валяющимися вокруг инструментами, со всякой дрянью. Несмотря на то, Тургенев разверзал объятия за некоторые сцены, за другие с яростью пищал: «Длинно, длинно; а к такой то сцене холодно подошел» — и тому подобное… Я сам в первый раз прочел то, что написал, и узрел, увы! что за обработкой хлопот — несть числа»[137].

По поводу этого чтения «Обломова» Тургенев писал Н. А. Некрасову 9 сентября из Парижа, что Гончаров прочел им своего «Обломова», что есть длинноты, но вещь капитальная и весьма было бы хорошо, если бы можно было приобрести его для «Современника». Далее Тургенев сообщал, что Гончаров уехал в

Дрезден, но что, может быть, они вместе вернутся через Варшаву, советовал Некрасову «не упускать его из виду». Что касается его, то есть Тургенева, то он, мол, уже «запустил несколько слов — все дело будет в деньгах».

Сложилось, однако, иначе: «Обломов» появился не в «Современнике», а в другом журнале.

Окончив роман вчерне, Гончаров не стал долго задерживаться за границей. Он отказался даже от ранее намечавшейся поездки в Швейцарию. После вулканической работы над «Обломовым», громадной затраты творческой энергии у писателя, как это было свойственно его натуре, наступил временный спад настроения. Сама по себе заграничная поездка уже не интересует его. Не возлагает он надежд и на то, что в Петербурге избавится от хлопот, будет снова писать. «Хандра едет со мной», — говорит он.

Несправедливо оценивает он и своего «Обломова». Ему кажется, что «роман далеко не так хорош, как можно было ждать от меня, после прежних трудов», что «он холоден, вял и сильно отзывается задачей». Но эта самооценка писателя, порожденная суровой требовательностью к себе, была ошибочной. Роман «Обломов» явился одним из величайших достижений и образцов русской реалистической литературы.

* * *

Вернувшись в сентябре из-за границы в Петербург, Гончаров, оставаясь цензором, в течение целого года продолжал дописывать и дорабатывать «Обломова», читал его по вечерам в кругу друзей и знакомых. А. В. Никитенко, присутствовавший на одном из этих чтений у Гончарова, отмечал в своем дневнике 10 сентября 1858 года, что новый роман Гончарова на всех слушавших произвел сильное впечатление.

Чтение это, по свидетельству самого Гончарова, продолжалось «дня три сряду», ему «рукоплескали», но он «уже был холоден».

В литературных кругах с нетерпением ждали выхода в свет романа «Обломов». Заполучить роман для печатания стремились редакторы нескольких журналов. Еще в конце 1855 года, когда, по сути дела, была написана лишь первая часть романа, издатель журнала «Русский вестник» Катков, тогда еще либерально настроенный, добивался согласия Гончарова печатать «Обломова». Переписка между Гончаровым и Катковым по этому поводу продолжалась и в 1857 году. Гончаров предлагал Каткову опубликовать первую часть романа «с возможностью когда-нибудь

продолжения». Но тот, видимо, не принял это предложение. Осенью 1857 года, когда Катков узнал, что роман вчерне закончен, он через В. П. Безобразова пытался снова вступить с Гончаровым в переговоры. Однако писатель уклонился от этого.

Не отдал он также своего романа и «Библиотеке для чтения». Некрасов же не счел возможным взять роман для «Современника». Цензорская должность Гончарова, писал Некрасов Тургеневу, «едва ли может усилить интерес романа в глазах публики… Сказать между нами, — продолжал Некрасов, — это была одна из главных причин, почему я не гнался за этим романом, да и вообще молодому поколению немного может дать Гончаров, хоть и не сомневаюсь, что роман будет хорош»[138].

Следует сказать, что о романе Некрасов судил, не читая его. Ошибочность его мнения вскоре стала очевидна.

При этих обстоятельствах Гончаров нашел наиболее уместным предоставить право печатания «Обломова» «Отечественным запискам» Краевского, для которых роман первоначально (1849 г.) и намечался. В письме к брату Николаю Александровичу Гончаров писал, что «выгодно продал» роман Краевскому и что сумма, которую он взял (десять тысяч серебром), могла бы в Симбирске, и особенно в прежнее время, «счесться капиталом, а в наше время, и притом здесь, не составляет важной суммы».

В конце 1858 года Гончаров готовил «Обломова» в печать. Но работа над романом продолжалась и в корректуре. Имея в виду корректуру первой части «Обломова», он писал И. Льховскому: «Недавно я сел перечитать ее и пришел в ужас. За десять лет хуже, слабее, бледнее я ничего не читал первой половины первой части: это ужасно! Я несколько дней сряду лопатами выгребал навоз, и всё еще много!» Конечно, это была не легкая работа! «Кругом я обложен корректурами, как катаплазмами, которые так и тянут все здоровые соки…» — жаловался он В. П. Боткину.

«Обломов» был опубликован в первой — четвертой книгах журнала «Отечественные записки» за 1859 год и в том же году вышел отдельным изданием.

Глава десятая
«Обломов»

Выход «Обломова» был воспринят русскими людьми как важнейшее общественное событие. «В типе Обломова и во всей этой обломовщине, — писал Добролюбов в своей знаменитой статье «Что такое обломовщина?», — мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, «знамение времени»[139].

Эти слова Добролюбова заключали в себе очень глубокий смысл. Если роман Гончарова являлся «произведением русской жизни» и «знамением времени» — значит, он отвечал главным интересам и стремлениям современности, значит, он многое объяснял в русской общественной жизни.

Передовая русская литература того времени в лице таких писателей, как Щедрин, Некрасов, Островский, Тургенев, Писемский, произносила беспощадный приговор крепостничеству. К их голосу присоединил свой голос и Гончаров. Он выступил как страстный обличитель крепостничества, «всеобщего застоя», косности, обломовщины.

Однако когда Гончаров писал «Обломова», он был далек от каких-либо революционных намерений. Говоря о себе, что в сороковых-пятидесятых годах и он проникся «новыми веяниями», Гончаров имел в виду идеалы прогресса, гуманизма и борьбы с крепостничеством, которые, по его мнению, должны были осуществиться в рамках существующего строя. Гончаров верил «в светлую перспективу будущего», и это воодушевляло его как художника, вселяло в него надежду, что ликвидация крепостнического уклада послужит делу преобразования всей русской жизни. Это и определило идейный пафос романа.

Так как борьба с крепостничеством была тогда основным жизненным интересом русского народа, творчество писателей, посвятивших себя этой борьбе, не могло не быть в большей или меньшей степени народным по своей направленности и сущности. В творчестве Гончарова, так же как и в творчестве Тургенева, Островского и других, нашли свое отражение чаяния и интересы русского народа. Это позволяет говорить о существенных чертах народности в творчестве Гончарова.

* * *

Гончаров страстно стремился писать «правду жизни». По глубокому его убеждению «правда жизни», верность изображаемой действительности, «нужны художнику», чтобы служить «целям жизни», то есть прогрессивным идеалам. Все образы и картины своих произведений он черпал из действительности. Образ Обломова и обломовщины возник и сложился у Гончарова в результате вдумчивого, зоркого и длительного наблюдения над жизненными явлениями.

Известное «представление об обломовщине», по словам самого писателя, «зародилось» у него еще в детстве. В дальнейшем — в годы пребывания на родине и службы в симбирском губернском управлении, а также в Петербурге — это представление об обломовщине о ее социальной сущности и формах проявления намного расширилось и обогатилось. Гончаров увидел, что обломовщина является тяжким общественным пороком. И уже в сороковых годах романист поставил себе цель — изобразить «лень и апатию во всей ее широте и закоренелости», показать обломовщину как «стихийную черту», характерную для крепостнического общества.

Чтобы нарисовать это зло во всей его полноте и сущности, требовалось широкое полотно. Ни один русский роман не отображал такого большого периода жизни, как «Обломов». А. Г. Цейтлин установил, что действие «Обломова» охватывает с промежутками период времени с 1819 года (когда Илюше Обломову было только семь лет) по 1856 год. В романе отражена целая жизнь человека и вместе с тем целая эпоха русской жизни.

* * *

Великие художники-реалисты в центр своего внимания всегда ставили человека и изображали его в живой связи с окружающей его средой. Характер своего героя они прежде всего стремились объяснить условиями воспитания. Гоголь, например, имея в виду Тентетникова из «Мертвых душ», писал: «Родятся ли уже такие характеры или потом образуются как порождение печальных обстоятельств, сурово обстанавливающих человека? Вместо ответа на это, лучше рассказать историю его воспитания и детства».

По мнению Гончарова, характеры определяются, «создаются» средой, окружающей человека, обстоятельствами, в которых он воспитывается и развивается. В письме к С. А. Никитенко от 25 февраля 1873 года Гончаров писал: «Я старался показать в

«Обломове», как и отчего у нас люди превращаются прежде времени в …кисель — климат, среда, протяжение — захолустья, дремотная жизнь — и еще частные, индивидуальные у каждого обстоятельства».

Илью Обломова «превратили в кисель» прежде всего условия, в которых он воспитывался в детстве. Рассказу об этом Гончаров посвятил первую часть романа — «Сон Обломова».

Обломовка — вот та почва, на которой вырастала и коренилась обломовщина, вот та колыбель, которая лелеяла и уродовала тело и душу ребенка, та жизненная стихия, которая определила его судьбу, обрекла на никчемное существование и жалкую гибель.

Но что же представляет собою эта Обломовка, которая приобрела столь символическое значение в русской истории?

Обломовка — это застывшая в своей неподвижности и патриархальной отсталости дворянско-поместная усадьба дореформенной поры. Источником существования обломовцев является труд крепостных крестьян.

Обломовка живет по законам примитивного натурального хозяйства. Ленин подчеркивал, что в силу господства натурального хозяйства, «крепостное поместье должно было представлять из себя самодовлеющее, замкнутое целое, находящееся в очень-слабой связи с остальным миром»[140]. Таким поместьем как раз и была Обломовка. Ее обитатели оторваны от внешнего мира: «Интересы их, — говорится в романе, — были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими». Обломовцы «глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов», и не пытались «открыть какие-нибудь новые источники производительности земель». Все в Обломовке, как и в адуевских Грачах, «живет повторениями».

Все силы обломовцев направлены на удовлетворение своих потребностей. В Обломовке «забота о пище была первая и главная жизненная забота». Даже сон был чем-то вроде всеобщей трудовой повинности. После обеда в Обломовке всегда наступал «всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти». И даже если приходилось угорать, так угорали все вместе.

Стихия бытия обломовцев — косность. Они неотступно придерживаются старых традиций и обычаев, завещанных им предками. В этом пафос их жизни. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а сегодня — на завтра. Духовный мир

обломовцев беден, ограничен тесными рамками их быта. Они никогда не задавались вопросом: «Зачем дана жизнь?» Несмотря ни на что, «они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора», цвести здоровьем и весельем. Жизнь их течет, «как покойная река» — «монотонным узором». В Обломовке «все дышало первобытной ленью, простотою нравов».

Пуще огня берегут помещики своих детей от труда, от какого-либо намека на труд. Ведь они сами «сносили труд, как наказание». У каждого из них «Захар да еще 300 Захаров». Им-то и спать Захар помогает, и даже жениться, как выразился один из персонажей романа — Тарантьев.

Гончаров с изумительной художественной верностью и полнотой показал крепостнический характер Обломовки. Крепостническая среда и крепостнические нравы, воспитавшие Обломова, предстают в романе во всей натуральности и наглядности. Картину, нарисованную Гончаровым, Ленин считал глубоко типичной для дореформенного периода. В ряде своих работ он для характеристики крепостного хозяйства использовал гончаровский образ Обломовки.

С присущим великим художникам-реалистам даром Гончаров за видимостью явления сумел разглядеть и показать его сущность. В изображении Гончарова Обломовка предстает в «невозмутимом спокойствии и тишине», но за внешне безмятежным, идиллическим образом жизни обломовцев скрывается неблагополучие, Глубокий кризис всей крепостнической системы.

Это прежде всего находит свое выражение в застое, неподвижности жизни не только в поместье Обломовых, но и в их деревнях. «Тихо и сонно все в деревне… Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях, только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве, палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом».

«Ну, разве так можно дальше!» — как бы слышится укоряющий голос романиста.

Когда-то Обломовка была крупным поместьем, но потом «бог знает отчего захирела и измельчала». Этот факт позволяет писателю еще сильнее подчеркнуть невозможность сохранения крепостного хозяйства.

В одной из работ Ленин, характеризуя предреформенную обстановку в России, указывал, что сложившиеся тогда обстоятельства требовали отмены тех учреждений и условий, которые «задерживают преобразование патриархальной, застывшей в своей неподвижности, забитости и оброшенности

обломовки…»[141] Социальную действительность первой половины XIX века России нельзя правильно понять, если упустить тот факт, что Россия уже тогда вступила на путь капиталистического развития, что русская экономика к тому времени уже оказалась втянутой так или иначе в мировое хозяйство, в связь с мировым рынком.

Патриархальная безмятежность обломовцев начинала нарушаться. Жизнь «трогала» и их. Новое вторгалось и в замкнутую семейную жизнь поместного дворянства.

Старые обломовцы начинают, например, понимать «выгоду просвещения», но только внешнюю выгоду. Они видят, что благодаря учению все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги. Вот почему родители Ильи Обломова решают тоже «уловить» для своего сынка «некоторые блестящие преимущества», то есть бюрократическую карьеру. Однако они стремятся всячески «обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них». «Учиться слегка, не до изнурения души и тела», а так, чтобы «только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат».

От природы Илюша Обломов был живым и любознательным ребенком, но в силу барского воспитания его «ищущие проявления силы обратились внутрь и никли, увядая». Мальчик приучался смотреть на все окружающее по-обломовски. Его детский ум пропитался психологией крепостнической лени и барства. И он решил, «что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые». Он видел, как в Обломовке все сбывали работу с плеч, как иго, и с детства стал пренебрежительно относиться ко всякому труду и в конце концов «выгнал труд» из своей жизни.

Так по своему образу и подобию воспитала патриархальная, крепостническая среда Илью Обломова. «Ум и сердце ребенка, — подчеркивает романист, — исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?»

Уменье показывать развитие человеческой психики, раскрывать внутреннюю психологическую жизнь человека — одна из важнейших задач реализма в искусстве. В «Сне Обломова» Гончаров блестяще решил еще более сложную и трудную задачу — проследил начало формирования личности человека, «развитие умственного зерна в детском мозгу», рождение в душе ребенка «первых понятий и впечатлений». По словам

Добролюбова, Гончаров явился мастером «необычайно тонкого и глубокого психологического анализа».

* * *

Воспитание, полученное Ильей Обломовым, обусловило его характер, его нравственные понятия, отразилось на всем облике, на всей его судьбе. «Началось с неумения одевать чулки, а кончилось — неумением жить» — эти слова в романе, хотя и высказаны в мягком юмористическом тоне, имеют острый обличительный смысл.

Обломов ничего не сумел сделать полезного ни для общества, ни для себя. Он вообще ничего не умеет делать, кроме разве того, что целыми днями лежать на диване. «Я ничего не умею делать, я барин», — без какого-либо сожаления или угрызения совести, даже с известной гордостью за себя, говорит он.

Обломов не замечает, что он уже давно стал рабом апатии и лени. «…Гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — говорит Добролюбов об Обломове, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу»[142].

Апатия, неподвижность, лень, «нравственное рабство» отражены во всем внешнем облике Обломова, составляют типические, характерные черты его портрета. И все же «жизнь тревожит» Обломова. Тревожит его и друг — Андрей Штольц. Он предостерегает Илью от гибели, чертит перед ним перспективу возрождения и светлого будущего.

В пору бездейственного лежания Обломова на диване Обломовка, как это показал романист, во многом изменилась. И на нее «упали лучи солнца». Капитализм проникал всюду. «Медвежьи углы и захолустья», по замечанию Ленина, становились «антикварной редкостью».

Обломов чувствует драматизм положения. На миг его увлекает перспектива обновления: «Итти вперед — это значит вдруг, сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума, вместе с пылью и паутиной со стен смести паутину с глаз и прозреть». Но боязнь борьбы, жизни оказывается у Обломова сильнее. Обломов колеблется, мучается, думая, какое принять решение. Глубоко драматичной является история

взаимоотношений Обломова с Ольгой Ильинской.

В Ольге Обломов встретил незаурядную, умную и чуткую девушку, полюбившую его со всей силой и красотой первого чувства. Любовь захватила и Обломова.

Как и у всех романтиков адуевско-обломовского типа, с любовью к Ольге у Обломова «мгновенно явилась цель жизни». Обломов любовью хотел заменить деятельность: «Любить — долг, служба», — говорит он. Он помолодел душою, стал мечтать о счастье с Ольгой.

Но обломовщина победила чувство любви: Обломов испугался новых волнений и тревог, ломки привычного уклада жизни. Чтобы спасти себя от всех этих бед, женитьбы, Обломов лицемерно говорит Ольге: «…Вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о чем мечтали…»

И хотя разрыв с Ольгой означал, что надежды Обломова на возрождение гибли, он воспринял его со вздохом облегчения. Обломова опять потянуло к прежней покойной, ленивой и косной жизни, и он находит для себя окончательное прибежище, своего рода Обломовку, хотя и не столь благодатную, как прежде, в доме мещанки Пшеницыной на Выборгской стороне. «Помилуй, здесь та же Обломовка, только гаже», — говорит Штольц Илье.

Но Обломов и этому рад, потому что «Выборгская Обломовка» — дом Пшеницыной заменила ему крепостную усадьбу. «Как там отец его, дед, дети, внучата и гости сидели или лежали в ленивом покое, зная, что есть в доме вечно ходящее около них и промышляющее око, и непокладные руки, которые обошьют их, покормят, напоят, оденут и обуют и спать положат, а при смерти закроют им глаза, так и тут Обломов, сидя и не трогаясь с дивана, видел, что движется что-то живое и проворное в его пользу и что не взойдет завтра солнце, застелют небо вихри, понесется бурный ветер из концов в концы вселенной, а суп и жаркое явятся у него на столе, а белье его будет чисто и свежо…» Обломову по душе дом Пшеницыной: здесь все отвечает его натуре и его характеру, здесь ему никто не мешает вечно лежать, спать, никто уже не пробудит от сна жизни, в который он погружается все глубже.

Вся жизнь Обломова была медленным, но неуклонным упадком, постепенным оскудением духовных и нравственных сил. «Нет, жизнь моя началась с погасания», — говорит Обломов Штольцу.

Ольга Ильинская пыталась пробудить Обломова к деятельности, к жизни, полезной для общества. Но этого ей добиться не удалось. Глубоко страдая, Ольга спрашивает Обломова: «Отчего погибло все? Кто проклял тебя, Илья? Что

сгубило тебя? Нет имени этому злу…» — «Есть, — сказал он чуть слышно… — Обломовщина!» (курсив мой. — А. Р.) Так в конце концов сам Обломов находит слово для обозначения того зла, которое сгубило его.

* * *

«История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, — писал Добролюбов, — не бог весть какая важная история». Но при этом он замечал, что в этой «не бог весть какой важной», даже тривиальной истории художник увидел глубокое жизненное содержание.

Казалось бы, можно было ограничиться тем, что показать Обломова как ничтожного и пошлого человека. Однако это привело бы к схематическому изображению образа. Гончаров же стремился раскрыть явление во всей его сложности.

Добролюбов считал характерной чертой Гончарова как художника то, что «он не поражается одной стороной предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон (курсив мой. — А. Р.), выжидает совершения всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной переработке».

Нетрудно видеть, что такой метод «поэтического созерцания» не лишен диалектики и поэтому всегда плодотворен в искусстве.

Раскрывая сущность реализма Гончарова, Добролюбов писал: «В этом уменьи охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его — заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он особенно отличается среди современных русских писателей».

Характер Обломова раскрыт в романе со всеми присущими ему противоречиями. Обломов — отрицательный тип и, как указывал Добролюбов, «противен в своей ничтожности». Но в нем имеются и положительные человеческие черты. Природа нисколько не обидела Обломова способностью мыслить и чувствовать. «Обломов, — подчеркивал Добролюбов, — не тупая апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий».

В романе не раз говорится о доброте, мягкосердечии, совестливости Обломова, его «сердце, как колодезь, глубоко». Восхищенный душевными качествами друга, Штольц восклицает: «Нет сердца чище, светлее и проще!»

На жизненной стезе Обломова были подъемы и взлеты.

Когда-то, в молодости, и он пережил свою эпоху восторженных порывов и речей. Штольц вначале увлекал за собой Илью, и они «оба волновались, плакали, торжественно обещали друг другу итти разумною и светлою дорогой», — словом, давали свою «аннибалову клятву». Тогда Обломов мечтал «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников». Да и впоследствии, прикованный ленью к дивану, он «не чужд всеобщих человеческих скорбей, ему доступны наслаждения высоких помыслов». Но потом Обломов «отвязал крылья». И Гончаров показывает, как хорошее в Обломове гибнет в борьбе с дурным. Все прекрасные порывы его ни в какой мере не осуществляются и остаются только красивыми фразами. Он ограничивается тем, что строит планы на будущее…

Романтика Обломова глубоко реакционна. Его заветная мечта — иметь «райское, желанное житье», наслаждаться жизнью и не знать труда.

Ему неприятны жалобы управляющего на неполадки и беды в обломовском хозяйстве. «Ах, трогает жизнь!» — стонет Обломов. Ему хотелось бы как-либо избежать этих невзгод, хотя бы с помощью иллюзии, что все хорошо. Эти помыслы и желания Обломова напоминают собой «экономический», так сказать, хозяйственный «романтизм» гоголевского помещика. «И без того случается нам, — сетует он, — часто видеть, что вовсе неутешительно. Пусть лучше позабудемся мы! Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?..»

Так же думает и поступает Обломов.

«…Любопытно бы знать… отчего я… такой», — допрашивает себя Обломов. В романе дан ответ на этот вопрос. Обломовщина — вот причина всех бед и несчастий Обломова: «Итти вперед, или остаться?» — этот обломовский вопрос для Ильи был глубже гамлетовского. Но как он ни вслушивался «в отчаянное воззвание разума», вступить на спасительный путь не сумел. В отчаянии Обломов восклицает: «Прощай, поэтический идеал жизни!»

В переживаниях Обломова поистине много драматического: «…Восстанут забытые воспоминания, неисполненные мечты, если в совести зашевелятся упреки за прожитую так, а не иначе, жизнь — он спит непокойно, просыпается, вскакивает с постели, иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлом, навсегда угасшем идеале жизни». Гончаров, как и Гоголь и другие русские писатели, умел, говоря словами Белинского, и в «пошлости жизни найти трагическое».

Всю безнадежность бытия Обломова оттеняют в романе хотя бы такие строки:

«Настала одна из ясных сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, как вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью… Он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало (курсив мой. — А. Р.), может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как золото, в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором».

Эту важную мысль романист повторил — устами Штольца — в конце романа. В Обломове, говорит Штольц Ольге, «есть и ума не меньше других, только зарыт, задавлен он всякой дрянью и заснул в праздности».

* * *

Судьба Обломова была типичной для многих людей из круга дворянской интеллигенции сороковых годов. «В лице Обломова, — писал Горький, — пред нами правдивейшее изображение дворянства обленившегося…»[143]

В своей статье об «Обломове» Добролюбов указывал, что в настоящем своем положении Обломов «не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не понимал смысла жизни». В этих чертах Обломова Добролюбов увидел повод к сравнению его с прежними типами в русской литературе. «Давно уже замечено, — писал Добролюбов, — что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле, — раскройте, например, «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват?», «Рудина» или «Лишнего человека», или «Гамлета Щигровского уезда», — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова».

Несомненно, у Обломова есть несколько общих черт с так называемыми «лишними людьми», которые также испытывали на себе давление «гнусной обломовщины». Но наряду со сходством между Обломовым и «лишними людьми» есть существенные различия. Это ясно видел и понимал Гончаров. Имея в виду как раз героя «Кто виноват?» Герцена — Бельтова, Печорина и других, он указывал: «У них горизонт был широк, натура богата, а пищи

не было, и они затерялись…»[144]. То были мятущиеся натуры, они носили в себе гордое чувство независимости и свободы, смело выражали протест против фальшивой морали светского общества… Как ни эгоистичны были они порой в своих стремлениях и поступках, они поднимались до осуждения крепостничества. Обломов же до конца остается крепостником. Крестьяне, полагает он, были от века и будут собственностью помещиков. Строя планы улучшения хозяйства, он вовсе не намерен отказаться от крепостного оброка Бельтов, Печорин, Рудин, Лаврецкий и другие «лишние люди» до конца своих дней не мирились с окружающей их жизнью, тогда как большая часть поместного дворянства вела обломовское существование.

Добролюбов убедительно показал, как в ходе жизни, исторического развития «лишние люди» при определенных условиях разделяли судьбу Обломова, становились обломовцами.

Добролюбов не отрицал того, что в прошлом люди типа Бельтова — Рудина сыграли известную прогрессивную роль. «Среди томительной и тлетворной духоты и засухи», как охарактеризовал двадцатые-тридцатые годы в России Белинский, всякое независимое и зовущее вперед слово было полезным для общества и являлось почти подвигом. Но жизнь не стоит на месте, а непрерывно развивается и изменяется. И то, что считалось добродетелью в «лишних людях» (возвышенные слова и призывы), со временем, в пятидесятых годах, когда становилась ясной задача «что делать», когда лучшие люди России вступили на путь решительной борьбы с крепостничеством и либеральными иллюзиями, стало пустой фразой, помехой реальному делу.

По свидетельству критика, в тогдашней действительности еще встречались люди, представлявшие как бы сколок с прежних героев. Только в общественном сознании они более и более превращались в Обломова. Что превращение это уже началось, замечал Добролюбов, доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым.

Именно такова была эволюция «лишнего человека» в канун реформы, и это убедительно отобразил Гончаров. Критик особенно ставил в заслугу романисту низведение «лишнего человека» с «красивого пьедестала».

* * *

В одной из своих работ Ленин, имея в виду Обломова, говорил: «Был такой тип русской жизни…»[145] С точки зрения Добролюбова, Обломов — это «живой, современный русский тип,

отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью» (курсив мой. — А. Р.). Роман Гончарова «Обломов», по мнению критика, «существенный шаг вперед в истории нашей литературы».

Сильнейшая черта гончаровского реалистического творчества выразилась в подходе к изображению действительности: художник не оставляет явления, на которое однажды бросил свой взгляд, не проследив его до конца, не отыскав его причин, не поняв связи его со всеми окружающими явлениями. Он стремится, как отмечал Добролюбов, «случайный образ, мелькнувший пред ним, возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение». В результате, замечает критик, постепенно в романе «перед вами открывается не только внешняя форма (то есть свойство Гончарова изображать явление во всех его мельчайших подробностях. — А. Р.), но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета».

Можно считать, что, высказав это, Добролюбов проник в тайну, в сущность и форму процесса художественного обобщения, типизации у Гончарова.

Для того чтобы образ был возведен в тип, нужны особые условия. В своей статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров писал: «…Если образцы типичны, — они непременно отражают на себе — крупнее или мельче — и эпоху, в которой живут, оттого они и типичны, то есть на них отразятся, как в зеркале, и явления общественной жизни, и нравы, и быт».

Это, конечно, первое и главное условие, определяющее природу типичного в искусстве.

Гончаров говорит, что художник, изображая действительность, не должен далеко забегать вперед. Ему следует изображать только то, что уже «отлилось в формы». В художественное произведение, утверждал он, входит только то, что входит в «капитал», в «будущую основу» жизни.

Гончаров, как видно из сказанного, чересчур ставил художника в зависимость от непосредственной действительности. В этом отношении Щедрин шел дальше Гончарова. Он предлагал изображать людей и их поступки, мысли, не только как они есть, но и какими бы они стали при определенных условиях.

Посмотрим на особенности типизации у Гончарова. В Обломове прежде всего бросаются в глаза такие физические признаки: «среднего роста», «приятной наружности», «глаза темносерые», «цвет лица… безразличный», «обрюзг не по летам», «пухлые руки».

Далее художник замечает, что это был человек «с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах

лица». Это уже особенности внутреннего, психологического характера.

Мгновениями Обломов бывает по-своему одухотворен: «мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности».

Фиксируя свои наблюдения над личностью героя и окружающей его обстановкой, художник, как бы делая новое открытие для себя, замечает, что образ Обломова — это «ленивый образ».

Так раскрывается внутренняя сущность Обломова.

Если иногда у Обломова и появлялась тревога, то обычно разрешалась вздохом, «замирала в апатии или в дремоте».

Художник с каждым штрихом углубляет портрет Обломова, ставит Обломова в различные положения, его образ мало-помалу «вбирает в себя черты психологии русского человека», зараженного обломовщиной. Словом, Обломов предстает перед нами как глубоко типичный образ, в котором все детали художественно необходимы, создают впечатление полного правдоподобия.

Индивидуальные черты внешности и характера Обломова под пером романиста органически сливаются с типическими, образуя нечто нераздельное. В результате достигается впечатление, что именно вот таким и по внешности и по характеру должен быть этот человек.

Рисуя характер, художник заставляет как бы сливаться с персонажем и вещи («беспечность переходила в позу всего тела, даже в складки шлафрока», или: халат Обломова «как послушный раб покоряется самомалейшему движению тела»).

Гончаров очень подробно, даже скрупулезно изображает обстановку жизни и быта героя, — «всю, говоря словами Гоголя, страшную, потрясающую тину мелочей», которая опутывает людей. Именно в «Обломове» эта черта таланта Гончарова, бесспорно, унаследованная от Гоголя, получила свое полное и своеобразное выражение. Пожалуй, никто тогда из русских и западных писателей не умел эти изображения мелочей быта, деталей обстановки так «пропитывать» духом живущего среди них человека, так сливать в нечто единое целое человека и окружающий его материальный, так сказать, «вещный», микромир, как делал это автор «Обломова».

Уменье раскрывать психологию героя не только посредством анализа его душевных переживаний, но и через изображение повседневной обстановки, предметов и вещей, среди которых

протекает бытие героя, — одна из коренных и замечательных особенностей художественного мастерства Гончарова.

* * *

Характерные черты обломовщины воплощены художником не только в образе Обломова, но и в фигуре Захара. Несмотря на то, что Обломов — барин, а Захар — его крепостной слуга, они сродни друг другу. Оба они, барин и раб, выросли на одной и той же почве, пропитались одними и теми же соками, испытывали на себе «обаяние обломовской атмосферы, образа жизни».

В обоих этих образах с исчерпывающей полнотой показан кризис, распад патриархально-крепостнического уклада жизни, быта и нравов.

Гончаров стремился показать, что тлетворное влияние крепостного права сказывалось не только на поместном дворянстве, но и на духовном облике и образе жизни других слоев общества. В своих произведениях (более всего в «Обрыве») он осудил, например, «аристократическую обломовщину» — уродливые обломовские нравы высших аристократических кругов. Заражала обломовщина косностью, апатией, ленью, нравственным рабством и слуг — людей крепостной дворни. Сопоставляя фигуры Обломова и Захара, романист проводит мысль, что судьбы этих людей неразрывны, жизнь одного из них невозможна и немыслима без другого. «Старинная связь, — говорится в романе, — была неистребима между ними». Они обречены быть навеки вместе, как рак-отшельник и улитка. Понятие о своем праве владеть и распоряжаться Захаром, как своей собственностью, как вещью, так же неистребимо в Обломове, как неистребимо и в Захаре его нравственное рабство. Хотя Захар и злится на барина за вечные упреки в лени и нерадивости, ворчит на его капризы, но про себя все это он «уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права». Без этих капризов и упреков он не чувствовал бы над собой барина.

У Захара была тоже своя мечта, свой «романтизм». «Захар любил Обломовку, как кошка свой чердак…» Он не мог забыть «барского широкого и покойного быта в глуши деревни», «отжившего величия», своей ливреи, в которой для него воплотилось все достоинство старого дома Обломовых. Если бы не эти воспоминания о былом, — «ничто не воскрешало молодости его».

Захар, по словам романиста, принадлежал двум эпохам, и обе

положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству «безграничная преданность к дому Обломовых», а от другой, позднейшей, — определенные пороки. «Страстно преданный барину», Захар редкий день не солжет ему в чем-либо. Он любит и выпить, и бегать к куме подозрительного свойства, всегда норовит «усчитать» у барина гривенник. Тоска охватывает его, если барин съедает все. Он любит сплетничать, распускать про барина какую-нибудь небывальщину. Неопрятен. Неловок. Не дай бог, если воспламенится усердием угодить барину: бедам и убыткам нет конца. Но, несмотря на это, все-таки выходило, что он был глубоко преданный барину слуга. Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая это подвигом и поступая «без всяких умозрений».

Несмотря на всю наружную угрюмость и дикость, Захар, как показывает художник, «был довольно мягкого и доброго сердца».

Это уменье художника видеть глубокие внутренние противоречия в характерах даже таких ничтожных, или, как принято было в то время говорить, «пошлых» существ — одна из замечательных и высоко реалистических черт гончаровского художественного таланта.

Глубоко чувствуя правду жизненных явлений, всю сложность и противоречивость человеческих отношений и психологии, романист не только сближает типы Обломова и Захара, но и противопоставляет иной раз их друг другу. Это позволяет ему еще глубже раскрыть сущность обломовщины, показать, насколько и Обломов и Захар — оба одинаково безнадежно погрязли в лени, апатии и бескультурье. Превосходно это изображено в следующей сцене: «Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел на окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! Ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет». Обломов прикрывает свое ничтожество, апатию и лень возвышенными романтическими фразами и мечтами. Захар представлен в романе в своей прозаической наготе. Но сущность их одинакова.

Захар необходим в романе, без него картина обломовщины была бы неполна. Захар, как и Обломов, — типичный образ дореформенной жизни.

* * *

Наряду с изображением отрицательных, «противных», по

выражению Гоголя, типов, русская реалистическая литература стремилась создать положительные образы героев. Так, Гоголь, подвергая в «Мертвых душах» беспощадному осуждению и критике «гнусную действительность», вместе с тем стремился показать величие русского народа. «…Может быть, в сей же самой повести, — писал он, — почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, прийдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения».

Гоголь считал, что счастлив будет писатель, который создаст образы и характеры, являющие «высокое достоинство человека». «Мертвые души» Гоголя проникнуты большой любовью к родине, сознанием громадной силы, скрытой в народе, верой в светлое его будущее. Гоголь увидел тщетность своего намерения найти образы положительных героев в среде помещиков-крепостников. Попытка его во второй части «Мертвых душ» противопоставить «небокоптителям» «благородного помещика»[146] Костанжогло оказалась несостоятельной.

Героический образ Тараса Бульбы подтверждает тот факт, что подлинными героями в жизни и литературе могут быть люди из народа или сам народ, как собирательный образ.

Стремление создать образы положительных героев мы находим и у Гончарова. Обломову и Захару в романе «Обломов» противопоставлены Ольга и Штольц, причем в ряде моментов Ольга противопоставлена и Штольцу и выражает более высокий и положительный идеал, нежели Штольц.

Вероятно, образ Штольца возник у Гончарова раньше, чем образ Ольги. По мнению критика А. В. Дружинина, который был близок Гончарову и с которым, видимо, Гончаров делился своими замыслами, образ Ольги в ходе работы над романом несколько оттеснил собою Штольца.

«Андрей Штольц исчез перед нею, как исчезает хороший, но обыкновенный муж перед своей блистательно одаренной супругою»[147].

Штольц резко противопоставлен в романе Обломову. Гончаров сделал это для всестороннего «уяснения Обломова и обломовщины» и для показа Штольца, как «представителя труда, знания, энергии, словом — силы». Обломова и Штольца связывает дружба, за которой скрывается, однако, глубокий конфликт. Они как бы олицетворяют собою столкновение двух социальных стихий: крепостнической обломовщины и буржуазной деловитости. Энергичный, предприимчивый и деловитый Штольц

— полная противоположность ленивому и апатичному Обломову. Даже внешний его облик представляет собою полный контраст с Обломовым. Штольц, по словам романиста, «весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь».

Гончаров рисует Штольца гармонически цельным человеком. «Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа». В Штольце нет той душевной сухости, какой отличался дядюшка Адуев: буржуазную деловитость и практичность он сочетает с романтичностью, способностью тонко и красиво чувствовать, любить.

Однако, несмотря на то, что романист наделил своего героя этими достоинствами и изобразил его спасителем и учителем Обломова в жизни, образ Штольца явно не удался художнику. Впоследствии сам Гончаров признавал, что образ Штольца «слаб, бледен, из него слишком голо выглядывает идея», «не знаешь, откуда и зачем он».

В самом деле, идеальные черты в Штольце только декларированы автором, они не получили убедительного художественного воплощения.

В чем же главная причина того, что образ Штольца оказался слабым, нереалистичным?

Стремясь показать в романе дельца буржуазной складки, Гончаров, по замечанию Добролюбова, отдал дань своему времени. Все тогда только и говорили, что надо «дело делать». Но «Что делать?» — на этот вопрос отвечали по-разному. По-своему ответил на него в «Обломове» и Гончаров. Внимательно наблюдая русскую дореформенную действительность, он увидел, что в ней наметились тенденции к буржуазному развитию. Эти тенденции Гончаров пытался отобразить в личности и деятельности Штольца.

Штольц развивает идеи капиталистического прогресса в сельском хозяйстве. Ленин, касаясь развития капитализма в земледелии, писал: «…Новая организация хозяйства требует и от хозяина предприимчивости, знания людей и уменья обращаться с ними, знания работы и ее меры, знакомства с технической и коммерческой стороной земледелия, — т. е. таких качеств, которых не было и быть не могло у Обломовых крепостной или кабальной деревни»[148]. Именно эти черты и характеризуют деятельность Штольца в Обломовке. О пореформенной русской буржуазии Ленин говорил, что ее цель состояла в том, чтобы и землю превратить в предмет «торгового оборота», разрушить крепостнические «привязанности крестьянина к земле»[149]. Как

раз этого добивается и Штольц. Он советует Обломову: «Лучше бы дать им паспорты, да и пустить на все четыре стороны… Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдет; а если ему невыгодно, то и тебе не выгодно: зачем его держать?»

Стремление русской буржуазии заменить барщину, отработочную систему хозяйства вольнонаемным трудом имело, безусловно, прогрессивное значение и было одним из тех предвестников распадения старого, крепостного режима, о которых говорил Ленин.

Бесспорно, что такие буржуазные дельцы, как Штольц, не только были, но и быстро размножались в те времена в России. Поэтому Гончаров был верен действительности, когда задумал ввести в роман фигуру Штольца. Просчет же художника и известная узость его общественных воззрений выразились в том, что он сделал попытки искать в буржуазном дельце идеальные человеческие черты. Гончаров невольно приглушил критику теневых сторон в его облике.

Это в какой-то мере и обеднило реалистическую значимость образа. В ряде моментов Штольц выглядит в романе фальшивым и надуманным. Добролюбов вовсе отрицал реальность этого лица.

Справедливо говоря, что «литература не может забегать слишком далеко вперед жизни», Добролюбов, однако, был не прав, утверждая, что «Штольцев, людей с цельным, деятельным характером… еще нет в жизни нашего общества», будто бы «пока для них нет почвы». Ленинские работы о развитии капитализма в России убеждают нас, что в действительности дело обстояло несколько по-иному.

Но Добролюбов был совершенно прав, когда говорил, что «Штольц не дорос еще до идеала общественного русского деятеля», — не только потому, что «еще рано», но и потому, что по своему существу они, Штольцы, не могут и никогда не дорастут до этого идеала. «Не он тот человек, — замечает Добролюбов, — который сумеет, на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово «вперед».

Резко отрицательно отнесся к образу Штольца и А. П. Чехов. В одном из своих писем 1889 года он замечал: «Штольц не внушает мне никакого доверия. Автор говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это продувная бестия, думающая о себе очень хорошо и собою довольная. Наполовину он сочинен, на три четверти ходулен»[150].

Таким образом, в фигуре Штольца, нарисованной Гончаровым, проявились сильные и слабые стороны таланта и мировоззрения писателя.

В своих произведениях Гончаров проводил мысль о том, что

без труда и деятельности невозможно преодолеть общественной отсталости. Вместо старой, бездейственной, праздной дворянской романтики Гончаров стремился ввести в литературу идею новой, деятельной романтики — романтики труда.

Сама по себе это была замечательная цель. В какой-то мере осуществить ее романист пытался в образе Адуева-старшего и в образе Штольца. Однако его постигла неудача: ни тот, ни другой не годились по своей социальной сущности для решения этой задачи.

Замечательно то, что после всех попыток найти в Штольце положительные стороны и черты писатель в итоге объективно, в силу присущей большим художникам способности изображать правду, все же в известной мере развенчивает своего героя, вскрывает буржуазную ограниченность его общественных идеалов, эгоистическую подкладку всей его деятельности, его равнодушие к общественным интересам.

Это, конечно, следует расценить как победу реализма над схемой.

Ольга, а не Штольц, истинно положительное лицо, подлинная героиня в романе «Обломов». Ольга Ильинская — один из самых замечательных образов русской женщины в нашей классической литературе. В характере и стремлениях Ольги много общего с Еленой — героиней романа Тургенева «Накануне». Отдельные черты сближают ее и с Верой Павловной из «Что делать?» Чернышевского.

Создание образа Ольги Ильинской явилось самым вдохновенным и волнующим моментом в жизни Гончарова. Первоначальный замысел образа сильно изменился в ходе работы над романом. По этому поводу Гончаров писал: «…В программе у меня женщина намечена была страстная, а карандаш сделал первую черту совсем другую и пошел дорисовывать остальное уже согласно этой черте, и вышла иная фигура»[151].

Это признание, между прочим, показывает, что подлинный художник пишет не по заданным схемам, а как того требует естественное развитие самого образа. В этом и заключается одна из особенностей искусства, творчества.

Какую же «совсем другую» черту внес Гончаров в облик своей героини? Не трудно видеть, что здесь речь идет о стремлении Ольги к подвигу, к борьбе с обломовщиной, о ее желании спасти и перевоспитать Обломова. Художник старался внести в образ Ольги Ильинской светлый идеал, который бы помог людям стряхнуть с себя обломовщину, звал идти вперед. Это свидетельствовало о взлете прогрессивных настроений писателя, о росте реалистических сил его таланта.

В романе «Обломов» выражена мысль, что женщина призвана сыграть важную роль в общественной жизни. В вопросе о женской эмансипации Гончаров стоял на прогрессивных позициях. Он горячо отстаивал право женщины на равное положение в обществе с мужчиной. Гончаров обрисовал Ольгу Ильинскую как передовую русскую женщину сороковых-пятидесятых годов, со столь характерным для нее стремлением к независимости и активному решению жизненных вопросов. «Ольга, — замечал романист, — есть превращенная Наденька следующей эпохи».

Ольга Ильинская — это в высшей степени гуманистический, полный любви и добра к человеку образ. Идеал ее жизни на много выше и благороднее идеала Штольца. Ее стремление к борьбе продиктовано не узко-эгоистическими интересами, а мечтой о светлом человеческом будущем, жгучей враждой к обломовщине. Ольга пытается спасти Обломова, чтобы он мог вновь «жить, действовать, благословлять жизнь». Страстное желание «возвратить человека к жизни» и затем возникшее чувство любви к Илье Обломову, той «деятельной любви», которая так страстно и горячо выразилась в образе Шурочки из «Иванова» А. П. Чехова, — все это определило чрезвычайно быстрый нравственный и духовный рост Ольги. «Только женщины, — говорится в романе, — способны к такой быстроте расцветания сил, развития всех сторон души. Она как будто слушала курс жизни не по дням, а по часам».

Писарев в одной из своих ранних статей[152] указывал, что в Ольге Гончаров в полной мере раскрыл, какую громадную роль в формировании человека играет чувство.

«Ольга, — отмечал он, — растет вместе с своим чувством; каждая сцена, происходящая между нею и любимым ею человеком, прибавляет новую черту к ее характеру, с каждою сценою грациозный образ девушки делается знакомее читателю, обрисовывается ярче и сильнее выступает из общего фона картины». Отличительными чертами Ольги, по мнению Писарева, являются «правдивость в словах и в поступках, отсутствие кокетства, стремление к развитию, уменье любить просто и серьезно, без хитростей и уловок, уменье жертвовать собою своему чувству настолько, насколько позволяют не законы этикета, а голос совести и рассудка».

Прекрасен, вдохновенен, чист и серьезен облик Ольги Ильинской, поющей арию Нормы «Casta diva»[153], «выплакивающей свою душу». По свидетельству Кропоткина, благодаря гончаровской Ольге эта песня стала тогда любимой песнью русской молодежи. Много сердца вложил в эту картину художник: когда-то эту арию пела ему Е. В. Толстая.

Изумительная женственность, мягкость и чуткость сочетаются в Ольге с сильным характером и волей. Ольга живет напряженной духовной жизнью. Ее ничем не довольный ум «требует ежедневно насущного хлеба… душа ее не умолкает, все просит опыта и жизни». В деятельности Штольца она не видит идеала, который был бы созвучен ее стремлениям и мечтам. Штольц окружил ее довольством и комфортом. Но атмосфера безмятежного счастья тяготит Ольгу. «Мне грустно бывает иногда, — говорит она. — Все тянет куда-то еще, я делаюсь ничем недовольна». С каждым днем эта неудовлетворенность в ней усиливается и заставляет ее глубоко задумываться о своей участи. «…Ее смущала эта тишина жизни, ее остановка на минутах счастья… Но как она ни старалась сбыть с души эти мгновенья периодического оцепенения, сна души… настанет… смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть, послышатся какие-то смутные, туманные вопросы в беспокойной голове». Ольга говорит: «Мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю». Она требует «новых, небывалых явлений, заглядывает дальше вперед».

Эти порывы, эти душевные тревоги и поиски Ольги пугают Штольца. Ограниченный и самодовольный, он не понимает их истинных причин. Он пытается успокоить Ольгу, убедить ее в том, что это «общий недуг человечества» и что с этим надо примириться. «Мы не титаны с тобой… Мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, — говорит он Ольге, — не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье…»

Ольга отвергает этот совет, ничем не отличающийся от обломовского. Она не может, как Лизавета Александровна Адуева, покориться судьбе, страдать, «смиренно склонить голову». Ольга жаждет деятельности и готова на борьбу. И это естественно, так как настало другое время, многое изменилось в России, и близок тот момент, когда «все вот-вот переворотится». Добролюбов указывал, что Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к настоящему подвигу, что она «ближе его стоит к нашей молодой жизни», что она представляет «высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни».

Мы видим, что у Ольги и Штольца — разные пути в жизни, и что разрыв между ними неизбежен. Правда, Гончаров только наметил этот конфликт в романе и не довел его до своего естественного конца. «…Она оставит и Штольца, — писал Добролюбов, — ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он будет

продолжать ей советы — принимать их, как новую стихию жизни, и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтобы произнести над нею суд беспощадный…» «От нее, — замечал критик, — можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину…» (курсив мой. — А. Р.).

Роман «Обломов» отличается не только богатством заключенного в нем содержания, но и поистине современной художественной формой. «Огромная идея автора во всем величии своей простоты улеглась в соответствующую ей рамку, — говорится в одной из статей Писарева. — По этой идее построен весь план романа, построен так обдуманно, что в нем нет ни одной случайности, ни одного вводного лица, ни одной лишней подробности… В романе г. Гончарова внутренняя жизнь действующих лиц открыта перед глазами читателя; нет путаницы внешних событий, нет придуманных и рассчитанных эффектов, и потому анализ автора не теряет своей отчетливости и спокойной проницательности. Идея не дробится в сплетении разнообразных происшествии: она стройно и просто развивается сама из себя, проводится до конца и до конца поддерживает собою весь интерес, без помощи посторонних, побочных вводных обстоятельств… Редкий роман обнаруживал в своем авторе такую силу анализа…»[154] Это, безусловно, очень тонкая и верная оценка основных особенностей и качеств, стиля и композиции гончаровского романа.

Писатель действительно вложил много творческих сил в работу над архитектоникой романа, в то, чтобы добиться «полноты и оконченности целого здания». И в его воображении возникла такая картина:

«Мне явился как будто целый большой город, и зритель поставлен так, что обозревает его весь и смотрит, где начало, середина, отвечают ли предместия целому, где расположены башни и сады, а не вникает, камень или кирпич служили материалом, гладки ли кровли, фигурны ли окна etc, etc».

«Обломов» написан прекрасным художественным языком — он красочен, но и изумительно прост, ясен. Вначале эта простота смущала даже самого художника, во потом сомнения у него отпали. «Меня, — замечал романист, — перестала пугать мысль, что я слишком прост в речи, что не умею говорить по-тургеневски… Я видел, что дело не в стиле у меня…»

* * *

Успех романа был громадным. Об успехе «Обломова» писали журналы и газеты различной общественной ориентации. «Обломов» победоносно захватил собой все страсти, все внимание, все помыслы читателей, — писал, например, журнал «Библиотека для чтения», который был далек от прогрессивных идей. — В каких-то пароксизмах наслаждения все грамотные люди прочли «Обломова». Толпы людей, как будто чего-то ждавших, шумно кинулись к «Обломову». Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоящую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуездного, заштатнейшего города, где бы не читали «Обломова», не спорили об «Обломове»…

«Обломов» и «обломовщина» — эти два слова не даром облетели всю Россию и сделались словами, укоренившимися в нашей речи»[155].

Именно в силу своей типичности эти явления стали нарицательными.

Чрезвычайно высоко оценила роман передовая русская критика. На всю Россию прозвучала знаменитая статья Добролюбова «Что такое обломовщина?», появившаяся в «Современнике».

И хотя затем вокруг «Обломова» разгорелась острая полемика, большинство русских читателей судило об «Обломове» не по высказываниям реакционных и либеральных критиков, а по статье Добролюбова.

В этой полемике рельефно отразилась классовая борьба шестидесятых годов. Реакционная критика резко выступила против гончаровского обличения обломовщины, видя в ней воплощение устоев старины. Взяв под защиту обломовщину, эта критика всячески идеализировала старую поместную жизнь. Славянофильский журнал «Москвитянин» обвинял писателя в «злобно-сатирическом намерении». Отрицательное отношение Гончарова к обломовщине журнал расценивал как вредный «скептицизм».

Либеральный критик А. В. Дружинин пытался выставить Гончарова как художника «чистого и независимого», чуждого гоголевскому направлению русской литературы, критическому реализму. Дружинин был против строгого суда над Обломовым, всячески доказывал привлекательность этого образа. «Обломов, — писал Дружинин, — любезен всем нам и стоит беспредельной любви… Сам его творец беспредельно предан Обломову, и в этом вся причина глубины его создания».

Дружинин всемерно пытался затушевать антикрепостническую направленность романа, скрыть дворянско-

помещичью, крепостническую сущность обломовщины. Обломовщину он объявил свойством «целого народа». Это была клевета на русский народ, на русский национальный характер.

Роман Гончарова не давал никакого повода для таких выводов. Наоборот, Гончаров с предельной ясностью и обоснованностью показал, что обломовщина не общенациональное, а социальное явление, что она является порождением старого, отживающего уклада жизни, дворянско-поместного барства, крепостничества.

Очень положительно гончаровский роман был встречен в передовых кругах русских писателей. «Обломов» тотчас же по выходе его в свет был прочитан Львом Толстым. В апреле 1859 года Лев Толстой писал А. В. Дружинину: «Обломов» — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Облом(ова)… Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный».

В своем письме от 13 мая 1859 года Гончаров принес «душевное спасибо» Толстому за его «ласковое слово» об «Обломове».

Этот отзыв Льва Толстого об «Обломове», как и его положительный отзыв об «Обыкновенной истории», которую он прочитал вскоре после знакомства с Гончаровым, а именно в 1856 году, — одно из свидетельств того взаимопонимания и искреннего уважения, которое неизменно и всегда потом связывало двух корифеев русской литературы.

Высоко и верно оценил «Обломова» и Тургенев. Уже на склоне лет, вспоминая о выходе «Обломова» в свет, Гончаров писал в «Необыкновенной истории»: «И Тургенев однажды заметил мне кратко: «Пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить «Обломова».

Гончаров с присущей ему сдержанностью делился своей радостью по поводу успеха «Обломова» в письмах к своим друзьям. Так, в письме к И. Льховскому от 20 мая 1859 года он писал, что впечатление в публике «огромно и единодушно». Особенно обрадовала Гончарова «отличная статья» Добролюбова, где критик, по словам Гончарова, «очень полно и широко разобрал обломовщину». «Конечно, — замечал при этом писатель, — когда жар спадет, начнут и ругаться, особенно в Москве, хотя там страстно приветствовали первые две части. Но там живут славянофилы, а Штольц — немец». Действительно, вскоре московские славянофилы, эти представители крайней реакции, набросились на «Обломова».

О полном удовлетворении статьей Добролюбова Гончаров

писал П. В. Анненкову: «Взгляните, пожалуйста, статью Добролюбова об Обломове: мне кажется, об обломовщине — т. е. о том, что она такое — уже сказать после этого ничего нельзя. Он это, должно быть, предвидел и поспешил напечатать прежде всех. Двумя замечаниями своими он меня поразил: это проницанием того, что делается в представлении художника. Да как же он — не художник — знает это? Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском… Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше».

Владимир Ильич Ленин много раз пользовался образом Обломова и обломовщины для разоблачения пережитков прошлого, для борьбы с ними. Великая Октябрьская социалистическая революция ликвидировала почву, порождавшую и питавшую обломовщину. Но обломовщина живуча. Ленин говорил, что обломовщина еще не изжита до конца, что с такими ее проявлениями, как боязнь всего нового, передового, нерадивое отношение к труду, расхлябанность, беспечность и бескультурье, необходимо вести упорную и беспощадную борьбу.

Ленин, призывая рабочих и крестьян к борьбе с бюрократизмом, говорил: «От этого врага мы должны очиститься, и через всех сознательных рабочих и крестьян мы до него доберемся. Против этого врага и против этой бестолковщины и обломовщины вся беспартийная рабоче-крестьянская масса пойдет поголовно за передовым отрядом коммунистической партии. На этот счет никаких колебаний быть не может»[156].

Около ста лет тому назад вышел в свет «Обломов», но до сих пор он сохранил для нас свой интерес и свое воспитательное значение. Роман сыграл большую роль в развитии прогрессивного общественного сознания, в развитии русского критического реализма.

Глава одиннадцатая
«Обрыв»

Есть произведения, о которых можно сказать, что им была посвящена вся жизнь художника. У Гончарова таким произведением является «Обрыв».

Первоначальный его замысел возник у писателя еще в конце сороковых годов. «План романа «Обрыв», — писал Гончаров в статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»[157], - родился у меня в 1849 году на Волге, когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — все это расшевелило мою фантазию, — и я тогда уже начертил программу всего романа, когда в то же время оканчивался обработкой у меня в голове другой роман — «Обломов».

Но осуществление этого замысла отодвинулось на долгое время. В 1852 году Гончаров отправился в кругосветное плавание и «унес роман, возил его вокруг света в голове и программе» вместе с «Обломовым». Он кое-что вносил в рукописи и программы романов, но писать не мог, так как «был весь поглощен этим новым миром, новым бытом и сильными впечатлениями».

К тому времени у писателя были накоплены для будущей работы над «Обрывом» «кучи листков, клочков, с заметками, очерками лиц, событий, картин, сцен и проч.».

По возвращении из долгого и трудного плавания в Петербург в 1855 году Гончаров стал готовить к печати «Очерки путешествия» — «Фрегат «Паллада». В 1857–1858 годах он закончил писать «Обломова». Исполнив этот свой «долг», он намерен был вплотную приступить к «обработке», то есть написанию «Обрыва», образы, сцены, картины которого, по словам самого романиста, «теснились в воображении» и требовали «только сосредоточенности, уединения и покоя, чтобы отлиться в форму романа».

Но таких благоприятных для творчества условий у Гончарова тогда не было. Все более он убеждался в том, что «служба и литература между собой не уживаются».

Это, несомненно, являлось одной из причин того раздраженного состояния, которое он испытывал в это время. Но были и другие причины.

Вообще 1859 год начался для Гончарова беспокойно и

нервозно. Несмотря на то, что «Обломов» был написан и пошел в печать, — ни радости, ни душевного спокойствия это не принесло писателю. Еще не улеглось возбуждение от напряженной работы над романом, как возникли новые волнения. Не без тревоги писатель ждал оценки своего произведения читателями и критикой.

Первая часть «Обломова», что, между прочим, отмечал в своей статье и Добролюбов, многим показалась скучной, незанимательной. Публика была увлечена «Дворянским гнездом» Тургенева, полностью опубликованным в январском номере «Современника» за 1859 год. На некоторое время тургеневский роман совершенно заслонил собою медленно, в течение нескольких месяцев, по частям выходившего в «Отечественных записках» «Обломова». Это разбередило у писателя никогда не заживавшую в душе рану сомнений в достоинстве своего труда.

Именно в это время, в атмосфере острой нервозности, на романиста обрушилась еще одна невзгода — возник конфликт с Тургеневым.

Почва для этого конфликта была в известной мере подготовлена уже раньше. Гончаров, мучительно вынашивавший идеи и образы романа «Обрыв» (тогда он назывался «Художник»), в кругу друзей-литераторов часто делился своим замыслом — «рассказывал все до подробности Боткину, Дудышкину, Дружинину и более всего одному, еще живому литератору»[158], то есть Тургеневу, как человеку «тонкого критического ума».

Последнее из этих обстоятельств сыграло в дальнейших отношениях Гончарова и Тургенева роковую роль.

Осенью 1858 года Тургенев привез из Спасского рукопись «Дворянского гнезда» и читал ее среди друзей. Присутствовал на этом чтении и Гончаров. Уже тогда, видимо, у него возникли подозрения, что Тургенев заимствовал кое-что из его замысла «Художника». Однако хорошие приятельские отношения между ними продолжались и после этого. Гончарова многое влекло к Тургеневу, он всегда и раньше дружелюбно относился к нему, несмотря на обидные для его самолюбия шутки и мнения Тургенева.

Подозрения снова разыгрались у Гончарова, когда он прочитал «Дворянское гнездо» в журнале. В посланном Тургеневу письме он обвинил его в заимствовании некоторых положений из «программы» своего романа. Автор «Дворянского гнезда» ответил ему, что не думал заимствовать что-нибудь умышленно, но, возможно, отдельные моменты могли произвести на него глубокое впечатление и бессознательно повториться в его романе.

Такое признание Тургенева, а также то, что он выбросил из романа одну «похожую» сцену, на время успокоило Гончарова, но вместе с тем как бы подтвердило справедливость его подозрения.

Вскоре он опять послал Тургеневу (в Спасское) крайне раздраженное письмо, в котором тот квалифицировался, по словам самого Тургенева, как «присвоитель чужих мыслей (plagiaire), болтун и лгун». Примирительный ответ Тургенева обезоружил Гончарова, гневное волнение его быстро улеглось. Он писал Тургеневу, что письмо по поводу «Дворянского гнезда» было исключительно вызвано стремлением предупредить всякие кривотолки на его, то есть Гончарова, счет в будущем, и дело тогда не дошло до открытого столкновения.

В конце апреля они снова встретились. Гончаров присутствовал на прощальном обеде в честь Тургенева, уезжавшего за границу. По поводу этих проводов Гончаров 30 апреля 1859 года писал Анненкову в Симбирскую губернию:

«Мы с ним как будто немного кой о чем с живостью поспорили, потом перестали спорить, поговорили покойно и расстались, напутствовав друг друга самыми дружескими благословениями у Донон и Дюссо»[159].

Эти дружелюбные строки Гончарова позволяют видеть, как относился Гончаров к Тургеневу в моменты душевного спокойствия, которое как раз в то время вернулось к нему. Этому в немалой степени способствовало появление статьи Добролюбова «Что такое обломовщина?» и успех «Обломова», хотя и несколько запоздавший, в публике.

Судя по письму Гончарова к Анненкову, в котором раздор с Тургеневым обрисован в весьма безобидной форме («как будто… живо поспорили»), он тогда избегал широкой огласки своего столкновения с Тургеневым. Более откровенно он рассказывал о происшедшем близким ему людям, в частности своему другу И. И. Льховскому. 20 мая 1859 года он писал ему, что у него с Тургеневым было «крупное объяснение» по поводу двух «неласковых» его писем, посланных Тургеневу, но что все «кончилось прочным, кажется, миром».

Действительно, тогда казалось, что конфликт между Гончаровым и Тургеневым, к взаимному удовлетворению сторон, был полностью и навсегда нежит.

* * *

Летом 1859 года Гончаров со «Стариком» и «Старушкой», то

есть с Владимиром Николаевичем и Екатериной Павловной Майковыми, направлявшимися в Киссинген, вновь едет за границу — в Мариенбад, где год тому назад он так успешно работал над «Обломовым». Собираясь в дорогу, он сообщал И. Льховскому: «Еду и беру программу романа, но надежды писать у меня мало: потому что герой труден и не обдуман и притом надо начинать. Если напишу начало, то когда будет конец? Здесь, в службе, и думать нельзя. И так приливы одолели».

Действительно, «на службе» в Петербурге, Гончарову «и думать нельзя» было о систематической и плодотворной творческой работе, — цензорство поглощало почти все силы и губительно действовало на здоровье. Однако слова Гончарова «надо начинать», то есть начинать роман, видимо, не следует понимать слишком буквально. Начало было сделано раньше. В 1857 году он друзьям уже «читал на выдержку отдельные главы».

В таком положении находился «Обрыв» к моменту отъезда Гончарова в Мариенбад летом 1859 года.

Поездка эта не оправдала надежд писателя. Лечение не приносило пользы, и здоровье Гончарова не только не улучшилось, но даже несколько ухудшилось. В состоянии упадка духа он писал Ю. Д. Ефремовой из Мариенбада, что ко всему у него произошло «общее охлаждение», что лета, недуги и разные досады много изменили его характер, что нынче он не смеется, шутка с языка нейдет. «Я не живу, а дремлю и скучаю, прочее все кончилось», — скорбно признается он ей.

Будучи больным, Гончаров порывался писать, но из этого ничего не выходило. Он горестно жаловался на утерю творческого «вдохновения» и говорил, что бросил «литераторствовать» — «решительно бросил и навсегда».

Однако по возвращении из-за границы в Петербург Гончаров принял другое решение — бросил не творчество, а службу, цензорство.

В январе 1860 года он подал прошение «об увольнении» от службы по причине болезни. Председатель цензурного комитета, ходатайствуя перед министром народного просвещения об удовлетворении этой просьбы, между прочим, отмечал, что «потеря г. Гончарова, как одного из просвещеннейших и полезнейших его деятелей, будет, конечно, в высшей степени ощутительна; он соединял в себе редкое умение соглашать требования правительства с современными требованиями общества».

1 февраля 1860 года Гончаров вышел в отставку, получив, таким образом, возможность всецело отдаться творческому труду. Вскоре два отрывка из первой части романа, озаглавленные

«Софья Николаевна Беловодова» и «Бабушка», он обработал и сдал для публикации в журнал «Современник».

Однако в печати появился только первый из них («Современник, 1860, N 2). Второй отрывок долго задерживался в редакции. В связи с этим Гончаров писал Н. А. Добролюбову 26 апреля 1860 года: «Что делает моя «Бабушка», почтеннейший Николай Александрович, где она загостилась так долго? Если она уже не нужна, то не благоволите ли прислать?»

«Бабушка» была возвращена Гончарову и напечатана в 1861 году в журнале «Отечественные записки» (N 1). Редакцию «Современника», идейное руководство которой тогда уже всецело принадлежало Чернышевскому, не удовлетворило в нем, видимо, то, что автор несколько идеализировал быт русской помещичьей усадьбы.

В это время у Гончарова наметились те же самые идейные расхождения с революционно-демократической группой «Современника», по причине которых столь резко и демонстративно порвал в 1861–1862 годах свои отношения с журналом Тургенев.

Эпизод с «Бабушкой» еще более ослабил связи Гончарова с редакцией «Современника», но не привел к разрыву ни с Некрасовым, ни с Добролюбовым. Отношения с ними он поддерживал и после, хотя уже не сотрудничал в журнале.

* * *

В январском номере «Русского вестника» 1860 года был опубликован новый роман Тургенева «Накануне». Взглянув на него уже предубежденными глазами, Гончаров вновь нашел «несколько схожих положений» и лиц, «что-то общее» в идее художника Шубина и его Райского, несколько мотивов, совпадающих с программой своего романа. Потрясенный открытием, он на этот раз выступил с гласными обвинениями Тургенева в плагиате. Тургенев вынужден был дать делу официальный ход, потребовал третейского суда, в противном случае угрожая дуэлью.

Третейский суд в составе П. В. Анненкова, А. В. Дружинина и С. С. Дудышкина, состоявшийся 29 марта 1860 года в квартире Гончарова, решил, что «произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях»[160].

Это, конечно, была примирительная формула. Гончаров

удовлетворился ею, но Тургенев не признал ее справедливой. Выслушав постановление третейского суда, он заявил, что после всего случившегося находит нужным навсегда прекратить всякие дружеские отношения с Гончаровым.

Однако через четыре года, когда Тургенев, после длительного пребывания за границей, приехал в Петербург для дачи объяснения Сенату по «делу о сношениях с эмигрантами» (Герценом и другими), писатели вновь помирились. Произошло это на похоронах А. В. Дружинина 21 января 1864 года.

Со стороны Тургенева примирение, по-видимому, было искренним. Это можно видеть хотя бы из его письма Гончарову от 14 марта 1864 года, написанного тотчас же по возвращении из Петербурга в Париж: «Если Вы порадовались моему приезду, потому что он положил конец возникшему между нами недоразумению, — говорилось в этом письме, — то и я со своей стороны не менее Вас порадовался возобновлению дружеских отношений с человеком, к которому — не говоря уже об уважении к его таланту — я стою очень близко — в силу общего прошедшего, однородности стремлений и многих других причин.

Мы ведь тоже немножко с Вами последние Могикане…»[161].

Что касается Гончарова, то его письма к Тургеневу, относящиеся к 1864–1868 годам[162], носят иной характер. В них отразились противоречивые чувства и настроения. Дорожа дружбой с Тургеневым, отдавая должное его тонкому художественному вкусу и считаясь с его литературными оценками, Гончаров вместе с тем не в силах быть с ним вполне искренним, язвит и лукавит в своих письмах. «И, читая их… вы постоянно ждете, когда же, наконец, порвется слабая нить этой странной приятельской неприязни, ждете этого с нетерпением, потому что тягостно видеть, как искажается весь душевный лик Гончарова, поскольку он повернут к Тургеневу. И ждать этого недолго»[163].

Летом 1868 года, в момент сильного творческого возбуждения, напряженной работы над «Обрывом», в Гончарове снова вспыхивают подозрения, что Тургенев будто готовит против него новые козни, выпытывает через знакомых Гончарову людей его замыслы, тайно следит за ходом работы над «Обрывом». Даже когда Тургенев проявил искреннее участие в его работе, Гончаров со злой иронией отнесся к этому: «какая бономия!»[164] Позднее до Гончарова дошли отрицательные отзывы Тургенева об «Обрыве». И с этого момента начался период уже нескрываемой вражды Гончарова к Тургеневу. Даже смерть Тургенева в 1883 году не избавила, не исцелила Гончарова от неприязни к нему, к памяти о нем.

* * *

Под влиянием каких же обстоятельств возник и дошел до такого печального предела конфликт Гончарова с Тургеневым? Чтобы понять это, надо вдумчиво вглядеться во внутреннюю жизнь Гончарова.

Творчество, писательское призвание были для него той сферой, той его Колхидой, куда он бежал от чиновничьей службы, которую так не любил, от невзгод и горечей личной жизни, и где дышал и жил по-настоящему.

«Я откровенно люблю литературу, — писал он Тургеневу 28 марта 1859 года, — и если бывал чем счастлив в жизни, так это своим призванием… Ведь не десять тысяч (на них мне мало надежды осталось) манят меня к труду, а стыдно признаться, я прошу, жду, надеюсь нескольких дней или «снов поэзии святой», надежда «облиться слезами над вымыслом…». А может быть, ничего и не выйдет: не будет; с печалью думаю и о том: ведь только это одно и осталось, если только осталось, — как же не печалиться!..»

Все сказанное здесь Гончаровым — истинная и глубоко трогающая правда.

Вполне естественно, что такое отношение к писательскому призванию и труду порождало крайне обостренную реакцию на все события и перипетии творческой жизни и литературной работы. Это, между прочим, подтверждается и мнением Тургенева о Гончарове. «Странности Гончарова, — как верно замечал он в письме к Полонскому 16 декабря 1868 года из Карлсруэ, — объясняются нездоровьем и слишком исключительной литературной жизнью» (курсив мой. — А. Р.).

Гончаров долго и мучительно вынашивал свои замыслы и был поистине сокрушен, когда увидел, что Тургенев, которого он считал замечательным «художником-нувелистом» и «миниатюристом», мастером только небольших повестей и рассказов, вдруг стал создавать с невероятной быстротой романы, в которых как бы опередил Гончарова и в разработке определенных тем и образов русской дореформенной жизни.

Поскольку сам Тургенев признал (в начале ссоры), что между «Дворянским гнездом» и «Обрывом» кое в чем «есть сходство», Гончаров выражал в одном из писем к Тургеневу беспокойство, что «внешнее, поверхностное сходство» романов, «тождество сюжетов» будет стеснять его, мешать ему разрабатывать «Обрыв» и что когда он напишет роман, самого его могут обвинить в заимствовании.

Насколько серьезно Гончаров тревожился за свою

писательскую репутацию, свидетельствует, в частности, тот факт, что именно из-за пресловутого «сходства» некоторых положений в упомянутых романах он выбросил из рукописи «Обрыва» всю обширную главу «о предках Райского».

Окончательно сражен был Гончаров, когда нашел известное сходство некоторых образов и положений в «Накануне». В этом, а также в громадном успехе тургеневских романов и в его способности быстро писать, захватывая те характеры, житейские и психологические ситуации, над которыми он сам так кропотливо и медленно трудился, Гончаров увидел страшную угрозу своему творчеству в будущем.

Это, конечно, было тяжелое заблуждение. По всему своему существу художественный талант Тургенева, его стиль и манера письма, языковые средства иные, чем у Гончарова. Тургенев и Гончаров совершенно различно изображали взятый из действительности материал. Иногда, правда, и Гончаров и Тургенев фиксировали свое внимание на однородных явлениях жизни. Возможно, что, услышав от Гончарова рассказ о художнике Райском, Тургенев заинтересовался психологией художника и ввел в свой роман «Накануне» фигуру художника Шубина. Некоторые сходные черты имеются между Райским и Рудиным, но это обусловлено сходством тех жизненных фактов, которые наблюдали романисты. Существо же этих образов весьма различно, различна и их художественная трактовка.

Таким образом, «сходство» тургеневских романов с гончаровскими замыслами было поверхностным, что и дало повод Д. Минаеву выступить в 1860 году в «Искре» (№ 19) с юмористическим стихотворением «Парнасский приговор», в котором он пародировал третейский суд и, в частности, неосновательные обвинения Гончарова против Тургенева:

У меня герой в чахотке,
У него портрет того же,
У меня Елены имя,
У него Елена тоже *;
У него все лица так же,
Как в моем романе, ходят,
Пьют, болтают, спят и любят… и пр. и пр.[165]

Кстати сказать, Гончаров неожиданно весьма спокойно отнесся к этой насмешке над ним и даже нашел, что минаевские стихи «очень забавны»[166].

«Жалкая история», как называл сам Гончаров свою ссору с Тургеневым, наполнила многие годы жизни Гончарова сложными и болезненными переживаниями. Она внесла глубокую и неисправимую травму в его душу и окрасила в мрачный и трагический тон многие дни его дальнейшей работы над «Обрывом».

* * *

В мае 1860 года Гончаров в третий раз едет в Мариенбад с надеждой написать там весь роман. Из Петербурга он выехал 7 мая на пароходе до Штеттина и затем до Дрездена вместе с А. В. Никитенко и его семьей.

В числе тех людей, к которым Гончаров относился с неизменным доверием и дружественностью, был один из либеральных деятелей цензуры, профессор русской словесности Петербургского университета и затем академик Александр Васильевич Никитенко (1805–1877). Дружеская связь между ними установилась еще с конца сороковых годов и продолжалась до смерти Никитенко. Гончаров считал его лучшим из друзей.

Дружба эта была основана на известном сходстве их как общественных, так и житейских взглядов, что, однако, не мешало им видеть и недостатки друг друга. Гончаров, судя по свидетельству одного из современников, сдержанно оценивал деятельность Никитенко как ученого. Никитенко же был весьма неважного мнения о характере своего друга.

Так, в дневниковой записи его по поводу ссоры Гончарова с Тургеневым говорится, между прочим, о «подозрительном, жестоком, себялюбивом и вместе с тем лукавом характере Гончарова»[167].

По свидетельству М. И. Семевского, Гончаров написал впоследствии воспоминания о Никитенко, которые представляли «целую художественную картину»[168].

К сожалению, этот очерк Гончарова по каким-то причинам не был опубликован, и рукопись его не найдена до сих пор.

Искреннее чувство дружбы Гончаров питал ко всей семье Никитенко, где он часто бывал. Именно в этой семье он нашел, в лице младшей дочери А. В. Никитенко, Софьи Александровны Никитенко, и горячую поклонницу своего таланта и близкого, бескорыстного друга, с которым, несмотря на большую разницу в летах, делился самыми сокровенными своими мыслями и переживаниями.

Дружба эта продолжалась до самой смерти писателя. Софья

Александровна Никитенко (1840–1901) была женщиной незаурядных дарований. Она изучала иностранную литературу, в совершенстве владела несколькими языками, занималась переводами, сотрудничала в ряде журналов, имела собственные научные труды.

Гончаров высоко ценил ум и талант С. А. Никитенко и видел в ней черты «живой, симпатичной, страстной и поэтической натуры»[169].

Он вполне доверял ей переписку рукописи «Обрыва», советовался с ней по своим литературным замыслам. «Вы необходимы мне для всего вообще, — признавался он ей, — т. е. для приятного житья, а еще больше для работы». Шутя он говорил С. А. Никитенко: «Вы — моя литературная Агафья Матвеевна» (вдова в «Обломове» Агафья Матвеевна Пшеницына, как известно, беззаветно заботилась об Илье Обломове).

С половины и до конца мая Гончаров в компании с Никитенками находился в Дрездене. Большая часть дня посвящалась прогулкам. Гончаров был «одержим неистовой страстью бродить по городу и покупать в магазинах разные ненужные вещи»[170]. Перепробованы были сигары почти во всех лучших дрезденских магазинах. После пребывания на Филиппинах, как известно, славящихся своими сигарами, Гончаров научился тонко разбираться в их вкусе.

Излюбленным местом вечерних прогулок друзей являлась Брюлевская терраса. Но самые яркие впечатления оставило посещение знаменитой Дрезденской галереи, созерцание великого творения Рафаэля — «Сикстинской мадонны», в которой, по словам поэта, воплотился «чистейшей прелести чистейший образец». Вдохновенное «паломничество» к ней Гончаров совершал и в другие свои приезды в Дрезден.

«Мне давно не было так спокойно и хорошо, как с вами (в Дрездене)», — писал некоторое время спустя Гончаров С. А. Никитенко из Мариенбада, куда он приехал 2 июня 1860 года.

* * *

В первые дни своего пребывания в Мариенбаде Гончаров испытывал большой подъем жизненных и творческих сил. «… Вчерашнее утро, — писал он Е. А. и С. А. Никитенко 3 июня, — принадлежит к лучшим утрам моей жизни. Я чувствовал бодрость, молодость, свежесть, был в таком необыкновенном настроении, чувствовал такой прилив производительной силы, такую страсть выразиться, какой не чувствовал с 57-го года.

Разумеется, это не пропало даром для будущего (если только будет) романа: он весь развернулся передо мной часа на два готовый, и я увидал там много такого, чего мне и не грезилось никогда. Для меня только теперь понятно стало значение второго героя, любовника Веры[171]. К нему вдруг приросла целая половина, и фигура выходит живая, яркая и популярная; явилось еще тоже живое лицо; все прочие фигуры прошли передо мной в этом двухчасовом поэтическом сне, точно на смотру, все они чисто народные, со всеми чертами, красками, с плотью и кровью славянскими».

Но такие утра нисходили на душу не часто. «Прилив производительной силы» был недолгим. После написания нескольких глав настроение у романиста упало, «опять настали потемки». «Это чисто физическое состояние, действующее, конечно, и на моральное», — замечал по этому поводу Гончаров в одном из своих писем из Мариенбада. Причины временных душевных депрессий здесь, бесспорно, указаны верно, и в конце концов они были преодолены художником. Но он не смог преодолеть тогда других трудностей, других препятствий.

Гончаров надеялся, что за время пребывания в Мариенбаде «Обрыв» будет, наконец, написан. Для этого, как признавался Гончаров в одном из своих писем к С. А. Никитенко, он «собрал последние силы, остаток воли и жизни». Начало было удачным, но затем романист ощутил, что план и образы романа, задуманные много лет тому назад, утеряли для него свою определенность и ясность. «Герой все еще не ясен мне вполне, т. е. я все еще не знаю, что он такое», — сообщал Гончаров С. А. Никитенко 29 июня 1860 года.

Одно время художнику казалось, что он «напал на след новой мысли или способа, как провести героя через весь роман».

Однако твердой уверенности в правильности этой «новой мысли» у художника не было. Вот Райский как будто весь перед ним, как живой, но роману никак не удается «выразить это в образе». И он решает «по написанному начать писать снова, обдумывая каждую главу, не торопясь».

Таков был творческий итог пребывания Гончарова в Мариенбаде летом 1860 года.

* * *

Покинув Мариенбад в середине июля, Гончаров снова приехал в Дрезден, где продолжал работу над романом. Затем

через Париж в первых числах августа направился в Булонь. К этому времени первоначальный замысел образа Райского сильно изменился. Райский перестал быть положительным лицом в романе, и автор стал рисовать его с критических позиций. О причинах такого крутого внутреннего изменения образа подробно будет рассказано ниже.

Поездка к морю, в Булонь, через Дрезден, Кельн и Париж несколько оживила и развлекла Гончарова. Подшучивая над собой, он писал С. А. Никитенко из Парижа: «Позвольте пока кончить и побежать на улицу: Париж зовет, требует, манит меня в свои объятия…»

В Париже он виделся с Тургеневым — на обедах или в кругу общих друзей, хотя после пережитого конфликта у него и были с ним «тогда натянутые отношения». Говоря о «радостях бытия», Гончаров в одном из писем шутя замечал, что покинул Париж «с винцом в груди», чему очень содействовал Николай Петрович Боткин — любитель всяких увеселений.

Радостными были у Гончарова и первые впечатления от Булони. «Всякий раз, когда я подъезжаю к морю, особенно в портовом городе, — писал он С. А. Никитенко, — я всегда испытываю какую-то приятную, чудесную минуту. На меня, с воздухом моря, пахнет будто бы далью и поэзией прекрасных, теплых стран». Когда А. В. Никитенко также приехал на отдых в Булонь, то Гончаров, несмотря на дождь, свел его к берегу и «представил» океану… Шумная жизнь Булони отвлекала романиста и от часто настигавшей его скуки и… от работы.

И в конце концов Гончаров, жаждавший уединения и покоя для работы над «Обрывом», стал «помышлять о возвращении домой», тем более, что иссякли средства, которыми он располагал. «Ах, домой, — с горечью восклицает он в письме к С. А. Никитенко, — сердце замирает, когда подумаю, что надо ехать домой, где у меня нет никакого дома, и никого, кто бы мне был нужен, и еще менее, кому я был нужен. А надо ехать, зачем бы кажется? Все от гнусных денег…»

За время пребывания в Булони Гончаров принимался было писать роман, но успеха не имел. «А роман не пишется, — жаловался он С. А. Никитенко в одном из своих булонских писем. — Я набросал было маленькую главу о Марфиньке и даже был доволен ею, а потом увидел, что это вздор, что к Маркушке[172] и приступить не умею, не знаю, что из него должно выйти, да и самого героя (то есть Райского. — А. Р.) не поймал нисколько за хвост»[173]. Подводя итоги работы над «Обрывом» в Булони и имея в виду Райского, Гончаров с горечью замечает, что напрасно «возился с характером, который не покоряется».

На обратном пути из Булони Гончаров некоторое время жил в Дрездене, где написал главу романа, в которой «начинает развертываться» характер Веры. Это была одна из глав третьей части романа. Таким образом, написано было много. Но сам Гончаров считал эту свою поездку за границу мало удачной в творческом отношении.

Как-то особенно остро на этот раз он ощутил неудобства обратной дороги домой. В письме к А. В. Никитенко он, не скрывая своей досады и раздражения, писал «о бедствиях» и «лишениях» в пути вследствие «всероссийской дикости и неустроенности».

* * *

Работа Гончарова над «Обрывом» за границей в 1860 году — одна из самых драматических страниц его биографии. Внутренне в эти годы Гончаров жил сложной и трудной жизнью. Переписка Гончарова с С. А. Никитенко за время пребывания за рубежом раскрывает перед нами его сокровенные переживания и думы.

«Ведь для исполнения долга, даже для уразумения важности и достоинства человеческого назначения — нужно сообразное этому приготовление, воспитание, — среда… — пишет он. — А Вы представьте себе обломовское воспитание, тучу предрассудков, всеобщее растление понятий и нравов, среди которого мы выросли и воспитались и из которого как из летаргического сна только что просыпается наше общество; если б Вы могли представить себе всю грубость и грязь, которая таится в глубине наших обломовок, потом в недрах казенных и частных училищ, потом в пустоте и разврате общественной жизни, где мелкое тщеславие заменяло всякие разумные стремления, за отсутствием их, где молодой человек задумывался над вопросом, что ему делать, или, не задумываясь, пил, ел, волочился, одевался франтом, потом женился и потом направлял детей своих по тому же пути, уча служить (то есть занимать выгодные места и брать чины) и наслаждаться — в ущерб чести, нравственности и тому подобное. Если б Вы представили себе все это, говорю я, если б видели собственными глазами и не только видели, а окунулись сами в этом болоте, как я, так Вы сами бы хоть немного оправдали меня и, может быть, удивились бы, что я еще не потонул совсем. Меня спасла живая, горячая натура, сила воображения, стремление к идеалу и та честность, о которой Вы так благосклонно отзываетесь…»

Гончарову с его страстной натурой глубоко был присущ

трезвый, критический взгляд на жизнь, который, по словам самого писателя, не позволял ему «довольствоваться миром и людьми, как они есть», и исключал всякое самодовольство.

Касаясь упреков в апатии, которые многие бросали ему в жизни, Гончаров с глубоким сознанием истинности своих слов замечал: «Есть, надеюсь, разница между апатией разъевшегося и избалованного господина и апатией человека, которому в жизни сопутствовали мысль, чувства и нужда». По мнению романиста, это не апатия, а «человеческое раздумье», «может быть, ожидание чего-нибудь лучшего…»

* * *

Полный решимости «писать до конца», Гончаров, вернувшись из-за границы в конце сентября 1860 года, снова берется за работу над «Обрывом». Он обдумывает и переделывает то, что «прибавилось к роману за границей». Одну из вполне законченных глав («Портрет») он опубликовал в журнале «Отечественные записки» за 1861 год (N 2). О напечатании других глав с ним ведет переговоры Катков, редактор «Русского вестника», превращавшегося тогда в один из органов реакции. Однако Гончаров уклонился от его предложения.

К концу 1861 года Гончаров вчерне закончил первые три части «Обрыва», но в дальнейшем работа над романом почти приостановилась вследствие того, что перед писателем снова встал вопрос о перестройке «программы» всего романа. Это было вызвано и изменениями, происходившими в русской общественной жизни, и некоторыми внутренними сдвигами, усилением противоречий во взглядах писателя.

В начале шестидесятых годов в России создалась весьма напряженная политическая обстановка. Повсеместно ширилось революционное крестьянское движение. То в одной, то в другой губернии происходили выступления крестьян против помещиков. Активизировалась деятельность русских революционных демократов, идейно возглавлявших тогда народ в борьбе с крепостничеством и самодержавием. Уже в 1859 году Карл Маркс отмечал возникновение в России революционной ситуации, признавал возможным массовое восстание крестьян, которое, по его словам, могло бы явиться «поворотным пунктом в истории России»[174].

Владимир Ильич Ленин, характеризуя обстановку в начале шестидесятых годов в России, в одной из своих работ (1901 год) писал: «Правда, на наш современный взгляд кажется странным

говорить о революционной «партии» и ее натиске в начале 60-х годов. Сорокалетний исторический опыт сильно повысил нашу требовательность насчет того, что можно назвать революционным движением и революционным натиском. Но не надо забывать, что в то время, после тридцатилетия николаевского режима, никто не мог еще предвидеть дальнейшего хода событий, никто не мог определить действительной силы сопротивления у правительства, действительной силы народного возмущения. Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять такое «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»[175].

Но революционного взрыва тогда в России не произошло, что объяснялось тем, что «…народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу»[176]. Правительству и крепостникам удалось подавить крестьянские волнения, и крестьянство было освобождено от крепостного права «сверху», то есть как этого хотели царь и помещики. Крестьянская реформа 1861 года была проведена всецело в интересах помещиков. Жизненные интересы крестьянства остались неразрешенными. По меткому замечанию Ленина, эта реформа на деле явилась освобождением русских крестьян «от земли».

Если в 1840–1850 годах в России существовал общий антикрепостнический лагерь, своего рода блок «людей крайних» с людьми «умеренными», то есть демократов и либералов, то к началу шестидесятых годов этот лагерь уже полностью распался. Революционные демократы разоблачали реформы как обман народа. Они боролись за революционный путь решения крестьянского вопроса, звали Русь «К топору!». Либералы, или как их тогда называли — «постепеновцы», вполне были удовлетворены реформой. Боясь революционного движения масс более, чем реакции, они сделались верноподданными, встали на защиту послереформенного порядка от угроз революции. Такова

была стезя русских либералов.

Гончаров глубоко любил свою родину и верил в ее великое светлое будущее. Однако он не видел верных путей дальнейшего развития русской жизни. Он полагал, что преобразование общества произойдет постепенно, путем реформ, что старое отомрет, а новое все будет возникать и упрочиваться «без насилия, боя и крови». Словом, в своих взглядах на русскую действительность того времени Гончаров по ряду вопросов сходился с либералами.

Естественно поэтому, что в обстановке шестидесятых годов, когда происходило дальнейшее размежевание либералов и демократов, резче обозначались идейные разногласия и Гончарова с лагерем русской революционной демократии. Не отказываясь от борьбы с крепостническими пережитками, отсталостью и обломовщиной, выступая против реакционеров, Гончаров вместе с тем отрицательно относился к программе «новых людей» — русских революционных демократов. Ему, как и Тургеневу, «претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского»[177]. Поскольку, по его мнению, «правительство стало во главе прогресса и твердо пошло и идет по новому пути», то есть по пути реформ, все должны поддерживать его. Вот почему он «рукоплескал» реформам и отвергал возможность революционного пути развития.

Гончаров понимал необходимость приближения замысла «Обрыва» к современности, более тесной связи его образов с текущей общественной жизнью. Особенно остро он чувствовал необходимость определить, выразить свое отношение к воззрениям «новых людей», к так называемому нигилизму.

Наталкивали его на это и чисто личные переживания. С тревогой наблюдал Гончаров, как в обществе разыгрывались драмы — женщины и девушки из аристократических домов уходили с людьми новых убеждений на край света или в разные «фаланстерии», как это рассказано в «Что делать?» Чернышевского. Глубоко потрясен был Гончаров разломом в семье близкого ему человека — Владимира Николаевича Майкова («Старика»). В начале шестидесятых годов его жена, Екатерина Павловна («Старушка»), — незаурядного ума женщина, «изящная красавица», оставила его и уехала на Кавказ, увлеченная человеком передовых идеалов — «нигилистом». Гончаров, тесно друживший с ней и тайно поклонявшийся ей как женщине, вначале думал, что она «приняла скоро на веру» то, что, как казалось ему, противоречило всему складу ее мыслей и всей жизни, что она сама себя обманывает. Но потом убедился, что это не так…

Вдумываясь во все эти события и факты текущей жизни, Гончаров чувствовал необходимость значительной идейной и художественной ломки старого замысла «Обрыва», выработки новой «программы» романа, нового объяснения драмы Веры. Именно в этом и заключалась главная причина творческих затруднений писателя в то время.

* * *

Изменив своей привычке последних лет ежегодно ездить за границу лечиться и писать, Гончаров в мае 1862 года задумал поехать на родину, в Симбирск, чтобы повидаться с родными, несколько отвлечься от петербургской жизни, запастись новыми впечатлениями и, конечно, работать над романом «Обрыв». Он написал об этом своей сестре Анне Александровне (Музалевской). Анна Александровна очень обрадовалась. С малолетства они были между собою дружны. Гончаров любил сестру и гордился ею. Она во многом напоминала ему мать. «Государыня-сестрица», — величал ее в своих письмах Иван Александрович.

По приезде ему была отведена лучшая комната в доме и предоставлен сад, в котором он проводил большую часть времени, в тишине и уединении работая в беседке. Желая, видимо, сосредоточиться, он просил, чтобы к нему никого не пускали. Избегал он излишних встреч и со знакомыми во время прогулок по городу, — завидя их издали, сворачивал обычно в сторону. Эта внешняя «нелюдимость» писателя отнюдь не означала, что он чуждался окружающей его жизни. Зоркий художник, он многое видел и наблюдал, что впоследствии принесло свои плоды в «Обрыве».

Племянница Гончарова, дочь Александры Александровны, Е. П. Левинштейн (в замужестве) в своих «Воспоминаниях» нарисовала живой и, видимо, во многом верный портрет писателя: «Дядя, — замечает она, — был удивительно изящен во всем: в манерах, в разговоре, даже в отдельных выражениях, что мне особенно нравилось». Но временами, по ее словам, он был мрачен, раздражителен, страдал головными болями — почти всегда перед дурной погодой или грозой.

К тому же времени (1862 год) относится и портретная зарисовка, сделанная одним из литераторов — Р. Сементковским, который видел писателя в доме И. Льховского, куда Гончаров обычно заходил по воскресеньям и праздничным дням. Это, по его описанию, был «мужчина лет 50, небольшого роста, с пробритым подбородком, с начинающими уже седеть густыми

усами, бакенбардами и волосами, тщательно приглаженными. Костюм сидел на нем мешковато, но все было опрятно… Я невольно любовался его тонким, правильным, благородным носом, а главное — его глазами, умными, вдумчивыми и в то же время такими печальными, что самому вдруг грустно станет»[178].

За все время пребывания в гостях у сестры в Симбирске Иван Александрович строго придерживался определенного режима: вставал рано — в восемь часов, делал себе холодные обливания и, окончив туалет, отправлялся гулять, чаще всего на высокий берег, где так чувствовалось могучее дыхание Волги, откуда расстилались перед глазами поля, луга, селения, острова, отмели в легкой, еще не развеевшейся утренней дымке, где все располагало к раздумью и где уносился он «мечтой к началу жизни молодой…»

После прогулки Гончаров (все это подсмотрели и запомнили юные любопытные глаза племянницы) приступал к своему обычному завтраку a l'anglaise[179], как он говорил, состоявшему из бифштекса, холодного ростбифа и яиц с ветчиной. Все это запивал кофе или чаем. В остальное время он придерживался существовавшего в доме распорядка, то есть обедал, отдыхал и ужинал вместе со всей семьей. На досуге просил одну из своих племянниц читать вслух отрывки из книг на французском языке, которые сам для этого отбирал, или отправлялся на прогулку — лето стояло прекрасное. Ходил он много, ездить не любил; когда же приходилось это делать, то просил дать ему таких кляч, «которые с третьего кнута с ноги на ногу переступят».

Находясь в Симбирске, Гончаров писал старшей сестре, Александре Александровне Кирмаловой, постоянно проживавшей в своем ардатовском имении, подаренном ей Трегубовым: «Когда поедешь сюда, вези и старую Аннушку с собой».

Эта просьба была выполнена, и Аннушка, — няня Гончарова, увиделась тогда со своим «Ванюшей». Это была трогательная и последняя встреча с любимой няней. На память была сделана фотография Аннушки, которая, как драгоценная семейная реликвия, хранилась Гончаровым.

В гостях у сестры было «хорошо, как при маменьке». Но тревоги и волнения доходили до писателя и в этом тихом уголке России. «Вот уже второй месяц пошел, наипочтеннейший друг Александр Васильевич, — писал он Никитенко из Симбирска, — как я процветаю на берегах Волги… Живу я среди своих, собравшихся тесной семьей около меня, в маленьком домике, набитом, как улей, все разными обитателями. Мне тут приютно, привольно, покойно и мирно-скучно. Эту мирную скуку и тихий сон души будят подчас неистовые, залетающие оттуда, от ваших

мест, дикие вопли, плач и скрежет зубов с пожарищ[180]. Что за ужас, что за безобразие! Хотелось бы послушать правды, узнать, в чем дело, кто, что, как? А здесь узнать нельзя: газеты на что-то намекают и не договаривают, изустная молва городит такие чудеса, что береги только уши!»

В этом же письме Гончаров сообщал своему другу, что ничего не делает, отчасти из-за того, что вокруг в доме много чисто семейной суеты, шума, движения, что приходится «возобновлять некоторые морские привычки», то есть засыпать если не под шум бури, то под грохот увертюры «Вильгельма Телля», разыгрываемой племянницей. Или вдруг набегут племянники, нашумят, накричат, и кончается все тем, что он сам начинает шуметь и уходит с ними на Волгу и в поля…

В работе над романом, видимо, не было успеха.

Свое письмо к А. В. Никитенко он заключает поистине трагически звучащими словами: «Пиши», твердят, когда нельзя писать, когда на носу бури и пожары, от которых искусство робко прячется, когда надо писать грязью или вовсе не писать…»

Исполненный этих тревог и заблуждений, Гончаров уже в первых числах июля 1862 года поспешил вернуться в Петербург.

* * *

Увидев к началу шестидесятых годов, что продолжать работать над романом нельзя, пока не уяснена и не выработана новая «программа», кроме того, испытывая материальные затруднения, Гончаров вновь поступает служить.

С января 1862 года министерство внутренних дел начало выпускать газету «Северная почта», которая, по словам первого ее редактора А. В. Никитенко, должна была соединить «правительственные идеи» с идеями «разумного прогресса».

В июле 1862 года Никитенко был заменен новым редактором — Гончаровым. Пробыв на этой должности менее года, Гончаров ушел из «Северной почты», оказавшейся на деле далекой от каких-либо прогрессивных идей.

21 июля 1863 года Гончаров был назначен членом Совета по делам печати, с производством в действительные статские советники, а в августе 1865 года приказом по министерству внутренних дел — членом совета Главного управления по делам печати, то есть фактически вновь стал цензором. Но к этому периоду времени в цензуре уже полностью были искоренены либеральные тенденции и царил, по выражению А. В. Никитенко, чистейший произвол. Такова была обстановка, в которой

пришлось действовать Гончарову.

На цензурных докладах и отзывах Гончарова определенным образом сказалось его предубежденное, отрицательное отношение к революционно-демократической и радикальной части русского общества. В частности, им был написан резкий отзыв о журнале «Современник», наблюдать за которым входило в его обязанность. Гончаров обвинял этот передовой демократический журнал в «крайностях отрицания в науке и жизни»[181]. Особенно нападал он на журнал радикального направления «Русское слово», особенно на статьи Писарева в нем. По мнению Гончарова, журнал этот наносил вред, так как пропагандировал «жалкие и несостоятельные доктрины материализма, социализма и коммунизма». Как цензор, он упорно боролся с так называемым «нигилизмом» — с этим, по его мнению, «злом», которое «кроется в незначительном круге самой юной, незрелой и неразвитой молодежи, ослепленной и сбитой с толку некоторыми дерзкими и злонамеренными агитаторами, нынче удалившимися или удаленными мерами правительства с поприща деятельности»[182]. Были у Гончарова и свои, так сказать, личные счеты с «Русским словом». В 1861–1863 годах на страницах этого журнала появились резкие выпады Писарева против Гончарова как автора «Обыкновенной истории» и «Обломова». В своем отчете об общем направлении «Русского слова» Гончаров указывал, что создавалось впечатление, что журнал сам напрашивался на то, чтобы «кончить свое существование преждевременно и насильственной смертью». В результате неоднократных предостережений журнал «Русское слово» после покушения Каракозова на Александра II (апрель 1866 года) был, как и «Современник» Некрасова, окончательно закрыт.

Таким образом, старания Гончарова как цензора не пропали даром. Правда, «чем выше Гончаров поднимался по лестнице служебной карьеры, тем тошнее ему становилось жить в этой глубоко ничтожной и реакционной среде карьеристов и интриганов»[183]. В своем дневнике за 1865 год А. В. Никитенко отмечал, что Гончаров жаловался ему «на беспорядок и великие неудобства нынешнего Совета по делам печати», говорил ему «о своем невыносимом положении в Совете». По словам Никитенко, «дела цензуры, пожалуй, никогда еще не были в таких дурных, т. е. невежественных и враждебных мысли руках»[184], как при министре-реакционере Валуеве.

До поры до времени Гончаров мирился со своим положением. Примечателен в этом отношении следующий эпизод. Министр внутренних дел Валуев, желая приостановить «Московские ведомости» Каткова, созвал экстренное совещание. Все члены

Совета смолчали, за исключением одного — Ф. И. Тютчева. Он объявил, что с решением Совета согласиться не может. Затем встал и вышел с заседания, потряхивая своей беловолосой головой, и написал Валуеву об отставке. Присутствовавший тут же Гончаров подошел к Тютчеву, пожал ему с волнением руку и сказал: «Федор Иванович, преклоняюсь перед вашей благородной решимостью и вполне вам сочувствую, но для меня служба — насущный хлеб старика»[185]. Наконец Гончаров все же нашел в себе силы бросить эту службу. 29 декабря 1867 года, согласно его прошению, Гончаров был уволен от службы и вышел в отставку с назначением пенсии по 1 750 рублей в год. Впоследствии Гончаров с горечью и сокрушением вспоминал о своей цензорской деятельности, которую всегда выполнял с щепетильной добросовестностью: «Служил… да еще потом цензором, господи прости!»

* * *

Малоприметным в творческой летописи Гончарова был 1864 год. В Петербурге у него почти совсем не было возможности заниматься писательским трудом. Вот почему, получая трех-четырехмесячный отпуск, он обычно выезжал за границу, где больше чувствовал себя литератором. Однако летний отпуск в 1864 году Гончарову пришлось, из-за ухудшения здоровья, использовать не для работы над романом, а для лечения в Карлсбаде — вместе с графом А. К. Толстым, который тогда как раз окончил писать «Смерть Иоанна Грозного». Гончаров очень высоко ценил эту его драму, как и последующую — «Царь Федор Иоаннович».

С А. К. Толстым у Гончарова установились тесные дружеские отношения, которые никогда затем не прерывались. Особенно сблизился Гончаров с поэтом-драматургом в период завершения и опубликования «Обрыва». «Его все любили за ум, за талант, но всего более за его добрый, открытый, честный и всегда веселый характер, — писал Гончаров в семидесятых годах о Толстом («Необыкновенная история»). — Все льнули к нему, как мухи; в доме у них постоянно была толпа — и так как граф был ровен и одинаково любезен и радушен со всеми, то у него собирались люди всех состояний, званий, умов, талантов, между прочим beau monde[186]. Графиня, тонкая и умная, развитая женщина, образованная, все читающая на четырех языках, понимающая и любящая искусства, литературу — словом, одна из немногих по образованию женщин». Гончарова они звали к себе беспрестанно,

и он бывал у них почти ежедневно.

Летом 1865 года, «похитив три месяца свободы от службы», Гончаров поехал вновь за границу. Находясь в Мариенбаде, он пытался работать над «Обрывом». В письме к С. А. Никитенко из Мариенбада (от 1 июля 1865 года) он писал: «Начал было перебирать свои тетради, писать или, лучше сказать, царапать и нацарапал две-три главы, но… Но ничего из этого не выйдет… «Отчего же не выйдет?» — опять спросите вы, а оттого, что оставалось, как казалось мне, перейти только речку, чтоб быть на другой стороне, а когда теперь подошел к реке, то увидел, что она — не река, а море, т. е. другими словами, я думал, что у меня уже половина романа вчерне написана, а оказалось, что у меня только собран материал и что другая, главная половина, и составляет все и что для одоления ее нужно, кроме таланта, много времени».

Таким образом, писатель ясно видел, что сама жизнь требует от него перестройки всего прежнего замысла романа, более широкого и острого отображения действительности, новых явлений в ней, ответа на жгучие вопросы современности. Именно потому все написанное казалось ему только «рекой», а все, что предстояло написать — целым «морем».

Отпуск в 1866 году Гончаров также провел за границей — в Баден-Бадене, Мариенбаде, Булони, Париже. Когда он находился в Мариенбаде, прусская армия открыла военные действия против Австрии. Из-за того, что фронт приближался к Мариенбаду, Гончаров был вынужден покинуть его.

Война 1866 года произвела на Гончарова сильное впечатление. На все происходившее он смотрел глазами гуманиста. «Я от души… проклинаю ужасы этой безобразной войны, — писал он тогда в одном из своих писем из-за границы. — В военную славу я не верю, героев войны не признаю: они отжили; смотрю на войну, как на орудие всеобщей полиции, и весь успех нынешней войны вижу только в том, что она — шаг к тому, чтобы войны были невозможны. Я видел, как пострадала от войны Австрия, вся Германия, сама Пруссия; думал, что тут и конец: приехал во Францию — и здесь слышу ей проклятия. Наконец она коснулась и Англии: банкротства — в Лондоне, в Париже, в Марселе, появились почти везде нищие»[187].

В Мариенбаде Гончаров работал над романом. В одном из своих писем к Александре Яковлевне Колодкиной, с которой случайно познакомился в этот раз на водах, он, между прочим, писал: «Роюсь в своих тетрадках и по временам прибавлю новую страницу»[188]. Он много раздумывает над образом Райского, стремится вполне и окончательно прояснить, кем и чем он должен быть. Но Райский так и остался для него тогда «в

тумане»[189]. Из-за «приливов в голове» Гончарову, однако, пришлось прекратить работу над «Обрывом». Врач назначил ему лечение — «Boulogne sur mer»[190]. Но Булонь со своим шумом и суетой, любопытными англичанами и англичанками, традиционным table d'hote, casino[191] и концертами знаменитой в то время певицы Карлотты Патти скоро на этот раз наскучила Гончарову. Его потянуло в Париж. В Париже он вновь встретился с Колодкиной.

По рассказам Колодкиной, Гончаров любил «для моциона» прогуливаться от Тюильри до Champs Elises[192]. Часто гуляли они с Иваном Александровичем, целой компанией устраивали недалекие загородные прогулки. Он развлекал всех своими рассказами, остроумными шутками, на которые был, в минуты расположения, неистощим. В одно из посещений Луврского музея Гончаров остановился перед статуей Венеры Милосской и, восхищенный, продекламировал (правда, несколько неточно) стихотворение Фета:

Цветет божественное тело
Неувядаемой красой…
Ты вся полна пафосской страстью,
Ты веешь негою морской,
И, вея всепобедной властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

В этом стихотворении, по словам Гончарова, «сжалось и спряталось то, что каждый должен чувствовать перед этой статуей, перед ее всепобедной красотой, смотрящей вдаль».

Вообще память Гончарова хранила множество стихотворений. Как он сам говорил, он «наизусть изучил всего Пушкина, Лермонтова». И в преклонных летах он любил поэзию и был тонким ее ценителем. Декламируя, он как бы молодел.

Однажды по возвращении с Парижской ярмарки они обедали в отеле «de France». Гончаров развеселился.

— Александра Яковлевна, — обратился он к Колодкиной, — вы такая поклонница Пушкина — верно, знаете его стихотворение «Ангел». Скажите…

Та начала:

В дверях Эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,

А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.
— Прости, — он рек…

— Теперь позвольте, — перебил ее в этом месте Гончаров и, держа бокал с шампанским, продолжал, импровизируя:

… Тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в мире ненавидел,
Не все я в мире презирал.

Обратная поездка Гончарова по заграницe была более туристской, чем когда-либо прежде. Из Парижа проездом Гончаров и Колодкина останавливались в Кельне, осматривали знаменитый собор и, конечно, по тогдашней традиции, купили «склянку» кельнской воды — «о-де-колоню», который впервые стал производиться именно в этом городе.

Более продолжительная остановка была сделана в Берлине. Гончарову Берлин нравился своими парками. Особенно он любил прогуливаться по Тиргартену, считая его лучшим парком в Европе.

В Петербурге Гончаров часто встречался с Колодкиной. Это свидетельствовало об их взаимной приязни. У Гончарова, видимо, возникало чувство близости к ней. Но в 1867 году Колодкина уехала из Петербурга в Вильно, где определилась начальницей высшего женского училища, сообщив об этом Гончарову post factum. Это удивило его. Он послал ей на память свою карточку. Колодкина поблагодарила. Больше они не встречались.

* * *

Во время лечения в Мариенбаде в июне 1867 года Гончаров в одном из своих писем С. А. Никитенко сообщал: «Хотел приняться за старый забытый труд (то есть за «Обрыв». — А. Р.), взял с собой пожелтевшие от времени тетради… Ни здоровье, ни труд не удались, и вопрос о труде решается отрицательно навсегда. Бросаю перо…»

Трудности, ставшие перед романистом в эту пору,

действительно были так велики, что он хотел бросить вовсе писать «Обрыв». С тяжелым сердцем покинув Мариенбад, он направился в Баден-Баден. Там он встретился с Ф. М. Достоевским.

К сожалению, ни в «Дневнике» Достоевского, ни в письмах Гончарова не отразились какие-либо существенные моменты этой встречи или, вернее, ряда их встреч на курорте. Достоевский тогда весьма «поигрывал» в рулетку, часто проигрывался «дотла», занимал деньги у Гончарова. Гончаров тоже «иногда заходил на рулетку» и, видя жадную толпу, «машинально» ставил луидор… Но как говорил сам Гончаров, «бес игры» его «никогда не мучил».

Находясь в Баден-Бадене, Гончаров прочитал только что вышедший в свет роман Тургенева «Дым». В «Дыме» Гончаров усмотрел «отсутствие дарования». По его мнению, все «фигуры до того бледны, что как будто они выдуманы, сочинены… просто по трафарету написанная кучка нигилистов».

В письмах к Тройницкому Гончаров указывал, что обо всем этом он «сказал автору». Действительно, аналогичные суждения о «Дыме» он высказал Тургеневу без всяких обиняков, письменно.

Предвзятое отношение к Тургеневу сказалось, таким образом, и в этом случае. Резко отрицательный отзыв о «Дыме» Гончаров повторил позднее в «Необыкновенной истории» («Это бледно, скучно, нехудожественно, фельетонно»).

В то время как Гончаров лечился в Баден-Бадене, П. В. Анненков писал редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу: «Не мешает Вам обратиться к нему (то есть Гончарову. — А. Р.) с предложением сотрудничества, узнав на месте, где он обретается… Всего лучше послать такое письмо на имя Тургенева: он знает адрес сего Эмира»[193].

Этот совет Анненкова Стасюлевичу возымел, как увидим из дальнейшего, свое действие.

* * *

Выйдя в конце 1867 года в отставку, о которой он «давно помышлял, как об отрицательном и неизбежном благе»[194], Гончаров постепенно снова входит в работу над «Обрывом». Правда, ему не сразу удается справиться с «упадком духа». Он тяжело переносит «адские штуки» петербургского климата: сильные январские морозы, метель, вьюги. Так, 22 января 1868 года он пишет Тургеневу, что его гнетет «тоска до жалкого уныния». Отвечая ему, Тургенев, в частности, интересовался его работой над романом. Гончаров сообщал ему: «Вы спрашиваете,

пишу ли я: да и нет… Да и какое писанье теперь, в мои годы». Однако далее замечает, что «читал я Феоктистовым[195], буду на днях читать Толстым[196], многое хвалят, а все остальное возбуждает вопросы и объяснения как материал».

Однажды (это было, видимо, в начале 1868 года) в доме графа А. К. Толстого Гончаров встретил издателя «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, который тогда старался «оживить» свой журнал беллетристикой, в частности, имел намерение заполучить «Смерть Иоанна Грозного» и «Царя Федора Иоанновича» Толстого и, конечно, следуя совету Анненкова, «Обрыв» Гончарова. Как-то в разговоре Гончаров сказал Толстому, что у него есть три части романа и что, может быть, не мешало все же «посмотреть бы, не годится ли он так, как есть, в трех частях». Все трое — М. М. Стасюлевич, А. К. Толстой и С. А. Толстая — ухватились за эту мысль и просили Гончарова прочесть им написанное. Целую неделю они втроем являлись в два часа дня к Гончарову на Моховую и уходили в пять[197]. Потом Гончаров читал у Толстого — но «под величайшим секретом», в спальне графини. Дочитали опять на Моховой.

Прочитанное было одобрено тройкой. «Это прелесть высокого калибра. Что за глубокий талант!» — писал Стасюлевич своей жене 28 марта 1868 года. «Обрыв», по его мнению, «будет колоссальным явлением».

Стасюлевич не спит и не ест, стараясь «захватить» гончаровский роман во что бы то ни стало. Он с тревогой сообщает жене, что «Некрасов сильно хлопочет» приобрести «Обрыв» для своего журнала «Отечественные записки», которые он, после закрытия «Современника», вместе с Г. З. Елисеевым арендовал у Краевского.

Наконец на обеде у Толстых 22 апреля 1868 года «порешили дело» с Гончаровым: он согласился отдать роман Стасюлевичу.

Вся эта история послужила для Гончарова внешним толчком к возобновлению работы над романом и положила начало близких отношений Гончарова с Михаилом Матвеевичем Стасюлевичем и его женой Любовью Исааковной, которые продолжались до смерти писателя.

Из писем Гончарова к Стасюлевичу, опубликованных в 1912 году, видно, с каким напряжением и мучениями — да, мучениями — протекала дальнейшая работа над «Обрывом».

Энергично добиваясь своего, Стасюлевич подгоняет подопечного романиста, «как кнутиком подгоняют кубарь»[198]. Он буквально, по выражению Гончарова, гонит его за границу — писать роман. «Ехать или не ехать, to be or not to be»[199] — спрашиваю я себя и утром и вечером — и утопаю в пассивном

ожидании чего-то (курсив мой.-А. Р.), глядя, как у меня зеленеет двор, как сирень буквально лезет в окна, как дикий виноград гирляндами заслоняет солнце от окон».

Перед грозой, могучим ливнем — щедрым даром земле — все затихает, останавливается, замирает в природе, — нечто подобное тогда совершалось и в душе художника. Именно в этом предчувствии начала нового вулканического действия творческих сил — «в пассивном ожидании чего-то» находился тогда Гончаров. В качестве настойчивого поджигателя творческой энергии писателя неустанно выступал Стасюлевич. По признанию Гончарова, он умел «шевелить воображение» и очень тонко действовать на самолюбие. В беседах с ним у писателя «заиграли нервы и воображение», и он, «почти рыдая от волнения», высказал ему все свои художнические «галлюцинации», «фантасмагории», «бред». Рассказывая об этом А. В. Никитенко, Гончаров писал ему в мае 1868 года: «…Вдруг передо мною встал конец романа ясно и отчетливо, так что, кажется, я сел и написал бы все сейчас… и тут же у меня сам собой при нем развился и сложился, или, лучше сказать, разрешился тот узел романа, который держал меня в праздности своей неразрешимостью — я как будто распутал последние нити… Что если б настоящее мое раздражение продлилось, ведь, пожалуй, и кончилось бы дело»[200].

Охваченный этим необычайным творческим возбуждением, Гончаров «вдруг собрался» и уехал за границу. За день до отъезда он писал Стасюлевичу: «Во мне теперь кипит, будто в бутылке шампанского, все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю, один, рыдаю как ребенок и измученной рукой спешу отмечать кое-как, в беспорядке… во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим. Ах, если б бог дал удержать это навсегда на бумаге и потом нарядить в красный кафтан, т. е. в Вашу обертку». При прощании с друзьями этот «приток» волнений и фантазии «разрешился нервными слезами на плечах Стасюлевича».

* * *

По дороге «на воды» — в Киссинген — Гончаров на некоторое время остановился в Берлине. Каждое благоприятное мгновение он использовал для работы. «Я работаю, работаю, пока головой еще и вношу только заметки в карманные книжки, которых исписал уже штуки четыре, — сообщал он С. А. Никитенко. — Мне снится что-то очень хорошее впереди… Ах, если бы берег, берег скорей!»

В Киссингене писатель намеревался прежде всего заняться первой половиной романа — все заново «прочесть, просмотреть, переправить», чтобы сдать ее в журнал в сентябре, поскольку он уже, по его словам, знал тогда, «что должно быть во второй половине». Выполнив эту задачу, писатель всецело сосредоточился на четвертой и пятой частях, которые, по его мнению, определяли идею романа. В Киссингене он всячески уединялся от знакомых, толпы, шума, жаждал одного — тишины. «В работе моей мне нужна простая комната, с письменным столом, мягким креслом и с голыми стенами, чтобы ничто даже глаз не развлекало, а главное, чтоб туда не проникал никакой внешний звук, чтобы могильная тишина была вокруг и чтоб я мог вглядываться, вслушиваться в то, что происходит во мне, и записывать. Да, тишина безусловная в моей комнате и только!»[201]

Однако такой тишины ему не удалось обрести на курорте. Шумы, фортепьянные трели, «вой» какой-то «чортовой куклы», поселившейся напротив него, — все это мешало ему и порой доводило до исступления. Он не умел «думать в одно время о Вере, глядеть в человеческое сердце, слушать и писать тайны страстей» и вместе с тем заботиться о переезде или о том, чтобы «не пропали панталоны или сапоги, укладывать чемодан и т. п.».

Но под гнетом этих и подобных им неурядиц Гончаров оставался недолго. Буквально через час он был уже в другом, радостном состоянии и вновь вдохновенно писал. Гончаров сам осознавал, что в его натуре — физической и нравственной — «есть какие-то странные, невероятные и необъяснимые особенности, крайности, порывы, неожиданности и проч.», которые особенно сильно проявлялись в нем в эти годы. Гончарову свойственны были внезапные перемены настроения и всего духовного облика под влиянием ничтожных обстоятельств. Так, после очередной кратковременной творческой депрессии у него на другой же день, после вечера, разрешившегося грозой, наступил необычайной силы подъем, и он «вдруг ожил», написал целую главу и потом от возбуждения и радости «бегал по аллеям, как юноша», даже купил любимый цветок лилию, а затем писал целое утро. Особенно раздражали и нервировали его знакомые, приставшие к нему с вопросами, что будет дальше в романе. Ему чудилось, что среди них есть агенты Тургенева, он чувствовал себя затравленным человеком, мучился опасениями, чтобы «чужой язык не слизал сливок», в своих письмах просил Стасюлевича ничего не сообщать ни Тургеневу, ни Анненкову.

Преодолевая эти душевные и творческие тернии, писатель все же идет вперед, роман пишется непрерывно. Если к началу июня

роман был еще только «в голове кончен», то к концу месяца было написано «листов 18», к середине июля — уже «39-й лист». Это значило, что писались уже тринадцатая и четырнадцатая главы третьей части. Роман разрастался, но писался с невероятной быстротой. Так, 5 августа Гончаров сообщал Л. И. и М. М. Стасюлевичам, что «…сегодня или завтра, или не знаю когда, надо писать ночную сцену бабушки с Верой».

Это значило, что романист вплотную уже подступил к восьмой главе заключительной (пятой) части «Обрыва». К сентябрю 1868 года был вчерне закончен весь роман. Но, вернувшись в Петербург (в сентябре), Гончаров вдруг обратился к Стасюлевичу с просьбой «остановить печатание объявления» о романе, от которого ему будто бы «приходится отказаться навсегда». В качестве причины к этому он выставлял «залежалость первых частей романа» и свое нежелание «соваться в публику с этакой безобразной махиной». Непоколебимость своего решения романист подтверждал намерением вернуть издателю весь денежный аванс.

Однако Стасюлевичу удалось в конце концов заполучить роман и начать печатать его.

Порешив отдать рукопись Стасюлевичу, Гончаров, однако, продолжал дорабатывать роман, сильно правил корректуры (Гончаров, как и Толстой, был настоящим бичом для издателей): выпускал «воду» многословия, устранял длинноты и «болтовню».

Полностью «Обрыв» был завершен в апреле 1869 года и опубликован в журнале умеренно-либерального направления «Вестник Европы» (1869, книги 1–5). Существенно, что за год до опубликования «Обрыва» в «Вестнике Европы» Н. А. Некрасов, как редактор «Отечественных записок», передового демократического журнала того времени, обратился к Гончарову с предложением напечатать роман в его журнале. В ответном письме Некрасову от 22 мая 1868 года Гончаров писал: «Я не думаю, чтобы роман мог годиться для Вас, хотя я не оскорблю в нем ни старого, ни молодого поколения, но общее направление его, даже самая идея, если не противоречит прямо, то не совпадает вполне с теми, даже не крайними, началами, которым будет следовать Ваш журнал. Словом, будет натяжка».

Это письмо чрезвычайно важно для понимания общественной позиции и взаимоотношений Гончарова с революционно-демократической частью русского общества в шестидесятых годах. Однако он явно односторонне решает здесь вопрос о возможности напечатания романа в некрасовском журнале. Одна из фигур романа (Марк Волохов) в известной мере, видимо, в тот момент заслонила от него самого другие, прогрессивные стороны

«Обрыва».

В чем же состояли это «общее направление» и идея романа, и в чем он не совпадал вполне с «даже не крайними началами»?

* * *

«Обрыв» Гончарова — один из крупнейших русских реалистических романов, отобразивших жизнь дореформенной России. В нем писатель продолжал разрабатывать основную тему своего творчества — «борьбы с всероссийским застоем», с обломовщиной в различных ее видах. Сила реализма Гончарова в этом романе выразилась в том, что он сумел показать существенные явления русской жизни 1840–1850 годов, глубокий кризис крепостнического общества, распад патриархальных основ жизни и морали, «состояние брожения», полную драматизма «борьбу старого с новым». Именно в этой борьбе старого и нового состоит основной жизненный конфликт и пафос романа, вся его художественная концепция.

Ставя перед собой в «Обрыве» задачу нарисовать картину не только «сна и застоя», но и «пробуждения» русской жизни, Гончаров тем самым наметил эпически-широкую форму реалистического романа и сделал новый шаг вперед в разработке антикрепостнической темы.

Правда, в отличие от ряда русских писателей, в частности от Тургенева, он, осуществляя эту тему в своих романах, почти совсем не изображал (если не считать дворни и слуг) жизни и быта крепостного крестьянства. Однако это вовсе не означало, что писатель был чужд народу. «Мне нередко делали и доселе делают нечто вроде упрека или вопроса, — писал Гончаров в предисловных строках к «Слугам старого века»[202], - зачем я, выводя в своих сочинениях лиц из всех сословий, никогда не касаюсь крестьян, не стараюсь изображать их в художественных типах или не вникаю в их быт, экономические условия и т. п. Можно вывести из этого заключение, может быть и выводят, что я умышленно устраняюсь от «народа», не люблю, то есть не «жалею» его, не сочувствую его судьбе, его трудам, нуждам, горестям, — словом, не болею за него».

На все это Гончаров давал один, но вполне искренний и верный ответ: «Я не знаю быта, нравов крестьян, не знаю сельской жизни, сельского хозяйства, подробностей и условий крестьянского существования». Отстраняя от себя упреки в «мнимом равнодушии к народу», он говорил: «…то с грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдаю благоприятный

или неблагоприятный ход народной жизни».

То, что Гончаров не изображал крестьянства, а изображал по преимуществу жизнь и быт поместного дворянства дореформенной поры или выходцев из этого класса, не должно служить поводом для упреков художнику. У каждого писателя есть своя сфера творчества, каждый пишет о том, что хорошо изучил и знает. Важно то, что художник выражает прогрессивные идеалы, мастерски выполняет свою задачу, то есть правдиво отображает жизнь.

Изображая поместное дворянство, быт и нравы крепостных усадеб — Грачевки, Обломовки, Малиновки, Гончаров, как большой художник, показал некоторые из существенных сторон дореформенной действительности. Писатель сумел сорвать идиллический покров с патриархально-поместного образа жизни, показать крушение крепостнического уклада жизни, назревание глубочайших противоречий между помещиками-крепостниками и закабаленным и обесправленным крестьянством. Ощущение того, что идиллия малиновского существования мнимая, все более и более нарастает у нас при чтении «Обрыва». Даже в таком тихом, отдаленном уголке, каким является имение Райского Малиновка, чувствуется приближение каких-то больших событий. Один из персонажей романа (помещик) говорит, что «мужики… навострили уши», «о воле иногда заговаривают». Как видно из сцены торжественного обеда в усадьбе бабушки Райского — Татьяны Марковны Бережковой, обладатели поместий не на шутку встревожены тем, что «в селе у Мамыщева не покойно». О многом говорит и тот факт, что наиболее убедительным доводом для неожиданного отъезда Ватутина избирается то, что в его деревнях «беспорядки», на деле же причина была другой.

Таким образом, хотя Гончаров и не изображал непосредственно жизнь и быт крестьянства, не создал типа русского крестьянина-земледельца, — в его романах весьма ясно и остро нашел свое отражение «крестьянский вопрос» (ликвидация крепостного права). Это был основной вопрос эпохи, и ни один из прогрессивных русских писателей того времени не мог игнорировать его. Но каждый из них освещал этот вопрос по-разному и на различном, близком ему материале. Гончаров хорошо знал поместное дворянство дореформенной и предреформенной поры со всеми его внутренними различиями, оттенками и превращениями. Основываясь именно на этом «материале», Гончаров и создал главные, ведущие образы своих романов, в том числе и романа «Обрыв».

* * *

К числу центральных, наиболее существенных по значению образов «Обрыва» относятся Райский, Вера, бабушка и — в двух последних частях романа — Марк Волохов. Именно эти фигуры более, чем другие, несут в себе идеи своего времени, характеризуют отношение автора к действительности. Однако самым центральным лицом романа, если иметь в виду сюжет, фабулу, весь ход развития повествования, является Райский. Если же исходить из того, в ком из действующих лиц выражены положительные, передовые стремления того времени, то тогда таким лицом надо назвать Веру. По высоте и силе своих жизненных идеалов и стремлений она подлинная героиня романа. Правда, метили в таких героев и Райский и Волохов. На это было всего лишь неосновательной претензией. Как общественный тип и как характер Райский не годился для этой роли. В одной из своих статей Гончаров замечал: «Райский сам ничто: он играет роль проволоки, на которую навязаны марионетки». И действительно, по сути дела Райский не играет в романе активной, действенной роли и чаще всего оказывается всего лишь свидетелем происходящего. Но он является «сквозным», то есть проходящим через весь роман, от начала до конца, персонажем. Его фигура связывает и скрепляет все действие. Именно через Райского мы знакомимся с другими персонажами романа.

В начале романа Райский предстает перед нами в петербургском великосветском кругу. Он уже лет десять живет в Петербурге. По окончании гимназии, потом университета он пытался служить, но вскоре бросил всякую службу. Когда ему стало за тридцать, он был ни офицер, ни чиновник, не знал никакого труда. Наконец он выбрал себе «дело». Любя искусство, он стал «немного» заниматься живописью, музыкой… писать. Но труд упорный, как и герою пушкинской поэмы, ему «был тошен». Его жизненное призвание и назначение неопределенно. По лицу трудно было определить его свойства, склонности и характер — лицо его «было неуловимо изменчиво». Подобно Обломову, он то живет, счастлив, глаза горят, то вдруг его как бы охватит неисцелимое страдание. «Нравственное лицо его было еще неуловимее». В нем проявлялись какие-то «загадочные черты». Кто же и что этот Райский? Одни говорили: эгоист и гордец. Другие считали — актер, фальшивый человек — доказывали третьи. «Помилуйте, это честнейшее сердце, благородная натура», — говорили те, кто видел Райского в светлые минуты жизни.

Итак, в кругу даже близких знакомых не складывалось о нем «никакого определенного понятия и еще менее образа». «Кто ты

на сем свете есть?» — спрашивает его бабушка.

Первые сцены «Обрыва» как-то всегда недооценивались критикой. Между тем они не только существенны по содержанию, хорошо написаны, но и важны по своей общественной значимости. В них Гончаров «замахнулся» на великосветскую обломовщину, сдернул маску с паразитического существования утонченной и изысканной обломовщины высшей столичной аристократии и бюрократии, раскрыл подноготную мира Пахотиных и Аяновых. Эту задачу он решил с помощью своего героя — Райского.

Перед своей кузиной, светской красавицей-вдовой Софьей Беловодовой, Райский сначала разыгрывает роль обличителя аристократического лицемерия, фальши, бесплодности существования. Указывая на портреты предков Беловодовой, он говорит, что они «лгут» ей, «обманывают» ее из своих золоченых рам. Он обвиняет ее, подобно герою «Горе от ума», в рабской покорности заветам предков, условностям светских нравов.

«M-r Чацкий…» — насмешливо обращается она к Райскому, выслушав эти его гневные филиппики. Он советует ей «снять портьеры из комнаты и с жизни». Он объявляет ей, что она «гибнет» в этом окружении роскоши, холодного безразличия, равнодушия, условностей высшего света.

Когда же та, напуганная, спрашивает, что она должна делать, он отвечает ей: во-первых, «понять жизнь», во-вторых… любить. «Вы спите, а не живете!» — восклицает он и пытается ее «разбудить»… Он пытается возбудить в ней «возвышенную любовь», бросая взоры на ее «роскошную фигуру, полную красоты», и мысленно завидуя тем счастливцам, которые смогут «по праву сердца велеть или не велеть этой богине…»

Но из всего этого вышло… ничего не вышло. Разыграв роль мнимого эмансипатора, проповедника свободы чувства, но ничего не добившись от Софьи Беловодовой, он бросил эту «холодную статую», эту «светскую куклу» и уехал в свое имение на родину, в Малиновку, на Волгу, где и разыграл сполна свою роль…

* * *

Как уже говорилось, в период перелома в русской общественной жизни и в творчестве Гончарова, то есть в 1860 году, образ Райского еще не был ясен для писателя. По признанию Гончарова, он, работая над Райским, одно время даже «стал в тупик». Романист долго не мог осознать, «кто такой герой, что он такое», или, как он говорил, «поймать его за хвост»,

подобно тому, видимо, как это сделал гоголевский кузнец Вакула в сцене с чертом.

В первоначальном замысле «Обрыва», возникшем еще в 1849 году, Гончаров хотел показать в Райском «серьезную человеческую фигуру», героя «переходной» эпохи, «проснувшегося Обломова» — художника, стремящегося подчинить свое творчество интересам жизни. Тогда роман назывался «Художник», затем «Художник Райский», потом просто «Райский». Тогда Райский был главной центральной фигурой романа. Это был измельчавший потомственный дворянин, один из людей сороковых годов, представитель прогрессивно настроенной дворянской интеллигенции той поры. Он искал «дела», находил свое призвание в служении искусству и стремился подчинить его интересам жизни.

Если бы образ Райского был написан тогда, когда задуман, то есть в конце сороковых или в начале пятидесятых годов, то Райский явился бы положительным героем в русской литературе. В частности, писатель был намерен выразить в этом образе передовые эстетические идеалы.

По этому замыслу роман должен был начинаться с рассказа о родословной Райского. Гончаров предполагал написать целую историко-семейную хронику. «Была у меня предположена огромная глава о предках Райского, с рассказами мрачных, трагических эпизодов из семейной хроники их рода, начиная с прадеда, деда, наконец отца Райского, — писал Гончаров в «Необыкновенной истории». — Тут являлись, один за другим, фигуры елизаветинского современника, грозного деспота и в имении и в семье, отчасти самодура, семейная жизнь которого изобиловала насилием, таинственными, кровавыми событиями в семье, безнаказанной жестокостью, с безумной азиатской роскошью. Потом фигура придворного Екатерины, тонкого, изящного, развращенного французским воспитанием эпикурейца, но образованного, поклонника энциклопедистов, доживавшего свой век в имении между французской библиотекой, тонкой кухней и гаремом из крепостных женщин.

Наконец следовал продукт начала XIX века — мистик, масон, потом герой-патриот 12-13-14 годов, потом декабрист и т. д. до Райского, героя «Обрыва».

Однако эта глава была впоследствии исключена из рукописи. Значительно изменилась в дальнейшем и роль Райского в романе. В связи с этим Гончаров предполагал дать своему роману уже другое название: в 1868 году он назвал его «Вера» и, наконец, «Обрыв» (Швальбах, июль, 1868 год).

Сначала Гончарова смущало то обстоятельство, что названия

всех трех его романов начинаются с буквы «О». Смеясь он произносил: «О-о-о». Но потом убедился, что «Обрыв» — хорошо, что это название верно выражает затаенный общественный смысл романа, драму, пережитую Верой. И это символическое название осталось за романом.

По существующей легенде, Тургенев, узнав, что свой третий роман Гончаров назвал «Обрыв», многозначительно воскликнул: «О! о! о!»

Характеризуя новое содержание образа Райского, Гончаров писал в «Лучше поздно, чем никогда»: «Райский — натура артистическая: он восприимчив, впечатлителен, с сильными задатками дарования, но он все-таки сын Обломова… Райский мечется и, наконец, благодаря природному таланту или талантам, бросается к искусству: к живописи, к поэзии, к скульптуре. Но и тут, как гири на ногах, его тянет назад та же «обломовщина». Он начинает что-то делать, но тут же бросает, страстно рвется к другому делу, но не добившись ничего, бросает его». В романе до конца раскрыта дилетантская сущность всех порывов Райского к общественно полезному делу. «Новые идеи кипят в нем: он предчувствует грядущие реформы, сознает правду нового и порывается ратовать за все те большие и малые свободы, приближение которых чуялось в воздухе. Но только порывается…»

В известной мере сочувствуя Райскому и отмечая в нем такие положительные человеческие черты, как «простота души, мягкость, искренность, глядевшая из каждого слова, откровенность…», романист показывает в облике Райского и много отрицательных черт.

Он резко критикует бесплодную барски-дворянскую романтику Райского, его либеральное фразерство. Райский готов наговорить и наговаривает Вере о своей невероятной страсти к ней, когда в действительности такой страсти нет. Он преувеличивает свои переживания и чувства, много и красиво говорит о них. Он весь может излиться в слове, а на дело уже не останется ни сил, ни желания. Райский кричит: «Язык мой — сам я — все это мое» (из рукописного варианта). И действительно язык этого персонажа раскрывает как нельзя лучше его характер.

Другая отрицательная черта Райского — это его необязательность в своем слове. Когда Райский говорит: «непременно», то, как справедливо замечала бабушка, — значит, ничего не выйдет. На словах он за освобождение крестьян, предлагает бабушке отпустить их «на волю». Но сам для осуществления этого намерения не шевельнет и пальцем. Вот почему, как говорится в романе, война Райского с бабушкой —

это «комическая война».

В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров дал очень четкую общественную характеристику этого типа людей. «Сам он, — говорит Гончаров о Райском, — живет под игом еще не отмененного крепостного права и сложившихся при нем нравов и оттого воюет только на словах, а не на деле: советует бабушке отпустить мужиков на все четыре стороны и предоставить им делать, что они хотят; а сам в дело не вмешивается, хотя имение — его».

При завершении работы над романом писатель в ряде случаев смягчил резкие филиппики Райского против аристократии (в сценах с Беловодовой), удалил из текста романа рассуждения Райского, имевшие обличительный, радикальный характер, в связи с тем, что они явно не вязались с той трактовкой и сущностью его образа, которые определялись в дальнейшем. Так, из начала XX главы второй части романа исключены были рассуждения Райского о том, что подневольный, крепостной труд подавляет в человеке духовные силы, его творческие стремления. Этот монолог Райского написан был Гончаровым с той остротой критики и осуждения крепостничества, которые присущи были передовой литературе сороковых-пятидесятых годов.

В образе Райского Гончаров, несомненно, сумел очень, чутко и верно показать эволюцию так называемых «лишних людей» в пореформенную пору жизни, их духовное и идейное измельчание по сравнению с «лишними людьми» — дворянскими интеллигентами типа Печорина, Бельтова, Рудина, выступавшими с прогрессивной для своего времени критикой существовавших общественных условий. Ранее на романтиков типа людей сороковых-пятидесятых годов возлагали кое-какие надежды. Когда либерал Дудышкин выступил с теорией примирения идеала с действительностью и призывал «трудиться», то есть быть расторопным верноподданным помещиком, то Чернышевский взял под защиту «людей сороковых годов». Он стремился провести ту мысль, что в дореформенной обстановке приспособление к действительности было главным злом и что романтика либеральных исканий играла тогда некоторую прогрессивную роль. Но уже через два года, то есть в 1858 году, Чернышевский резко заявил в статье «Русский человек на rendez-vous», имея в виду героя тургеневской «Аси», что «не от них ждем мы улучшения нашей жизни», хотя тогда и казалось, что «будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже»[203].

Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» указывал, что в обстановке, когда появилась возможность борьбы за интересы народа и когда от слов надо было переходить к делу, так называемые «лишние люди» остались в стороне от общественной борьбы и кончали обломовщиной. В «Обрыве» Гончаров как бы шел вслед за Добролюбовым и с исчерпывающей полнотой показал внутреннее родство «лишнего человека» пятидесятых годов Райского с Обломовым. Райского «тянет назад» и губит «та же обломовщина».

В Райском Гончаров выразил свое отношение к «людям 40-х годов», показав, к чему некоторые из них пришли в пятидесятых-шестидесятых годах..

О Райском романист говорил, что в нем «угнездились многие мои сверстники (вроде, например, В-П. Б-на, самого Т.[204], многих даровитых русских людей, прошатавшихся праздно и ничего не сделавших за недостатком удобрения почвы и по многим причинам)». Более того, Гончаров говорил, что иногда он «ставил в кожу Райского» и самого себя, что Райского он выносил «под ложечкой». Однако это не значит, что образ Райского натуралистически списан им с себя или с знакомых ему лиц. Имея в виду Райского, как и другие образы «Обрыва» (Вера, Марфинька, учитель Козлов и другие), писатель говорил, что «тут я писал с живых лиц», однако при этом добавлял, что в героях его романа реальные люди отражены «не целиком, а типично». По словам писателя, он стремился в образах своих романов «исключить все личное, все портреты, заменив их типами». «Никто моих печатных сочинений, — говорил он, — личностями не упрекнет».

Кризис дворянской материальной и духовной культуры породил Райских. Слабая связь с реальностью обусловила психологическую неустойчивость, импрессионистичность Райского. Щедрин метко сказал о нем — «великосветский разиня», «развинченное существо». Гончаров о Райском говорил, что он «живет нервами, управляемыми фантазией».

Дилетантизм сороковых-шестидесятых годов являлся одной из форм маскировки исторической несостоятельности и общественной бесплодности дворянско-буржуазного либерализма. Против дилетантизма в науке, искусстве, жизни выступали в сороковых годах Герцен и Белинский. Разоблачение дилетантизма было актуальным и в шестидесятых годах.

Гончаров в «Обрыве» раскрыл барски-дворянскую природу дилетантизма. Райский — самый колоритный и законченный образ из всех появлявшихся в русской литературе образов либерально-дворянского дилетанта.

Фантазия влечет Райского именно туда, где его нет, так как он никак не связан с реальной жизнью. «Он бросался от ощущения к ощущению, ловил явления… пробуя на чем-то остановиться», — говорится о нем в романе. Обычно его фантазия пошумит, пошумит и разрешится естественным путем, то есть ничем. Он один из тех, которые вечно чувствуют в себе талант, но не умеют, по словам Веры, «приспособить» его к делу. «Ни богу свечка, ни черту кочерга», — выразилась о Райском бабушка.

Искусство Райский сделал самоцелью. Его эстетические убеждения порочны. «Вся цель моя, задача, идея — красота!» «Мое дело — формы», — говорит он. Словом, Райский — сторонник теории «искусства для искусства». Но, как справедливо замечает в романе художник Кириллов, «искусство не любит бар». Вот почему барин-дилетант Райский ничего не достиг в искусстве.

Характерной чертой Райского является двойственность этических, эстетических и социальных стремлений. То он кричит: «Я — на земле!», — то он отказывается от жизни и бежит в искусство. Но через некоторое время уже вздрагивает «от предчувствия страсти», от «роскоши грядущих ощущений» и начинает исступленно кричать: «Да, страсти, страсти!..», дайте ему «обыкновенной жизненной и животной страсти». В такие минуты он страсть ставил выше искусства, выше всех «политических и социальных бурь».

Общественные идеалы Райского сводились к отрицанию крепостного права. Нравственные нормы и устои поместного хозяйства, по мнению героя, надо «переделать». «Феодальные замашки» бабушки кажутся ему «животным тиранством». Художник говорит, что Райский ненавидел «деспотизм своеволия, жадность плантаторов», а в споре «бросал бомбу в лагерь неустойчивой старины». Недаром его как-то Беловодова назвала Чацким.

Райский безусловно отражает в себе противоречия, которые присущи были либерально настроенным людям сороковых-пятидесятых годов. Райский стонет: «Нет у нас дела», порывается к делу, но в конце концов никакой решительности изменить формы жизни не проявляет. Вот почему он говорит: «Нет дела у нас, русских… дела нет — один мираж». Вот почему он впадает в глубокую хандру, оскорбляется «ежеминутным и повсюдным разладом действительности с красотою своих идеалов», и страдает «за себя и за весь мир».

В Райском Гончаров выразил все свое сочувствие, все свое сожаление и все свое несогласие с теми из людей сороковых годов, которые не преодолели в себе праздной, пустой романтики и дилетантизма и в пятидесятых годах разделили участь его

героя. Он поднялся в своем взгляде на жизнь выше этих людей. И через свою Веру он высказал Райскому свой ласковый гнев, радушную досаду и снисходительное отрицание: «Он неизлечимый романтик», «седой мечтатель Райский».

* * *

В одной из своих статей А. М. Горький говорил, что русская классическая литература «сумела показать Западу изумительное, неизвестное ему явление — русскую женщину…»

Гончаров был одним из самых вдохновенных певцов героики жизни русских женщин прошлого века. Вместе с Райским он видел, какой подвиг они совершали тогда в жизни, и «верил великому будущему русской женщины». И все силы своей души и своего таланта художник вложил именно в создание женского героического образа — Веры в «Обрыве». Вера ярко воплощает в себе высокую нравственную, человеческую красоту и силу души русской женщины.

Романист тонко сумел подготовить читателя к встрече с героиней. Она еще не появилась в романе, а мы уже с каким-то волнением ждем ее. А появившись, она на все время приковывает к себе наш интерес и внимание. И затаив дыхание мы следим за разыгрывающейся драмой, перипетиями ее любви.

Как художник, Гончаров достиг высокой поэтичности созданного им образа. Как-то по-особенному, и радостно и тревожно, влечет к себе красота Веры — ее бледное лицо, «бархатный черный взгляд», сдержанная грация, «невысказывающаяся сразу прелесть». Что-то сильное и гордое чувствовалось в ней, но Вера «проникать в душу к себе не допускала». Этим она как бы охраняла свое право на самостоятельный и свободный взгляд на жизнь, на независимость своих мыслей и чувств.

Эта черта в облике и характере Веры особенно вырисовывается в сопоставлении ее с Марфинькой — младшей ее сестрой. Образ Марфиньки исполнен естественности, теплоты, безыскусственной жажды жизни и счастья, дышит, по словам романиста, «поэзией чистой, свежей, природной». В отличие от Веры Марфинька до предела простодушна и откровенна. Все ее интересы не выходят за пределы семейного, домашнего быта.

Это, в частности, давало критике повод говорить об «ограниченности» Марфиньки. Но Гончаров не имел цели ни идеализировать, ни принижать этот образ, а рисовал его во всей его жизненной правдивости и естественности. Мы видим силу и

красоту души Веры, но своя внутренняя душевная красота есть и в Марфиньке. Мы видим ее юную и чистую любовь к людям, детям. Она светло и радостно смотрит на свой будущий долг матери.

Вера же совсем другая, «не здешняя», как говорит о ней Райский. Вере «тесно и неловко в этой устаревшей искусственной форме, в которой так долго отливался склад ума, нравы, образование и все воспитание девушки до замужества». Райский замечает в ней «смелый и свободный образ мысли», «свободу духа». «Живую, свободную душу» видит в Вере и Волохов. О Вере в романе говорится, что она «черпнула где-то других идей», что ей по плечу «современные понятия». Авторитет бабушки не имеет уже для нее силы. Даже Райский признает, что «отжил этот авторитет». Свободная от патриархальных убеждений и предрассудков, свободная в своем чувстве, она отвергает притязания многих на ее руку. Она умно и тонко отделывается от настойчивых попыток Райского увлечь ее, от его неистовых посягательств на ее душу, на ее нетронутую девичью красоту. Райскому она говорит, что «свободна, как ветер», что она будет бороться за свободу. «Какая ты красная, — говорит ей Райский, — везде свобода».

Вера стремится «итти на борьбу против старых врагов». Она жаждет «чистого, светлого, разумного, что могло бы не только избавить людей от всяких оков», но и «поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели имел».

Однако борьба эта трудна. Старое сперва всегда сильнее нового. Вера одна в этой борьбе. Полная «жажды чего-то нового», она встречает на своем пути Марка Волохова. В первый момент он предстает перед ней «странной и отважной фигурой». Она видит в нем «ум, какую-то силу», «поток смелых, иногда увлекательных идей». Вера полюбила Волохова — влюбилась «в его смелость, стремление к новому». Марк «манил» ее вперед, «образом какого-то громадного будущего, громадной свободы, снятием всех покрывал с Изиды…»

Но вскоре глазам Веры открылись и «вредные уродливости» Марка, и она вынуждена была признать, что у них «и убеждения и чувства разные». Волохов, как это говорится о нем в романе, зовет к разрушению всего старого, к отрицанию всего и вся. Он нигилист. Вера же «хотела не разрушения, а обновления».

Расходятся они и в своих взглядах на любовь. Волохов проповедует «право свободного размена в любви». Вера отвергает это. Она смотрит на любовь серьезно. Любить — значит рука об руку идти в жизни и борьбе. Вера хочет отучить Волохова «от волчьей лжи» в убеждениях и чувствах. У нее, как и у Ольги Ильинской, деятельная любовь.

Между Верой и Волоховым разыгрывается и любовь и борьба. В этом поединке Вера, не рассчитав своих сил, изнемогла. Увлеченная зовом Волохова, она кинулась к нему в обрыв. Волохов явился «творцом ее падения, разрушителем ее будущности».

В борьбу Веры с Волоховым были вовлечены и Райский, и бабушка, и другие персонажи романа. В целом это и составило ту драму, которая с такой силой наполняет две последние части романа.

Раньше, до этой драмы, до «истории обрыва», Вера чувствовала «себя сильнее всех окружающих». После этого Вера и бабушка «стали в какое-то новое отношение друг к другу». Романист заставил Веру умолкнуть в конце романа перед «старой мудростью» бабушки, олицетворявшей консервативную мораль дворянского общества. Пережив «обрыв», Вера обретает «силу страдать и терпеть». Это было, конечно, нарушением внутренней логики образа, отступлением от правды жизни.

Такой исход тем более кажется неубедительным, что Гончаров показал в романе, как сама «бабушкина правда» лежит в обломках…

Образ Веры в финале романа противоречив: Вера осудила свою гордость, и ее прежние независимые стремления как бы угасли. Но вместе с тем чувствуется, что она лишь внешне, временно примирилась со своей участью и окружающим.

Образ Веры полон глубокого драматизма. Она не находит избавления от тревожных вопросов жизни. Несомненно, она не найдет подлинного счастья и с Тушиным — этим, с точки зрения романиста, героем современности. В рукописи романа этот мотив был первоначально очерчен гораздо сильнее.

В истолковании образа Веры самим художником сказалась и известная ограниченность в знании новой, современной жизни. «Дальше Вере итти некуда — сами вы сознаетесь, что ничего еще не выработалось», — писал он в 1869 году Ек. П. Майковой.

Гончаров признавался, что он не смог показать другого пути Веры, так как до этого «не дописался», оставив это «на долю другим, молодым и свежим силам».

Спор между Верой и Марком Волоховым романист рассматривал, как конфликт двух лагерей русского общества. В предисловии к «Обрыву» он писал: «Спор остался нерешенным, как он останется нерешенным — и не между Верой и Волоховым, а между двумя аренами и двумя лагерями».

По первоначальному замыслу романа, возникшему у Гончарова в 1849 году, финал романа был совсем иным. Иной исход был и у Веры.

«У меня, — писал Гончаров Ек. П. Майковой в 1869 году, — первоначально мысль была та, что Вера, увлеченная героем, следует после, на его призыв, за ним, бросив все свое гнездо, и с девушкой пробирается через всю Сибирь».

Это очень важное признание. Оно свидетельствует о том, что начальный замысел «Обрыва» был тесно связан с идейной атмосферой сороковых годов. Осуществление этого первоначального замысла поставило бы, несомненно, образ Веры, по своей прогрессивной общественной значимости, в ряд таких героических образов русских женщин, как Елена из «Накануне» Тургенева, как некрасовские «Русские женщины». Однако этот замысел не нашел своего воплощения.

Вместе с тем, даже в рукописных вариантах романа, написанных в начале шестидесятых годов, в образе Веры более решительно подчеркнуты черты, характеризовавшие ее передовые стремления, ее смелый и независимый взгляд на жизнь, на общественные и личные права женщины. Интересен с этой точки зрения, например, вариант XV главы третьей части (где рассказывается о чтении старого «нравоучительного» романа):

«— А ты что скажешь, Верочка? — спросила бабушка.

Та молчала.

— Скажи что-нибудь.

— Что, бабушка, сказать, вот брат сказал: дичь.

— А у него все дичь: он сам сочиняет книжки. А ты скажи свою критику, как тебе показалась история.

— Глупая, бабушка, история. (Неправда.)

— Отчего же глупая, и кто глуп: все лица или сочинитель?

— И сочинитель, и лица.

— Чем же лица глупы?

— Как же терпели такую пытку над собою?

— А что им делать? Страсть сильна: они не могли одолеть ее и поплатились на всю жизнь. Что было им делать?

— Бежать! — вдруг сказала Вера.

Бабушка окаменела, а Райский вдруг вскочил с дивана и разразился гомерическим смехом. Вера, как кошка, шагнула за дверь и исчезла».

В опубликованном тексте эта сцена выглядит по-иному. Вера уже не говорит решительного слова «бежать» и не уходит столь демонстративно из комнаты.

Насколько иначе романист стал рисовать Веру в шестидесятых годах, свидетельствует и другой факт. В первоначальной «программе» романа Вера по своим убеждениям не расходилась с любимым ею человеком (на место которого впоследствии стал Марк Волохов) и даже отправлялась за ним в

ссылку, в Сибирь. В писавшемся уже в шестидесятые годы романе отношения между ней и Волоховым основаны не на сходстве, а на глубоком различии их убеждений. «Я хотела, — говорит Вера Волохову, — сделать из тебя друга себе и обществу, от которого отвела тебя праздность; твой отважный, пытливый (блуждающий) ум и самолюбие».

Эта фраза отсутствует в печатном тексте романа, но мотив, выраженный в ней, Гончаров сохранил.

Из всего этого видно, что в первоначальной «программе» романа Вера (сороковые-пятидесятые годы) представляла собою более цельный характер, нежели как он обрисован в романе.

Однако, несмотря на существенные изменения, которым подвергся характер Веры в шестидесятых годах, на решающих этапах работы над «Обрывом», этот образ все же отличается глубокой правдивостью и реалистической силой и является одним из самых замечательных созданий художественного таланта Гончарова. Именно образ Веры наиболее ярко и полно выражает в романе идею пробуждения русской жизни (в том духе, как понимал эту идею писатель). Ее стремление к «новой жизни» и «новой правде», ее живой и независимый ум, гордый и сильный характер, нравственная чистота — все эти черты сближают и роднят Веру с передовой молодежью шестидесятых годов. В. Г. Короленко в своей статье «И. А. Гончаров и «молодое поколение» (1912) писал, что в образе Веры ярко выражено то, что «переживало тогдашнее «молодое» поколение… когда перед ним впервые сверкнул опьяняющий зов новой, совершенно новой правды, идущей на смену основам бабушкиной мудрости»[205]. Если в бабушке, по словам Гончарова, выразилась «вся старая русская жизнь», то в Вере он видел «едва зеленеющие побеги» новой жизни.

Создав образ Веры, Гончаров осуществил свою заветную и давнюю мечту о «светлом и прекрасном человеческом образе», который, по его признанию в одном из писем к И. Льховскому (июль 1853 года), вечно снился ему и казался недостижимым.

* * *

В предуведомлении к журнальной публикации «Обрыва» «От автора» Гончаров указывал, что «в программе романа, набросанного еще… в 1856 и 1857 годах, не было фигуры Марка Волохова» и что «под конец романа, начатого давно и конченного недавно», эта личность приняла «более современный оттенок».

Впоследствии Гончаров неоднократно высказывался по

поводу возникновения и эволюции этого образа. Так, в статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» он писал: «В первоначальном плане романа на месте Волохова у меня предполагалась другая личность — также сильная, почти дерзкая волей, не ужившаяся, по своим новым и либеральным идеям в службе и петербургском обществе, и посланная на жительство в провинцию, но более сдержанная и воспитанная, нежели Волохов… Но посетив в 1862 году провинцию, я встретил и там и в Москве несколько экземпляров типа, подобного Волохову. Тогда уже признаки отрицания или нигилизма стали являться чаще и чаще…

Тогда под пером моим прежний, частью забытый, герой преобразился в современное лицо…»

Говоря о «признаках отрицания и нигилизма», Гончаров, несомненно, имел в виду «новых людей», революционную демократию. Предубежденное отношение Гончарова к идеалам передовой русской молодежи и явилось определяющим моментом для «преображения» ранее задуманного героя в Волохова, для придания ему «более современного, по выражению Гончарова, оттенка». Все это и объясняет, почему образ Волохова лишен внутренней цельности и выглядит как бы сшитым из двух половин. Гончаров заблуждался, настаивая на «типичной правде» фигуры Волохова.

Гончаров взялся писать «новых людей», не зная, не понимая их. В результате его постигла большая неудача.

Изучение сохранившейся рукописи романа позволяет видеть, что даже на последних этапах работы Гончаров рисовал Волохова в более положительном свете, чем в окончательном тексте «Обрыва». В главе, которая вначале была расположена между XXI и XXII главами 5-й части романа и затем целиком исключена автором, рассказывается о посещении Райским Волохова. Спор, который происходил между ними, весьма характерен для предреформенной обстановки и, по существу, отражал как либеральную, так и демократическую точки зрения на задачи русской общественной жизни.

Мысли Волохова обращены к «мужикам», «в поле, селы и усадьбы», что же касается Райского, то свои надежды он связывает с «работой», которая «идет в Петербурге», то есть с деятельностью либеральных кругов по подготовке крестьянской реформы.

Гончаров и в печатной редакции романа показал «ум», «волю» и «какую-то силу» Волохова, но вместе с тем и отказался от серьезной характеристики его политических убеждений. Не исключено, что люди, подобные Волохову, встречались тогда в жизни, но ошибка Гончарова состояла в том, что он пытался

обрисовать Волохова типичным представителем «новых людей», то есть людей самых передовых, революционных убеждений.

Гончарову казалось, что в Волохове он разоблачил всю несостоятельность новых революционных учений и морали или, как он говорил, «новой лжи». В действительности, даже тогда, когда писатель и пытался коснуться характеристики мировоззрения этого типичного, по его мнению, представителя «новых людей», он приписывал ему, в весьма упрощенном виде, те «крайности отрицания», тот вульгарно-материалистический подход к явлениям природы и общественной жизни, которые не были присущи революционной демократии.

Таким образом, фигура Волохова, вырисовавшаяся в «Обрыве» в шестидесятых годах, существенно меняла направление романа (точнее, двух его последних частей — 4 и 5), вносила в него консервативную тенденцию.

* * *

Следы позднейшей переработки и изменений несет на себе и образ бабушки. В рукописи и в главе «Обрыва», опубликованной в «Отечественных записках» в 1861 году, бабушка изображается как владелица мелкого поместья («из шестнадцати крестьян»). В окончательном тексте романа она обладательница «пятидесяти душ». Выражение «незначительное имение» заменено словом «небольшое». Вместо «повар и кухарка» стало «повара и кухарки», «запущенный» сад стал большим и хорошим, в комнатах — не пустые стены, а целая «галлерея предков». Ранее бабушка выглядела заурядной помещицей-провинциалкой. В ней больше было выражено житейской непосредственности, в языке ее пестрели просторечия и провинциализмы.

Но в конце шестидесятых годов, когда глубоко изменился прежний замысел романа, Гончаров по-иному стал рисовать и бабушку. Под пером художника ее образ приобрел символическое значение. «В бабушке, — писал Гончаров П. А. Валуеву (1881 год), — отразилась сильная, властная, консервативная часть Руси, которой эта старуха есть миниатюрная аллегория».

Отход писателя от художественной правды и реализма выразился в «Обрыве», в частности, в том, что в лице бабушки ему «рисовался идеал женщины вообще, сложившийся при известных условиях русской жизни». Фигура захудалой помещицы, конечно, мало подходила для того, чтобы выражать и эту «аллегорию» и этот «идеал». Вот почему Гончаров прибег к некоторой идеализации образа бабушки. Ей стали присущи «нравственная

сила, практическая мудрость, знание жизни, сердца». Вся Малиновка, ее «царство», «благоденствует ею». Она «мудро и счастливо управляла маленьким царством». Правда, в драме, которая разыгрывается в «Обрыве», бабушкина «правда», патриархальная мораль опрокинуты. Это, конечно, следует расценивать как победу реализма, правды в искусстве.

В «Обрыве» Гончаров нарисовал яркую художественную картину обреченности патриархального уклада жизни, старой морали. Малиновка, где обитает бабушка со своими внучками Верой и Марфинькой, предстает перед нами, как «лоно патриархальной тишины». Та же тишина «медленно ползущей жизни» царит и в соседних поместьях. «Все то же, что вчера, что будет завтра», — говорит, озираясь вокруг себя, Райский. Помещики Молочковы, как и Обломовы, «прожили век, как проспали».

Но этому «сну» приходит конец. Наступает «пробуждение». Появляются новые люди, слышатся новые голоса. Новое врывается в царство старого, отжившего. И тихая, казавшаяся такой идиллической Малиновка становится ареной глубоко драматичной борьбы старого и нового.

* * *

Фигура Тушина введена была в «Обрыв» одновременно с Волоховым. Сам Гончаров признавался, что Тушин — это лицо целиком вымышленное, умозрительное и притом мало удавшееся ему. «Нарисовав фигуру Тушина, — писал он в «Лучше поздно, чем никогда», — насколько я мог наблюсти новых серьезных людей, я сознаюсь, что я не докончил, как художник, этот образ и остальное (именно в XVIII главе II тома) договорил о нем в намеках, как о представителе настоящей новой силы и нового дела уже обновленной тогда (в 1867 и 1868 годах, когда дописывались последние главы) России».

Указывая, что в Тушине он намекнул «на идею, на будущий характер новых людей», и что «все Тушины сослужат службу России, разработав, довершив и упрочив ее преобразование и обновление», Гончаров явно идеализировал общественную роль этого предприимчивого помещика-лесопромышленника.

Тушин вполне типичная фигура дореформенной действительности. Капитализм был еще слабо развит, но его развитие шло, и лесопильная промышленность была спутником первой индустрии. В то же время это была наиболее отсталая отрасль промышленности. Именно таково и хозяйство Тушина.

Он в своем хозяйстве сочетает найм и кабалу, у него «свои и чужие» рабочие. Он и помещик и промышленник. Именно из этих Тушиных выходили потом душеприказчики российского либерализма, политически близкие к октябристам и кадетам. Это Тушины позже стали заправлять земством и городскими управами, заниматься политической деятельностью и культуртрегерством. Таким образом, Тушин типичен с социальной точки зрения, но крайне неубедителен, как человеческий образ, как характер. Идеализация в Тушине человеческих качеств оказалась несостоятельной, искусственной, а потому фальшивой.

Тушин появляется в «Обрыве», чтобы «спасти Веру». Колоссальная, но не основательная претензия!

* * *

Сознавая, что «Обрыв», в котором наряду с прогрессивными идеями проявилась и консервативная тенденция (Волохов), может вызвать неблагоприятную критику, Гончаров счел необходимым обратиться к читателям журнала с особым предуведомлением, в котором указывал, что его роман в основном отображает старую, дореформенную жизнь, и было бы неверно искать в нем полного отражения современности. Однако вместе с тем Гончаров подчеркивал, что он не мог в шестидесятых годах вовсе уклониться от изображения современности, что ему многое пришлось изменить и дописать заново, что и определило «разницу в пере».

М. М. Стасюлевич, в предисловии к первому отдельному изданию романа «Обрыв» (1870) также обращал внимание на то, что «полный ход и действие главных лиц романа, как известно, совершается в начале пятидесятых годов… Автор уясняет нам в том времени не столько источники новой жизни, сколько указывает результаты предшествующего периода. Предвестников нашей эпохи мы не видим потому в этом романе, что их нельзя было видеть в ту пору и в самой тогдашней жизни». Повторяя в данном случае основную мысль Гончарова, Стасюлевич вместе с тем не нашел в романе «предвестников» новой эпохи.

Эта точка зрения была характерна для либеральной критики «Обрыва». Либеральная критика была явно разочарована романом именно потому, что в нем автор не показал, с ее точки зрения, главного героя современности — человека либеральных взглядов и стремлений, деятеля правительственных реформ.

Бесспорно и то, что резкое осуждение критикой фигуры

Волохова заставило «Вестник Европы» умолчать и о намерении Гончарова выдать Волохова за представителя «новых людей».

В читательских кругах с интересом ожидали появления нового романа Гончарова. В печати «Обрыв» вызвал многочисленные критические отклики. Со статьями и рецензиями об «Обрыве» выступили в шестидесятых годах журналы и газеты различного общественного направления; в них нашла отражение острота идейной борьбы того времени, однако роман тогда не получил всесторонней и полной оценки.

Журнал реакционного толка, «Русский вестник» пытался выставить Гончарова певцом патриархально-дворянской жизни, «поэтом захолустья», который якобы с «любовью» изображал «царство бабушки». Журнал обходил и всячески затушевывал критику в романе «старой правды», патриархального быта и нравов, крепостнического «сна и застоя». Выразив свое сочувствие таким действующим лицам романа, как Ватутин, Марфинька и бабушка, автор статьи резко осуждал Гончарова за то, что тот якобы «осквернил седины» бабушки, рассказав историю ее «падения». «Русский вестник» извратил подлинный, прогрессивный смысл выступления Гончарова в защиту права русской женщины на свободу чувства. Как показал художник в «Обрыве», в так называемом падении и бабушки и Веры виновно само общество.

Крайне отрицательно «Русский вестник» оценил образ Веры в «Обрыве». Все прогрессивное в ней он расценивал как «ненормальное явление», заявив, что Вера — это «незрелый плод нездоровых учений», нечто среднее между «кисейной барышней» и «стриженою нигилисткой». Извращая образ Веры, критик «Русского вестника» ставил его в один ряд с Марком Волоховым и не скупился на бранные словечки по адресу Волохова. Журнал упрекал Гончарова в том, что его Волохов не может служить серьезным оружием для борьбы с революционными стремлениями в русском обществе, поскольку в его образе не дано «должного», с точки зрения «Русского вестника», «ниспровержения» политических и социальных мечтаний, а тем более религиозного материализма» («Русский вестник», 1869, N 7).

Критик либеральной газеты «С.-Петербургские ведомости» находил «одним из наиболее интересных» образов «Обрыва» образ Веры. «С.-Петербургские ведомости» обошли молчанием в оценке образа Райского тот факт, что в нем объективно были развенчаны, как бесплодные, настроения, характерные для дворянско-либеральной интеллигенции сороковых-шестидесятых годов. Образ Волохова не вызывал у критика «Обрыва» каких-либо возражений по существу, и это свидетельствовало о том, что

взгляды критика в данном случае не противоречили оценке этого образа самим Гончаровым.

Критические статьи об «Обрыве», появившиеся в печати радикально-демократического направления, страдали односторонностью: правильно осудив отрицательные тенденции романа, они вместе с тем игнорировали его положительные, прогрессивные стороны. Характерной для радикально-демократической критики того времени была статья об «Обрыве» Н. Шелгунова — «Талантливая бесталанность». По мнению Шелгунова, Марк Волохов определяет собою все существо и направление романа «Обрыв» («Дело», 1869, N 8).

Суровой и принципиальной критике консервативная тенденция в «Обрыве» была подвергнута в органе русской революционной демократии шестидесятых годов — «Отечественных записках». Статья Н. Щедрина «Уличная философия» (1869, N 6) показала всю существенность и серьезность идейных расхождений передовой части русского общества с автором «Обрыва» в понимании ряда явлений русской действительности того времени.

Щедрин не ставил перед собою задачи дать полный критический анализ романа «Обрыв». Он анализировал одну, пятую часть его. Признавая в Гончарове «талантливого романиста», который в прошлом принес немалую пользу русскому обществу, Щедрин осудил попытку автора «Обрыва» выдать Марка Волохова за представителя «молодого поколения и тех идей, которые оно внесло и стремилось внести в нашу жизнь». В Волохове, справедливо замечал Щедрин, в извращенном духе истолкована идея революционного «отрицания», искажена идея стремления к «познанию истины», к передовым научным знаниям и принципам новой общественной морали.

Свою статью Щедрин заключил справедливым упреком Гончарову в том, что он не понял суть и смысл передовых стремлений молодого поколения, современности.

Гончаров очень болезненно переживал критику романа «Обрыв». «…Сколько я слышу, — писал он в одном из своих писем к М. М. Стасюлевичу, — нападают на меня за Волохова, что он — клевета на молодое поколение, что такого лица нет, что оно сочиненное. Тогда за что же так сердиться? Сказать бы, что это выдуманная, фальшивая личность — и обратиться к другим лицам романа и решить, верны ли они — и сделать анализ им (что и сделал бы Белинский). Нет, они выходят из себя за Волохова, как будто все дело в романе в нем!»

Несмотря на всю полемичность этого высказывания Гончарова, его желание услышать всестороннюю оценку романа

резонно и понятно.

* * *

Предубежденное отношение Гончарова к революционно-демократическому движению шестидесятых годов, оценка ряда явлений русской общественной жизни того времени с ограниченных и порою консервативных позиций — все это повредило, конечно, «Обрыву». Именно эта ограниченность общественных воззрений художника и была причиной всех тех отступлений от реализма, которые Гончаров допустил в своем последнем романе. Но эти недостатки не могут от нас заслонить больших и важных достоинств «Обрыва» как реалистического произведения. «Волохов и все, что с ним связано, — справедливо замечал В. Г. Короленко в статье «И. А. Гончаров и «молодое поколение», — забудется, как забудется гоголевская «Переписка», а над старым раздраженьем и старыми спорами будут долго выситься созданные им фигуры».

В «Обрыве» Гончаров в основном остался верен себе как истинный художник-реалист.

Созданные им образы и картины свидетельствуют о критическом взгляде художника на действительность, о стремлении подчинить свое творчество «интересам жизни». Как ни мал и узок сам по себе мир бытия дворянско-поместной усадьбы Малиновки, в нем, в этом мирке, широко и во многом объективно верно отображен ряд существенных черт и тенденций русского общественного развития. В самых обычных фактах и явлениях быта и нравов, в житейских буднях, в переживаниях своих героев Гончаров умел находить глубокие конфликты и противоречия, подлинный драматизм жизни. «Думал ли я, — говорит в романе Райский, — что в этом углу вдруг попаду на такие драмы, на такие личности? Как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды…»

Подлинного мастерства достиг Гончаров в изображении человеческих характеров, в раскрытии чувств и переживаний своих героев. А. М. Горький причислял Гончарова к тем великим художникам, которые «писали пластически… богоподобно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана…»[206]

В «Обрыв» Гончаров вложил «много тепла, любви… к людям и своей стране» (из письма его к М. М. Стасюлевичу от 19 июня 1868 года).

Правдивые, реалистические образы и превосходный язык объясняют, почему этот роман Гончарова высоко ценится нашей

современностью.

По композиции «Обрыв» более сложен, чем другие романы Гончарова. «Роман как картина жизни», — этот плодотворный реалистический принцип был положен в основу работы над «Обрывом». Именно в «Обрыве» с наибольшей силой проявилось стремление художника к широкой, эпической форме повествования. Это было вполне оправдано остротой и сложностью конфликта, драматизмом борьбы старого и нового, существенностью содержания романа.

«Обрыв» окончательно закрепил за Гончаровым имя мастера русского реалистического романа.

Однако в силу того, что роман был задуман в конце сороковых годов и отображал дореформенную жизнь, а в шестидесятых годах писатель внес в него и современные мотивы, — внутреннее единство романа, его формы несколько от этого нарушилось. Видоизменения, которые претерпел «Обрыв» в шестидесятых годах, на завершающем этапе работы, не только усложняли, но и частично ухудшили стройность его построения.

Сам Гончаров ощущал композиционную громоздкость «Обрыва». «Весь роман, — писал он Екатерине Павловне Майковой в начале 1868 года, — похож на громоздкий омнибус, тяжело переваливающийся по тряской мостовой».

Однако именно «Обрыв» явился важной вехой на пути дальнейшего развития эпического русского романа, величайшие образцы которого были созданы Л. Толстым.

В «Обрыве» Гончаров показал себя великим живописцем русской природы, вдохновенным и страстно влюбленным певцом ее величия и красоты. Пейзаж в романе органически связан со всем повествованием и движет и развивает его, обогащает и окрашивает всю картину жизни. Просторы, высокие берега, могучее дыхание Волги, свежесть и зелень прибрежных садов и рощ, восходы солнца и вечерняя тишина, пение птиц и сильные грозы — вся эта красота и сила русской земли, русской природы запечатлены с изумительной верностью и яркостью художником. Романы Гончарова одухотворены глубоким лиризмом. Строй его мыслей и чувств, личность художника выражены в них ярче и сильнее, чем в самых задушевных письмах. Образы и картины природы, созданные Гончаровым, глубоко волнуют нас. Они пробуждают в человеке любовь к родине, ко всему русскому. Как пейзажист, Гончаров чрезвычайно близок к русским художникам-передвижникам.

Сличение рукописного и печатного текстов романа позволяет видеть, какую громадную работу проделал Гончаров как художник, совершенствуя образы, картины, язык, композицию и

архитектонику романа. В «Обрыв» Гончаров вложил поистине громадные жизненные силы и труд. «Двадцать лет тянулось писание этого романа» («Лучше поздно, чем никогда»). «Это дитя моего сердца», — писал Гончаров А. Фету в 1869 году.

Глава двенадцатая
В семидесятые годы

Готовя в 1870 году отдельное издание «Обрыва», Гончаров в своем предисловии к нему писал, что роман вызвал «благоприятное впечатление на публику» и возбудил «неблагоприятные печатные отзывы в журналах». Было бы, конечно, неверно слова Гончарова понимать так, что вся русская критика шестиде-сятых-семидесятых годов разошлась в оценке «Обрыва» с тогдашней читательской массой. Нет сомнения, что, например, журналы демократического направления, осуждая писателя за Волохова в «Обрыве», выражали взгляды и настроения значительной части русской публики и притом наиболее передовой. И все же читатели оказались более чуткими, объективными ценителями произведения искусства, чем печатная критика. Такие случаи, следует заметить, не раз бывали в жизни.

Гончаров имел основание говорить о «благоприятном» отношении публики к «Обрыву». Издатель и редактор журнала «Вестник Европы», в котором был опубликован «Обрыв», М. М. Стасюлевич в своем письме А. К. Толстому от 10 мая 1869 года сообщал:

«О романе Ивана Александровича ходят самые разноречивые слухи; но все же его читают и много читают. Во всяком случае только им можно объяснить страшный успех журнала: в прошедшем году, за весь год, у меня набралось 3.700 подписчиков, а нынче, 15 апреля, я переступил журнальные Геркулесовы Столпы, т. е. 5. 000, а к первому мая имел 5. 700».

Рецензент радикального журнала «Дело» утверждал, что романом были «огончарованы» будто бы только чувствительные барышни и непритязательные читательницы. На самом же деле успех был настоящим и весьма широким. Как писал потом сам романист в «Необыкновенной истории», «впечатление от «Обрыва» было огромное. Стасюлевич говорил мне, — замечал Гончаров, — что едва наступит 1-е число, как за книжкой «Вестник Европы» с раннего утра, как в булочную (его слова), толпами ходят посланные от подписчиков».

С личным пристрастием и вследствие этого несправедливо судили об «Обрыве» некоторые русские писатели, в частности Тургенев. «Многословие невыносимое, старческое, и ужасно много условной рутины, резонерства, риторики. Должен признаться, что после правды Л. Н. Толстого, вся эта старенькая чиновничья литература очень отдает фальшью, да какой-то

кислой, неприятной фальшью», — писал он И. П. Борисову по прочтении первой части «Обрыва». «Какое отсутствие настоящей живой правды! — восклицал Тургенев в письме П. В. Анненкову от 12 января 1869 года, — …этакая промозглая и неистинная литература уже невозможна! Это надо сдать в архив!» Райского он называл «избитым типом», а слог представлялся ему «каким-то гладко выбритым, благообразно-мертвым чиновничьим лицом с бакенбардами, ниточкой вытянутыми от ушей к углам губ». Ошибся Тургенев и в прорицании судьбы романа. «Не знаю, какой успех ожидает в публике этот роман, — говорил он. — Но знаю наверное, что восторгаться им будут только пошляки — умные или глупые, — это все равно. Это написано чиновником для чиновников и чиновниц».

Неодобрительно отозвался об «Обрыве» и Достоевский. Гончаров писал Райского как типичного представителя дилетантствующей дворянской интеллигенции, а не русского человека вообще. Достоевский же не понял сущности образа Райского и заявил, что это «клевета на русский характер»[207]. Гончаров критиковал и обличал в Райском бесплодную дворянскую романтику, фразерство и эстетское отношение к жизни, а Достоевский обвинял писателя в том, что этот образ в романе «изображается по-казенному».

Некоторые критики силились доказать, что «Обрыв» свидетельствовал об упадке гончаровского таланта. Но прав был художник, когда говорил, что этот его роман «отнюдь не слабее и хуже», а напротив, «положительно лучше всего», написанного им прежде. И действительно, в «Обрыве» со всей силой и многосторонностью проявился громадный реалистический талант Гончарова. «Обрыв» — любимое «детище» Гончарова, но сколько горя это «детище» принесло ему!..

* * *

1869–1870 годы — один из самых тяжелых периодов в личной жизни Гончарова. Удары, нанесенные критикой по «Обрыву», трагически отозвались на писателе.

В мае 1869 года Гончаров уехал на лечение за границу, в Киссинген, взяв с собою все пять номеров журнала «Вестник Европы» — «для поправок» на досуге. Но вести, приходившие из России по поводу критики «Обрыва» в печати, подорвали у него всякое желание работать — готовить роман к отдельному изданию.

«В успокоение себе, — писал Гончаров С. А. Никитенко из

Киссингена 10 июня, — я могу желать, при этом упадке духа и сил, чтобы соотечественники мои простили мне, что я живу и пишу — и забыли бы совсем и мое имя и перо…

Я ничего не делаю и — кажется — никогда больше не буду делать, а сам из литературы выйду в отставку, как вышел из службы и из общества». И не скрывая своей боли, признавался: «я весь изранен», «у меня отняли дух и самолюбие работать вновь», «я не могу подумать без отвращения о новых трудах», «будущности у меня нет — я морально умер».

Но Гончаров не вышел «в отставку» из литературы и «не похоронил себя». «В книге моей есть доброе и честное», — пишет Гончаров С. А. Никитенко 22 июня. Сознавая это, Гончаров находит в себе силы побороть чувство отчаяния, «упадка духа».

В письме к С. А. Никитенко Гончаров сообщал, что в Киссинген приехал Некрасов. «…Так как у меня с ним, — замечал он, — никогда стычек не было, то и неприятные его стороны от меня скрыты, а так он всегда любезен, наружно-добродушен и покоен. К тому же мы и молчим большей частию, между тем я привык прежде часто его видеть — и присутствие его не тяготит меня». Гончаров при встрече, конечно, спросил Некрасова «о ругательной статье» против него в «Отечественных записках» (то есть об анонимной статье Н. Щедрина «Уличная философия»), но Некрасов уклонился от определенного ответа. Там же, в Киссингене, Некрасов прочел 5-ю часть романа и, по словам Гончарова, положительно отозвался о ней, заявив якобы, что Гончарова «не поняли» и что роман он «должен непременно печатать отдельно и написать предисловие и растолковать мысль и цель романа».

Возможно, что у Некрасова было свое мнение об «Обрыве», несколько отличное от мнения всей редакции «Отечественных записок». Следует здесь вспомнить, что именно Некрасов обращался к Гончарову в 1868 году с предложением печатать роман в «Отечественных записках». И хотя Гончаров тогда ответил Некрасову отказом, он не порывал дружеских отношений ни с Некрасовым, ни с другими сотрудниками «Отечественных записок».

Совет Некрасова печатать «Обрыв» «отдельно», видимо, послужил своевременным толчком для романиста. «Стало быть, я решился печатать «Обрыв», будь что будет», — сообщает Гончаров С. А. Никитенко осенью 1869 года.

В состоянии депрессии Гончаров находился весь 1870 год.

Но он был человек сильный духом, и из всех невзгод и потрясений выходил в конце концов победителем, способным вновь трудиться, творить.

* * *

У Гончарова было намерение после «Обрыва» писать новый, четвертый роман. В январе 1870 года он писал П. В. Анненкову: «Если станет сил, лучше для меня, разделавшись с «Обрывом», подумать хорошенько о чем-нибудь новом, то есть о романе же, если старость не помешает».

Спустя полгода, Гончаров, находясь на лечении за границей, пытался начать работу над новым романом. «В прошлом году, в Булони, у моря, — сообщал он С. А. Никитенко 26 августа 1870 года, — я в последний раз почувствовал было охоту начать что-то новое. Погода была великолепная, ничто меня не беспокоило, и у меня начался было развиваться план какого-то романа; стали, по обыкновению, являться лица, характеры, сцены, даже очертания и эпилог к «Обрыву». Но только лишь я вернулся в нашу осень — тяжесть легла на меня…» Вспоминая об этом факте в 1879 году, в статье «Лучше поздно, чем никогда», Гончаров писал: «У меня раскидывался и четвертый период, захватывавший и современную жизнь».

Но Гончаров «оставил этот план», потому что, по его мнению, «творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни, а новая жизнь слишком нова, она трепещет в процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизменяется не по дням, а по часам. Нынешние герои не похожи на завтрашних и могут отражаться только в зеркале сатиры, легкого очерка, а не в больших эпических произведениях».

Гончаров хорошо знал дореформенную жизнь, что же касается современной жизни, нового поколения людей, то он сам признавался, что знал их плохо. «То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, — то недоступно моему перу! — говорил писатель. — У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал — словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало» («Лучше поздно, чем никогда»). Это вполне объясняет, почему не был написан Гончаровым роман о «современной жизни».

Не раз сожалел Гончаров о том, что ему не довелось совершить второе кругосветное плавание. В 1871 году его друг К. Н. Посьет предложил ему принять участие в походе фрегата «Светлана» вокруг света. Вначале согласившись, Гончаров затем «отрезвился от своего не по летам пылкого порыва плыть в

Америку».

Старость и нездоровье заставляли Гончарова избегать шумного общества, его сердечная жизнь, по словам Кони, «была в застое». Иронизируя по этому поводу над собой, Гончаров писал Н. Н. Теплову: «Что касается до граций, украсивших Вашу последнюю субботу своим присутствием, то мне, беззубому, тем паче, по причине их отсутствия, не подобало быть там — ибо «Пришли, пришли часы те скучны, Когда мои ланиты тучны Престали грации трепать», — и мне от них хорошего произойти не может, а может быть, как говорит один купец у Островского, «только скверно», тем более, что я предчувствую уж близкую кончину мира вообще, а свою в особенности…»[208]

Гончаров вынужден чаще уединяться в своей небольшой петербургской квартире в доме N 3 по Моховой улице[209]. Уже стал и круг его ближайших друзей. Среди них мы видим Софью Александровну Никитенко, бывшую до конца жизни писателя его задушевным другом и помощницей в литературной работе, а также Варвару Лукинишну Лукьянову, которой Гончаров увлекался в молодости и акварельный портрет которой — «прежней, красивой, молодой» — неизменно держал на своем письменном столе. Близок в те годы Гончаров по-прежнему и с Майковыми, хотя бывает у них реже. С вниманием относится он к творчеству Аполлона Майкова. Не раз слушает на вечерах у Майковых и у себя его стихи, пишет ему письма, в которых дает тонкие и верные замечания о достоинстве и недостатках его стихов. В числе очень близких знакомых Гончарова — редактор «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич, хотя впоследствии писатель и стал подозревать его в соучастии с Тургеневым в интригах против него.

По-прежнему в те годы продолжались у Гончарова хорошие, не лишенные дружественности отношения с Некрасовым. «Сегодня гуляя, я зашел к Некрасову», — как о чем-то обычном говорит он в своем письме Ю. Д. Ефремовой от 15 мая 1874 года. Некрасов жил тогда на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы, а Гончаров — на Моховой, то есть неподалеку.

Некрасов неоднократно дарил ему книги своих стихов с надписями: «От автора и друга», «Доброму другу». В 1872 году он прислал Гончарову оттиск своей поэмы «Русские женщины» («Декабристки»). Это был не только дружеский жест. В «Обрыве» говорится о подвиге декабристок, которые «шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо», унося «с собой всю силу женской души и красоты». Работая над поэмой, Некрасов обратил особое внимание на эти страстные и смелые строки романиста. Благодаря Некрасова за подарок, Гончаров, имея в виду подвиг

декабристок, замечал: «Это самый благородный предмет для искусства», но советовал «соблюдать осторожность», то есть не забывать о цензуре. Некрасову не удалось избежать цензурного произвола, и поэма «Декабристки» вышла под названием «Русские женщины».

Из литераторов в те годы бывали у Гончарова П. Д. Боборыкин, М. И. Семевский и другие. Особенно дружеские отношения сложились у Гончарова с видным прогрессивным судебным деятелем и талантливым литератором А. Ф. Кони, сыном его друга молодости Ф. А. Кони. В своих воспоминаниях А. Ф. Кони замечает, что Гончарова он видел и слышал в первый раз вскоре после возвращения его из кругосветного плавания. В начале же семидесятых годов снова встретился с ним, и, сойдясь довольно близко, пользовался его неизменным дружеским расположением в течение последних пятнадцати лет его жизни. Можно сказать, что А. Ф. Кони был тем человеком, который закрыл глаза почившему писателю.

* * *

Своими воспоминаниями о романисте Кони внес много живых и правдивых черт в портрет Гончарова. «Этот, как он сам себя называл, «угрюмый нелюдим», — писал Кони, — бывал жив, остроумен и даже весел, когда оставался вдвоем или в самом небольшом кружке… Не менее милым собеседником бывал Гончаров за своими многолетними обедами вдвоем в «Hotel de France», у Полицейского моста, и в кружке сотрудников «Вестника Европы» за еженедельными обедами у покойного Стасюлевича. Здесь, ничем не стесняемый и согреваемый атмосферой искренней приязни, он иногда подолгу вызывал особое внимание слушателей своими экскурсами в область литературы и искусства. Скрестив перед собой пальцы красивых рук, приветливо смотря на окружающих, он оживлялся, и в глазах его появлялся давно уже, казалось, потухший блеск. Так продолжалось многие, многие годы…»[210]

Перерывы наступали с приездами в Петербург… Тургенева. Тогда Гончаров избегал бывать на обедах у Стасюлевича. Однажды во время такого перерыва на вопрос А. Ф. Кони, когда он снова увидится с ним на Галерной, то есть у Стасюлевича, Иван Александрович с некоторым замешательством ответил: «Да вот все никак не могу собраться: все что-нибудь да помешает». Но видя, что такое объяснение идет вразрез с его регулярной и размеренной жизнью, он, помолчав, прибавил: «Чеченец ходит за

рекой!..»

К началу семидесятых годов относится и портретная зарисовка с Гончарова, сделанная писателем П. Д. Боборыкиным.

«Он показался мне, — вспоминает Боборыкин, — очень похожим на тогдашние его портреты, и смотрел моложе своих лет. Ему было уже под шестьдесят. Ходил он бодро, крупной походкой, сохранившейся до глубокой старости; седины очень мало, умеренная полнота, чистоплотно и старательно одетый, по тону и манерам не похожий ни на чиновника, чем он долго был, ни на артиста, ни на помещика, а скорее на типичного петербургского жителя, вроде образованного и воспитанного представителя какой-нибудь фирмы, или человека, имеющего почетное звание в каком-нибудь благотворительном обществе.

Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жизни облекался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных…»[211]

* * *

В семидесятых годах Гончаров много и внимательно читал и продолжал интересоваться театральной и литературной жизнью Петербурга, в частности выступлениями знаменитой артистки М. Г. Савиной, с которой состоял в переписке, постановками пьес Островского, «Горе от ума» Грибоедова, «Гамлет» Шекспира, участвовал в деятельности Московского драматического общества (в составе жюри), посещал художественные выставки, литературные вечера. Горячее участие принял писатель в подготовке и редактировании литературного сборника «Складчина» для оказания помощи голодающим крестьянам Самарской губернии (1874). Издание сборника, в который вошли произведения многих русских писателей, в том числе и самого Гончарова (очерк «Через двадцать лет») явилось благородным общественным делом. В 1875 году Гончаров участвовал в организации сборника для оказания помощи славянским собратьям. Он глубоко сочувствовал их освободительной борьбе на Балканах.

Не «умолк» Гончаров в семидесятых годах и как литератор. Он много пишет, хотя и не все публикует. Написал предисловие к роману «Обрыв» (1870), статью «Мильон терзаний» (1872), «Заметки о личности Белинского» (1874), работает над большой статьей об Островском (1874), пишет замечательный

«Критический этюд» о картине Крамского (1874). В том же 1874 году выступает в газете «Голос» с заметкой о картинах Верещагина. Гончаров высоко оценивает поступок П. М. Третьякова, который приобрел эти картины замечательного русского художника и вместе с другими его картинами отдал в дар Московскому обществу любителей искусств. Гончаров возбуждает мысль о необходимости создания в Москве Национального Русского музея живописи и скульптуры.

Газетные заметки Гончаров писал еще и в шестидесятых годах. Так, в газете «Голос» была помещена его заметка о приближавшемся трехсотлетии со дня рождения Шекспира. Деятельно участвовал он и в подготовке и проведении празднования столетия со дня рождения Карамзина (1866), выступил со статьей «Заметка по поводу юбилея Карамзина».

Писал он и на другие темы: о романсах знаменитой певицы Полины Виардо на стихи Пушкина, Фета, Тургенева и т. д. Его перу принадлежали анонимные фельетоны в «Голосе» по вопросам городского благоустройства (о необходимости «посыпать тротуары песком» и т. п. в этом роде). В 1876 году Гончаров написал статью о «Гамлете» и свою программную работу «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв». В 1877 году им был написан беллетристический очерк «Литературный вечер». В 1875–1878 годах писалась «Необыкновенная история». Эту «печальную летопись», «жалкую историю» он завещал (С. А. Никитенко) предать печатной гласности только в том случае, если после смерти его обвинят в заимствовании у Тургенева.

Это очень говорит в пользу Гончарова.

Как известно, обвинений таких не возникло. Рукопись была опубликована только в 1924 году.

В 1879 году Гончаров выступает в печати со своей крупнейшей критической статьей «Лучше поздно, чем никогда».

В эти годы Гончаров ведет обширную переписку. Многие из писем Гончарова являются, по существу, литературно-критическими работами в эпистолярной форме (излюбленный критический жанр Гончарова).

Самое значительное из написанного Гончаровым в семидесятых годах, бесспорно, — статья «Мильон терзаний». Работа над этой статьей свидетельствовала о пробуждении новых творческих стремлений и энергии у автора «Обрыва».

В ноябре 1871 года Гончаров присутствовал на бенефисе известного артиста И. И. Монахова, который выступал в комедии «Горе от ума» Грибоедова в роли Чацкого на сцене Александрийского (ныне имени Пушкина) театра.

«После спектакля, — вспоминал М. М. Стасюлевич, —

Гончаров в кругу близких ему людей долго и много говорил о самой комедии Грибоедова и говорил так, что один из присутствовавших, увлеченный его прекрасной речью, заметил ему: «А вы бы, Иван Александрович, набросали бы все это на бумагу — ведь это все очень интересно». Гончаров в начале 1872 года сообщал Ф. И. Тютчеву, что он «набросал заметки об этой комедии и об игре актеров, хотел оставить так, но актер Монахов (Чацкий) упросил меня сделать из этого фельетон. Фельетон не вышел, а вышла целая тетрадь».

Эта «тетрадь» и была отдана Гончаровым Стасюлевичу для напечатания в «Вестнике Европы» (1872, N 3). Интерес Гончарова к комедии «Горе от ума» относится еще к студенческим годам, когда он знакомился с нею в бесцензурных списках, а позже видел в исполнении крупнейших актеров Малого театра во главе с М. С. Щепкиным.

Большой заслугой перед русским обществом явилась статья Гончарова «Заметки о личности Белинского», впервые опубликованная в сборнике Гончарова «Четыре очерка» в 1881 году.

Начало работы над заметками относится к 1873 году, когда А. Н. Пыпин обратился ко всем лицам, близко знавшим Белинского, с просьбой поделиться своими воспоминаниями и всеми сохранившимися у них материалами о великом критике. Ответом Гончарова на эту просьбу явилась статья в форме письма «Как я понимаю личность Белинского». При этом Гончаров писал Пыпину: «По обещанию, на которое я вызвался после случайного разговора с Вами о Белинском, многоуважаемый Александр Николаевич, я набросал на бумаге все, что упомнил о нем и как я понимаю его лично. Полагаю, что по скудости фактов и по поверхности моих замечаний о нем листки эти самостоятельного значения не имеют».

Эта первоначальная редакция заметок не удовлетворила самого автора и не была опубликована.

Гончаров существенно доработал их после того, как присутствовал у Стасюлевича на чтении К. Д. Кавелиным своих воспоминаний о Белинском (март, 1874 год). Кавелин исказил образ великого критика, твердя вслед за реакционером Погодиным о его «неучености», «необразованности». Эта реакционно-либеральная клевета вызвала горячий протест Гончарова в его большом письме к Кавелину от 25 марта 1874 года. Это письмо почти дословно было включено в последние страницы окончательной редакции «Заметок о личности Белинского».

Воспоминания Гончарова о Белинском — правдивая и яркая

характеристика личности Белинского как общественного деятеля, человека передовых и страстных убеждений, как бесстрашного борца с «умственной и нравственной тьмой» крепостнической эпохи.

В современной Гончарову демократической критике статья, по существу, не получила оценки. В этот период демократическая критика главное внимание сосредоточила на полемике с Гончаровым по поводу его очерка «Литературный вечер», который был напечатан с «Заметками о личности Белинского» в одном и том же сборнике…

Подъем жизненных и творческих сил у Гончарова в эти годы был связан с подъемом его прогрессивных настроений.

Идеал общественного развития Гончаров усматривал в преобразовании всего «путем реформ», в сотрудничестве всех классов русского общества, в гармонии их интересов.

Обострение классовой борьбы, всех общественных противоречий в шестидесятых годах сильно подорвало эти надежды романиста на общественную гармонию, на «гармоническое целое». Обстановка, сложившаяся в России в те годы, угнетала романиста. В начале семидесятых годов атмосфера в стране стала менее напряженной, опасность революционной грозы временно миновала. Гончаров, так жаждавший общественного умиротворения, почувствовал облегчение. Семидесятые годы явились в жизни Гончарова годами плодотворной литературно-критической работы.

* * *

В своих литературно-критических статьях, написанных в семидесятых годах, Гончаров выступает убежденным сторонником реализма в искусстве. «Реализм, — говорит он, — есть одна из капитальных основ искусства» и состоит прежде всего в «стремлении к правде». Знаменательно, что борьбу за подлинное искусство Гончаров рассматривал прежде всего как борьбу за реализм. Он видел, что реакционное искусство, формализм и декадентство враждебны реализму, чужды жизни, человеку и обществу. Гончаров был решительным противником реакционной теории искусства для искусства.

Следует весьма положительно оценить то, как решал писатель вопрос о служебной роли реалистического искусства, творчества вообще. «Художественная верность изображаемой действительности, то есть «правда», — писал Гончаров в предисловии к «Обрыву», — есть основной закон искусства — и

этой эстетики не переделает никто. Имея за себя «правду», истинный художник всегда служит целям жизни, более близко или отдаленно» (курсив мой. — А. Р.). Таким образом, «правда жизни» нужна художнику именно для того, чтобы служить прогрессивным идеалам.

Гончаров видел, что «жизнь не стоит, а вечно движется». «В наше время, — писал он, — когда человеческое общество выходит из детства и заметно зреет, когда наука, ремесла, промышленность делают серьезные шаги, искусство отставать от них не может. Оно имеет серьезную задачу — это довершать воспитание и совершенствовать человека. Оно так же, как и наука, учит чему-нибудь, остерегает, убеждает, изображает истину, но у него другие пути и приемы: эти пути — чувства и фантазия. Художник — тот же мыслитель, но он мыслит не посредственно, а образами».

В этом определении искусства отмечена главная его особенность — его образная сущность и связь с развивающейся общественной жизнью, его общественная функция. Особенно существенно здесь признание познавательного значения искусства, его высокой роли в воспитании человека. Гончаров считал, что литература должна «делать человека лучше», она должна будить «добрые струны» и «не затрагивать недобрых». Но это, с точки зрения Гончарова, только одна сторона дела. Если бы художник ограничивался в своем творчестве только этим принципом, — он не достиг бы правды. «Света без теней изображать нельзя…» Поэтому искусство, по мнению Гончарова, должно, изображая человека, представлять «нельстивое зеркало его глупостей, уродливостей, страстей, со всеми последствиями, словом — осветить все глубины жизни, обнажить ее скрытые основы и весь механизм, — тогда с сознанием явится и знание, как остеречься».

Гончаров видел, какое большое значение имел критический реализм, гоголевское «отрицание» в русском искусстве.

«Русская беллетристика, — указывал он, — со времени Гоголя все еще следует по пути отрицания в своих приемах изображения жизни, — и неизвестно, когда сойдет с него, сойдет ли когда-нибудь и нужно ли сходить». Он говорил: «И я поддался этому направлению».

Однако признавая в принципе необходимость и законность «гоголевского отрицания» в искусстве, Гончаров вместе с тем определенным образом ограничивал смысл и значение этого принципа или, как он выражался, был против «крайностей» в применении этого принципа. На этой почве в шестидесятых-семидесятых годах у Гончарова возникли серьезные расхождения

с революционно-демократической критикой и эстетикой. В частности, он утверждал, что «новейшие реалисты», писатели революционно-демократического направления, довели якобы гоголевскую идею «отрицания» до нигилизма. Он был против такой критики жизни, которая требовала революционной ее переделки.

Ошибки Писарева в вопросе об отношении к классическому наследству и особенно к Пушкину дали повод Гончарову обвинить всю революционно-демократическую критику в огульном отрицании, в разрушении эстетики и искусства. В частности, выдавая Крякова из «Литературного вечера» за сторонника этого направления критики и литературы, Гончаров наделил его чертами грубости и цинизма. Кряков пренебрежительно относится к основным «пособиям» художественности — фантазии, типичности.

Предвзятым и поэтому ошибочным было и мнение Гончарова о том, что «новейшие беллетристы» будто бы ограничивались в своих произведениях «голой копией с действительности».

Вступил Гончаров в спор с «эстетиками из новых поколений» и по вопросу о том, какую жизнь должен изображать художник. Он утверждал, что «искусство серьезное и строгое не может изображать хаоса разложения». Такое изображение, по мнению Гончарова, — дело «низшего рода» литературы: эпиграммы, карикатуры, сатиры. Истинное произведение искусства отражает только «устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе».

По мнению творца «Обломова», искусство интересуется только тем, что вошло в «капитал» жизни. «С новой, нарождающейся жизнью оно не ладит» (из писем к Достоевскому).

Приведенные выше суждения Гончарова обусловлены во многом его собственной творческой практикой. Особенности своего творчества писатель возводил в закон искусства вообще. Старую жизнь он умел изображать, новая жизнь решительно не давалась романисту, не раз признававшемуся в том, что он с «современными типами русского общества вовсе не знаком».

Позиция Гончарова обеспечила ему успех в изображении старой жизни, в создании ее типических образов (Обломов), но оказалась решительно ограниченной и тенденциозной при изображении новых типов (Волохов).

Тревога за судьбу литературы заставляла писателя советовать молодым талантам не стоять на «скользкой дороге крайнего реализма», придерживаться «старых учителей», не отказываясь от законного развития новых шагов в искусстве, если эти шаги не будут «pa de geant»[212] и не будут колебать «основных законов

искусства».

* * *

Гончаров чрезвычайно интересовался проблемой типичности в искусстве. Типическое в искусстве, по мнению писателя, достигается обобщением явлений и фактов действительности. «Ведь обобщение ведет к типичности», — указывал он.

Типические образы, или типы, — это, с точки зрения Гончарова, «есть зеркала, отражающие в себе бесчисленные подобия — в старом, новом и будущем человеческом обществе» («Лучше поздно, чем никогда»).

Гончаров считал, что если человек изображен правдиво, то его «образ верен характеру», заключает в себе и общее и индивидуальное.

Какие же особые условия, с точки зрения Гончарова, нужны для того, чтобы образ, характер стал типом? Прежде всего, говоря о «типе», Гончаров имеет в виду «нечто очень коренное и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений». Образ становится типом с той поры, когда он «повторился много раз и много раз был замечен, пригляделся и стал всем знакомым». Не следует поэтому, говорит писатель, изображать те явления, о которых неизвестно, «во что они преобразятся и в каких чертах на более или менее продолжительное время».

По поводу одного персонажа в очерке Достоевского «Маленькие картинки» (сборник «Складчина») Гончаров писал: «Если зарождается, то еще не тип».

На основании этих суждений в некоторых работах о Гончарове утверждалось, что теория типа и типизации у него консервативна по своему существу. Это ошибочное мнение. Если эстетические взгляды Гончарова рассматривать в связи с той обстановкой, в какой он выступал, то станет видно, что суждения Гончарова не консервативны, или во всяком случае они не были консервативными в сороковых-пятидесятых годах. В вопросе о типе и типичности в искусстве Гончаров в основе исходил из воззрений Белинского и Гоголя. Белинский призывал изображать действительную, а не вымышленную жизнь, и в условиях борьбы с крепостничеством и реакцией изображение существовавшей, «устоявшейся» жизни было важнейшей задачей литературы и искусства. Крепостническая действительность, бесправие, отсталость, обломовщина были как раз теми сторонами «устоявшейся» старой жизни, которые «отрицали» художники так называемой натуральной школы. Тип помещика-крепостника,

бюрократа-чиновника, типы гоголевских «небокоптителей», гончаровских обломовцев, обитателей «темного царства» Островского были как раз выражением той «устоявшейся» жизни, нравов и быта, с которыми шла борьба передовых сил русского общества и русской литературы.

Следовательно, если иметь в виду сороковые-пятидесятые годы, гончаровская теория типа как раз отвечала задачам текущей жизни. Но в шестидесятых-семидесятых годах, когда новые, революционно-демократические идеи и стремления двинули развитие русского искусства и культуры намного вперед и когда самые передовые художники стали стремиться изображать жизнь и человека не только такими, какими они есть в данный момент, но и какими они становятся и станут в будущем, — в те годы, в ту пору точка зрения Гончарова на тип и типичность стала уже ограниченной, что, однако, не позволяет ее характеризовать вообще как консервативную. На определенном историческом этапе гончаровское понимание типа и типизации в искусстве было плодотворным и закономерным. Вот почему не следует отказываться от этих положений в эстетике Гончарова. Марксистско-ленинская эстетика вовсе но отрицает, что художники должны изображать устоявшуюся, укоренившуюся жизнь.

* * *

Искусство Гончаров определяет как «воспроизведение жизни». Наблюдаемая художником правда действительности, по мнению Гончарова, сперва отражается в его фантазии, а затем он переносит эти отражения в свое произведение. Это, говорит Гончаров, и есть «художественная правда». Процесс художественного творчества, в понимании Гончарова, в том и состоит, что «художник пишет не прямо с природы и жизни, а создает правдоподобия их, т. е. образы». На основании этого Гончаров приходит к выводу, что «художественная правда и правда действительности — не одно и то же». В письме к Достоевскому от 14 февраля 1874 года эта мысль конкретизируется следующим образом: «Вы знаете, — пишет он, — как большею частью в действительности мало бывает художественной правды — и как… значение творчества именно тем и выражается, что ему приходится выделять из натуры те или другие черты и признаки, чтобы создавать правдоподобие, то есть добиваться своей художественной истины». Это суждение об отборе художником материала действительности в общей форме

верно и указывает на то, что Гончаров был против натуралистического понимания правды в искусстве. Он требовал и добивался «типичной правды».

Верны мысли Гончарова о соотношении в искусстве тенденции, (идеи) и образа. «В искусстве, — писал он в «Необыкновенной истории», — только образ и высказывает идею, и притом так, как словами и умом… рассказать нигде нельзя. Выйдут не образы, а силуэты». В том же случае, указывает Гончаров, когда идея, тенденция слишком «выступают» в образе, — это ослабляет искусство. Примечательно, что слабость образа Волохова, а также Штольца и Тушина он объяснял, между прочим, тем, что тенденция в этих образах часто выступает сама по себе.

Писатель указывал, что и образ Обломова немного «тронулся», когда Обломов сам заговорил о себе в романе.

Безусловно верна мысль Гончарова о том, что «ум в искусстве есть уменье создать образ».

Правда, иногда художественный процесс представлялся Гончарову как «необъяснимый процесс», бессознательный.

Конечно, все подлинно творческое в искусстве — неожиданно для самого художника, кажется ему неожиданным. Об этом, собственно, и хотел сказать, видимо, Гончаров, когда говорил: «Хорошо, что не ведаю, что творю». Тезис о «бессознательности» творчества — тезис, бесспорно, ошибочный, идеалистический — Гончаров сам же неоднократно опровергал. Беда Райского в «Обрыве», судя по тому, что говорил о нем романист, как раз и состояла в этом преклонении перед бессознательностью творчества, в эстетском отношении к жизни. Райский, чтобы творить, стремился «ослепнуть умом», не хотел «осмысливать и освещать основы жизни», только «ощущать жизнь, а не смотреть в нее», а уж если смотреть, то только для того, чтобы «срисовать сюжеты», факты, не дотрагиваясь до них разъедающим, как уксус, анализом. «Мое дело — формы, мое дело только видеть красоту», — говорит Райский.

О том, какую громадную роль играет ум, сознательность в искусстве, показано Гончаровым в «Лучше поздно, чем никогда». «Не понадобится быть самому автором, — писал он, — чтобы рассудить и решить о том невидимом, но громадном труде, какого требует построение целого здания романа! Одной архитектоники, т. е. постройки здания, довольно, чтобы поглотить всю умственную деятельность: соображать, обдумывать участие лиц в главной задаче, отношение их друг к другу, постановку и ход событий, роль лиц с неусыпным контролем и критикой, относительно верности или неверности, недостатков,

излишеств и т. д.».

* * *

Особенно важное место в литературно-критических статьях Гончарова отведено проблеме литературного героя.

По существу, именно этому вопросу посвящена целиком статья Гончарова «Мильон терзаний».

В статье дан превосходный анализ бессмертного произведения Грибоедова. С большой силой убеждения и страстностью Гончаров высказал в статье свое отрицательное отношение к феодально-крепостническому укладу жизни, его нравам, свою веру в прогресс и необходимость появления людей, подобных Чацкому, во всяком обществе, где идет борьба нового со старым («Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим»).

В образе Чацкого знаменитый обличитель обломовщины находит много созвучного своим общественным идеалам, своим понятиям борьбы за прогресс. Чацкий, по его мнению, «больше всего» обличитель того, что «отжило, что заглушает новую жизнь». «Его, — добавляет Гончаров, — возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы… Его идеал «свободной жизни» определен: это свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми сковано общество».

С точки зрения Гончарова, Чацкий типичен не только для своего времени, но и для будущего. «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого». Чацкий будет повторяться, поскольку «все длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым». Вот почему, по мнению Гончарова, живуч и типичен и до сих пор Чацкий.

Вплоть до семидесятых годов комедия Грибоедова расценивалась критикой преимущественно как общественная сатира. Личной драме героя критика не отводила должного внимания. Гончаров раскрыл всю глубину реалистического содержания «Горе от ума», полный жизненного драматизма и страстей конфликт, остроту и сложность психологических переживаний героя.

Высоко оценил Гончаров и мастерство, с каким была написана Грибоедовым реалистическая картина московского быта и нравов той поры. Благодаря Гончарову навсегда утвердился в критике и в театре иной взгляд на образ Софьи. Прежняя критика видела в Софье только отрицательный образ. Гончаров же

показал, насколько противоречив и сложен духовный мир героини. «Софья Павловна, — говорит Гончаров, — вовсе не так виновата, как кажется». Все ее недостатки «не имеют в ней характера личных пороков», это «общие черты ее круга». И хотя ее мораль и мораль ее отца и всего круга — одно и то же, она, замечает Гончаров, «индивидуально не безнравственна». В ней он находит «сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром любил ее Чацкий».

Точка зрения Гончарова на «Горе от ума» во многом аналогична точке зрения Белинского в пору признания им Грибоедова как гениального человека и писателя. Так, в письме к Боткину (от 11 декабря 1840 года) Белинский говорил о «Горе от ума», что это «благороднейшее, гуманнейшее произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар…». Но Гончаров стремится показать не только обличительную, критическую сущность комедии и образа Чацкого, но найти в Чацком положительного героя. В этом отношении большой интерес имеет для нас замечание Гончарова о том, что Гоголь был прав, не дав в «Ревизоре» ни одного хорошего человека, поскольку он ставил своей главной задачей обличение пороков. Другое дело — Грибоедов, которому уже нельзя было обойтись без «хорошего человека», раз писатель поставил перед собой задачу очертить облик положительного героя.

В статье Гончарова «Мильон терзаний», как и в статьях о Белинском и Островском, нашли свое выражение лучшие и наиболее прогрессивные черты эстетического мышления Гончарова.

* * *

Гончаров был убежденным противником всякого формализма в искусстве и увлечения техникой. По мнению писателя, «техника приобретается только долговременным упражнением и дается почти всем, но она никогда не прикроет собой и не восполнит отсутствия идей, серьезного и глубокого взгляда на жизнь и вообще скудости содержания»[213]. На ряде примеров из литературы Гончаров убедительно доказывал «бессилие одной техники (без содержания)». О себе Гончаров говорит, что он всегда заботился о «добывании содержания». При этом он как

художник был очень взыскателен к себе и другим, не терпел небрежности в писательской работе, спешки, или «спеха», как он говорил. В так называемую «отделку», или «обработку», Гончаров всегда вкладывал очень много сил. «Пишется, — замечает Гончаров, — обыкновенно быстро, но обдумывается, обрабатывается и отделывается медленно, оглядно, вдумчиво, в глубоком спокойствии. Живописец отходит беспрестанно от своей картины то назад, то в сторону, становится на разные пункты, потом оставляет кисть иногда надолго, чтобы запастись новой энергией, освежить воображение, дождаться счастливой творческой минуты… Отделка — половина труда, говорят, по-моему, это все, не только в искусстве, но и в сфере мысли».

В лице Гончарова русская литература выдвинула не только одного из великих мастеров и творцов нашего литературного языка, но и страстного и неуклонного защитника его богатства, чистоты и красоты.

С глубокой тревогой за судьбы языка он писал: «Но мы сами продолжаем относиться к своему языку небрежно: в этом состоит наша громадная ошибка, опасность». Язык, по словам Гончарова, это «знамя, около которого тесно толпятся все народные силы», и без него невозможно достичь той «моральной силы», которая необходима нам, как великой нации.

Работа над формой произведения, его языком и архитектоникой у Гончарова протекала в органической связи с стремлением добиться большей глубины и содержательности — словом, художественного совершенства образов.

Реализм в искусстве Гончаров связывал с громадным творческим трудом. Все великие писатели-реалисты были великими тружениками. Обломовщина, дилетантство, барское отношение к труду художника, как показал Гончаров в Райском из «Обрыва», губят творчество. Обломовцы полагали, что талант не должен трудиться, он творит легко и свободно. Это было их роковым заблуждением, пороком. Талант, гений тоже должен трудиться. Там, где гений, — там титанический труд. «Литература, — по справедливому замечанию Гончарова, — поглощает, требует художника всего». Следуя завету великих учителей искусства, Гончаров говорил, что писателю, повествователю нужно обширное образование, надо «читать, читать всю жизнь и все литературы, а главное — работать неустанно».

* * *

Гончаров придерживался широкого взгляда на культурное наследие, понимал важность освоения его богатства. Он считал, что пушкинско-гоголевская школа в русской литературе могла вырасти только на основе всего предшествовавшего опыта литературы XVIII века и первых десятилетий XIX века. Он видел историческую закономерность развития искусства, но одновременно был против того, чтобы рутина подменяла собою живые традиции русской и западноевропейской литературы. Гончаров отрицательно относился к программе славянофилов.

Широта гончаровских литературных понятий проявилась прежде всего в его суждениях о Пушкине, Грибоедове, Крылове, Гоголе, в которых он видел «пролагателей новых путей в литературе». Верно судил он и о творчестве многих других писателей — русских и зарубежных, в том числе и о своих современниках. В частности, не утеряли во многом своей ценности и интереса и для нашей современности суждения Гончарова о драматургии Островского. Однако стремление Гончарова охарактеризовать Островского, как «бытописателя» (по преимуществу) следует признать ошибочным.

Особенное восхищение вызывал у Гончарова «высокий талант» Льва Толстого. Высшую заслугу Толстого как художника он видел в том, что Толстой умел «писать о народе и для народа», — а это могли немногие.

Гончаров сочувственно относился к поэзии Некрасова и творчеству ряда других русских поэтов — Фета, Тютчева, Полонского.

Мнения Гончарова о творчестве других писателей-современников порою противоречивы. Показательны в этом отношении, например, его суждения о Щедрине. Особенно высоко оценивал Гончаров «Господ Головлевых» Щедрина, на него сильное впечатление произвел образ Иудушки. В письме к Щедрину от 30 декабря 1876 года Гончаров, отмечая «объективное величие этого типа», писал, что это «тип мировой», но вырастает на определенной почве. На Иудушку он смотрел, как на тип человека, который не может исправиться. Он не видел в нем возможности к изменению. Гончаров отлично понял «пустоутробие» Иудушки и всего стоящего за ним старого, феодально-крепостнического строя. Образ Иудушки Гончаров считал огромным художественным достижением Щедрина.

Однако, признавая большой талант Щедрина, он очень холодно относился к его стремлению изображать «злобу дня», которая, по мнению Гончарова, не является достойным объектом «серьезного» искусства.

Не скрывая своего несогласия с революционными и

социалистическими убеждениями Белинского, Гончаров вместе с тем отмечал громадное влияние Белинского на ход русской общественной жизни, на развитие русской литературы. В шестидесятых-семидесятых годах проблема отношения к наследию Белинского была очень актуальна, и вокруг имени Белинского шла острая идейная борьба. В своей статье «Заметки о личности Белинского» Гончаров выступил против клеветы на Белинского со стороны реакционеров и либералов. Однако вместе с тем в своих «Заметках» Гончаров — и это не трудно видеть — проводил линию на известное отделение Белинского от поколения революционных шестидесятников — Чернышевского и Добролюбова.

Настойчиво и горячо Гончаров отстаивал мысль о необходимости максимального изучения и использования классического наследия мировой и русской драматургии и театра, прямо заявляя, что без сохранения великих традиций классики искусство захиреет, измельчает и выродится.

Успехи современной западноевропейской литературы, ее достижения Гончаров прямо связывал с успехами реализма. Он резко отрицательно относился к писателям, в творчестве которых видел формалистические и натуралистические тенденции.

Из западноевропейских писателей он выше всего ценил и любил Диккенса, называя его «учителем всех романистов», имея в виду и себя. По его мнению, Диккенс в своих романах создавал «великие картины жизни для всех».

Прогрессивные идеалы и стремления, вдохновлявшие Гончарова как художника, определили основную направленность и его литературно-критических статей, написанных в семидесятых годах.

Глава тринадцатая
В конце жизненного пути

На исходе семидесятых годов в России вновь повеяло революционной грозой. События 1879–1880 годов свидетельствовали о возникновении в стране новой революционной ситуации. Пристально изучая русскую действительность этого времени, Маркс и Энгельс писали, что «революция начнется на этот раз на Востоке», что социальный переворот может совершиться в России в ближайшее время[214]. В эти годы еще более острым стал аграрный вопрос, намного усилилась борьба крестьян с помещиками за землю. Все больше и больше рабочих вовлекалось не только в экономическую, но и в политическую борьбу. Возникает «Северный союз русских рабочих». Активизирует свою деятельность против самодержавия революционно-народническая партия «Народная воля». Террористические акты против царя Александра II следуют один за другим. Приговоренный «Народной волей» к казни, он был убит 1 марта 1881 года.

Все эти события сильно удручали Гончарова, у которого в семидесятых годах ожили было надежды, что в недалеком будущем Россия, идя по пути постепенного прогресса, превратится, наконец, «в одно стройное гармоническое целое». Но при всех обстоятельствах Гончаров и в восьмидесятых годах не был равнодушным к русской общественной жизни. Он оставался верен своим взглядам о необходимости продолжать борьбу с пережитками крепостничества, произволом и насилием, загниванием бюрократического аппарата. Гончаров, в частности, не скрывал своего негодования по поводу получивших в то время широкую огласку злоупотреблений в судебных органах многих губерний. Он был изумлен тем, что новый судебный аппарат, созданный в годы реформ, так быстро загнил. 11 ноября 1882 года Гончаров писал уезжавшему на ревизию судов А. Ф. Кони: «Я не умею представить себе процесса обревизования судов целой губернии: то есть не знаю, как это делается: может быть, так, как делалось в доброе старое время с бунтующими массами — берут десятого и порют. И тут достают из бумажного океана десятое дело и поверяют».

Выражая надежду, что ревизия, которую произведет Кони, принесет большую пользу, Гончаров далее говорит в письме: «Это струя свежего воздуха, вдунутого в душную тюрьму (курсив мой. — А. Р.). Но где же взять 50 Анатолиев Федоровичей, чтобы

внести дезинфекцию в 50 провинций? Мне только странно, что такое свежее и молодое дело… успело настолько испортиться в короткое время, что нужно предпринимать экстренную и поголовную дезинфекцию целого ближайшего к столице участка! Когда и как успел он засориться!»[215]

Критически относясь к действительности того времени, Гончаров, как и в шестидесятых годах, с консервативных позиций судит о революционных стремлениях в русском обществе, осуждает «лжеучителей», которые поучают молодежь «отвергать авторитеты», проповедуют идеи материализма и социализма. «Да, нельзя жить человеческому обществу этими забытыми результатами позитивизма (имеется в виду материализм. — А. Р.) и социализма и даже предвидящимися дальнейшими успехами того и другого», — писал Гончаров Владимиру Соловьеву в 1882 году.

Налицо вопиющее противоречие: с одной стороны, Гончаров видит и признает успехи материалистического и социалистического учения, а с другой — полностью отвергает его…

9 сентября 1881 года Гончаров вместе с Л. Н. Толстым и А. Н. Островским за заслуги перед родной литературой был избран в почетные члены Киевского университета. Это очень порадовало романиста. Заметно оживил и ободрил его успех «Мильона терзаний». Н. И. Барсов, будучи еще до этого знакомым с Гончаровым, встретил его в эти дни на улице «в весьма бодром настроении духа». Гончаров совершил с ним обычный свой прогулочный тур, — до набережной Невы и обратно, говорил, что, возможно, напишет еще несколько подобных этюдов.

1882 год. Гончарову исполнилось семьдесят лет. Пройдена уже большая часть жизненного пути. Исполнены главные замыслы, совершен громадный труд, начали слабеть и угасать жизненные силы. Наступала старость, усилились недуги, «склонность к простуде», слабеет зрение, слух. Еще в 1868 году у него появилась «боязнь за глаза». В 1885 году писателя постигает большое несчастье: после долгой болезни у него вытекает один глаз. «У меня одно осталось око, одно окошечко на божий свет, и я берегу его пуще глаз», — писал он А. А. Фету в 1888 году.

Мужественно борется Гончаров с «гнетущим, тяжелым чувством утраты зрения», переносит все невзгоды этой нерадостной поры в своей жизни. Сколько позволяют силы, он продолжает трудиться.

Находились в прошлом биографы и любители воспоминаний, которые пытались уличить престарелого писателя в равнодушии к жизни и к людям, в черствости и бессердечии, изображали

жизнь Гончарова в старости, как пассивное, ничтожное и мелкое существование. Конечно, с внешней стороны это была малоинтересная, однообразная жизнь. Старость и болезни принуждали писателя жить более уединенно, чем раньше. Реже стали собираться у него друзья. Реже стал и он посещать близкие ему семьи Стасюлевича и Никитенко, избегал бывать на официальных обедах и разных бенефисах.

Из-за болезни Гончаров не смог принять участие в Пушкинских торжествах, которые состоялись в начале 1880 года в Москве, где тогда был поставлен памятник поэту. С горечью писал он Л. А. Полонскому:

«Я глубоко тронут честью, которую Вам и другим гг. распорядителям Пушкинского праздника угодно было оказать мне избранием меня в председатели торжественного обеда…

Но, к великому прискорбию моему, я захворал с праздника Пасхи упорным катарром и буквально едва держусь на ногах.

Не случись этой невзгоды со мной, я счел бы святою своею обязанностью, без всяких напоминаний, у подножья памятника, в Москве, вместе с другими писателями поклониться памяти нашего общего великого образца и учителя в искусстве и моего особенно».

По той же причине, как и по причине своей обычной скромности, нелюбви ко всякого рода почестям, он отказался в 1882 году праздновать пятидесятилетие своей литературной деятельности: «Понеже, — писал он А. Ф. Кони, — я никакого шума и никакой юбилейной каши не хочу. Ни, ни!»

В день юбилея Гончарова посетила делегация русских женщин, преподнеся ему — от имени ста русских женщин — адрес. 31 декабря 1882 года писателя посетили на его квартире самые близкие друзья и преподнесли ему настольные мраморные часы с бронзовым изображением Марфиньки из «Обрыва»[216]. Щадя старика, друзья воздержались «от всяких приветственных речей» в честь юбиляра.

В течение более чем пятидесяти лет Гончаров жил в Петербурге (где, по выражению одного иностранного писателя того времени, «улицы всегда мокры, а сердца всегда сухи»), страдая от его сырого и холодного климата и мечтая о юге и солнце — «где потеплее, позеленее».

Последние тридцать лет Гончаров прожил в небольшой квартирке на Моховой улице в доме Устинова. Его домашняя обстановка была очень скромной. Зайдя в рабочую комнату Гончарова, нельзя было подумать, что это кабинет одного из величайших писателей. Небольшая, низкая комната была разделена пополам драпировочной перегородкою. У самой

перегородки — шкафчик с книгами и рукописями; дальше диван, над которым, на стене, большой портрет красивой женщины и несколько гравюр. Тут же рядом самый простой письменный стол, посредине которого — часы с бронзовым бюстом девушки сверху, две вазы, чернильница, две-три книги, несколько мелких безделушек, вольтеровское кресло для чтения, с мягкой спинкой и такими же ручками, — вот и весь кабинет Гончарова[217].

Вечной реликвией для состарившегося писателя была посмертная маска Белинского, которая висела на видном месте в его кабинете.

С годами у Гончарова сложился свой, очень скромный, образ будничной жизни — быт старого холостяка. День его начинался сравнительно рано. После легкого утреннего завтрака, чая и традиционной сигары писатель, если позволяло самочувствие, работал в тиши, читал что-нибудь или писал письма — «гомеопатически» — «письма по два в день, не меньше». Тут же, всегда свернувшись у ног, лежала его любимая собачка Мимишка. Гончаров любил рассказывать друзьям о своей собачке, и в этой исключительной заботе о ней, по словам П. Д. Боборыкина, видна была уже складка холостяка, привыкшего уходить в свою домашнюю обстановку.

Дома стола он не держал, а ходил обедать в «Hotel de France», где пользовался весьма умеренными обедами.

После обеда он обычно совершал долгую прогулку. В день он тратил на прогулку не менее трех часов. Чаще всего его можно было встретить вечером на Дворцовой и Гагаринской набережных или на Фонтанке. Любил он бывать и на Неве в те дни, когда уже зеленели сады и берега, а Нева несла в море льдины — большие, белые… Ходил он бодро, медлительной, но крупной походкой. Одет был всегда тщательно. Дома, подобно своему герою, любил носить шелковый шлафрок.

Прогулки чаще совершал в одиночку, но иногда с кем-либо из своих друзей и знакомых — любил на ходу беседовать. Проходя по Невскому, он по обыкновению заглядывал к Елисееву, где ему предлагали первоклассные сигары, зная, каким большим знатоком и любителем их он был. Регулярно посещал он в книжный магазин Вольфа. В те годы Гончаров очень интересовался французской беллетристикой и часто брал у Вольфа французские книги, которые, по прочтении, возвращал в безупречно чистом виде. При себе Гончаров имел всегда записную книжку, в которую вносил ту или иную возникшую у него во время беседы мысль. «Это у меня такая привычка с самых ранних лет моей жизни», — говорил он.

Домой Гончаров возвращался уже поздно вечером, где его

ждал чай, письма и сигара.

Состояние здоровья и недостаток средств уже больше не позволяли писателю совершать поездки за границу. Желая «отдохнуть от зимнего безделья», как он выражался, и от «адской тяготы лета в городе» — «в дачном времяпрепровождении» он посещал Балтийское побережье, Дуббельн и другие места близ Риги. По свидетельству Боборыкина, одна из улиц этого местечка была впоследствии названа Гончаровской. Отдыхая у моря, Гончаров чувствовал себя много лучше. Будучи рьяным купальщиком, он часто посещал пляж, «Каждое утро, восстав от сна, в 9 часов, — с маленьким саквояжем (где полотенце, мыло и прочее), — писал в юмористическом тоне Гончаров А. Ф. Кони из Дуббельна летом 1880 года, — иду в соседство окружного суда и являюсь во всей наготе среди волн, в виду тоже нагой, но немногочисленной публики, между прочим, попов, офицеров, гимназистов, — и, может быть, членов и окружного и других судов! Словом — продолжаю Дуббельн».

В течение многих лет у Гончарова служил камердинером и заведовал его домашним хозяйством честный и трудолюбивый курляндский уроженец Карл Трейгульт. В конце семидесятых годов он скоропостижно умер от чахотки. Гончаров, соболезнуя его вдове с тремя малолетними детьми, оставил ее служить у себя, обеспечив жильем.

Более того, Гончаров счел своим долгом позаботиться о ее детях. Он сам обучал и воспитывал их, часто гулял с ними по городу, водил по магазинам, покупал им всякие лакомства.

По рассказу В. Спасской, встретившейся с Гончаровым в Дуббельне, он «жил на отдельной даче, с тремя детьми умершего слуги, которых всюду возил за собой, трогательно о них заботясь. Все трое весело резвились на кругу в компании других детей. Помню, как сейчас, тоненькие фигурки в красных платьицах и белокурые головки этих двух девочек. Особенно любовно Иван Александрович относился к младшей девочке, ласкательно называя ее «лягушонком». Мать сирот жила при них и прислуживала Ивану Александровичу. Ежедневно он занимался с ними русским языком и арифметикой»[218].

«С годами, — говорит в своих воспоминаниях о писателе А. Ф. Кони, — когда стали подрастать дети, сердце Ивана Александровича откликнулось на их чистую ласку, и он привязался к ним, и особенно к старшей девочке, глубоко и трогательно. Его заботам, просьбам, материальным жертвам, ходатайствам, письменным и словесным, эти дети были обязаны своим воспитанием и образованием в средних учебных заведениях, за чем он следил с исключительным вниманием…

Мало-помалу их жизнь пустила в его существование крепкие, неразрывные корни»[219]. В одном из своих писем к А. Ф. Кони Гончаров признавался, что любовь к этим детям ему «помогает тянуть воз жизни и терпеть до конца».

Все свое состояние, достигавшее сорока тысяч рублей, он оставил этой семье. Кроме того, по завещанию он предоставил дочери своей экономки Е. К. Трейгульт право собственности на свои последние произведения. Письма Гончарова к родным, прежде всего к брату[220] и сестрам, характеризуют его, как отзывчивого и доброго человека.

Гончаров, как это часто бывает свойственно старым холостякам, живейшим образом входит в большие в малые интересы и нужды родных ему людей, особенно сестер — шлет им книги, разные вещи и даже… синьку для белья. Более всего забот причиняли ему многочисленные племянники. «Меня уже давно, — добродушно замечал Иван Александрович, — стали одолевать племянники». Известно, что значит для провинциалов дядюшка в столице! Много крови и нервов испортил своему дяде «племянничек» Виктор Кирмалов. Дядя «сунул его столоначальником», а тот «в должность не ходил», рассчитывая жить за счет доброго дяди. Возмущенный этим, Иван Александрович писал брату: «Я ему доказывал, что таких дядей теперь и в комедиях на сцене не видать, что баловство — это дело бабушек и глупых теток… я сам не капиталист и живу одиноко, затворником, работаю».

Особенно пекся он о воспитании, образовании и будущем другого племянника — Александра Гончарова, студента Дерптского университета. Среди большой занятости он находил время писать ему пространные назидательные письма, посылал нужные книги, деньги.

Однако когда Иван Александрович умер, отказав все свои сбережения осиротевшим детям своей экономки, его «милый» Сашенька написал воспоминания об И. А. Гончарове, в которых было мало правды, а больше неприязни и лжи.

О теплом и отзывчивом сердце писателя свидетельствовало, в частности, то, как он относился в те годы к Ю. Д. Ефремовой, которая всегда ранее принимала деятельное участие в устройстве его дел, вроде перемены квартиры, разных покупок, найма прислуги и т. д. С годами когда-то прекрасная Юнинька стала совсем немощной, слепнущей, больной старушкой. С торопливостью, которая тогда была уже ему тяжела, Гончаров устремляется на ее зов, хлопочет в разных инстанциях о пенсии за умершего мужа…

Писатель внимательно следил за жизнью родного города. Он

высоко ценил симбирскую Карамзинскую библиотеку, которая была открыта в 1848 году. Он называл ее «прекрасным учреждением» и считал, что «библиотека много делает добра и оказывает огромное влияние на развитие и образование Симбирска».

В шестидесятых годах он был избран почетным членом Карамзинской библиотеки. В 1881 году Гончаров подарил родному городу свою богатую личную библиотеку[221].

* * *

«С половины восьмидесятых годов жизнь Гончарова пошла заметно на убыль, в особенности после того, как он ослеп на один глаз, — писал А. Ф. Кони. — Он побледнел и похудел, почерк его стал и крупнее, но неразборчивее, и он по целым дням, неделям не выходил из своей малоуютной и темноватой квартиры на Моховой, где прожил 30 лет. На летнее время далекий любимый Дуббельн сменился более близкой Усть-Нарвой, а затем и Петергофом»[222].

Самые последние годы жизни писателя проходят в тяжкой борьбе с недугами. Осенью 1890 года Гончарову стало несколько лучше. «На Невском неожиданно встретил прогуливающимся Гончарова: идет один, без провожатых, молодец молодцом», — писал М. М. Стасюлевич своей жене 13 октября 1890 года.

До конца жизни Гончаров не переставал трудиться, не положил своего писательского пера, глубоко верил «в иную жизнь» русских людей, России. Без труда он не мыслил своей жизни. Приходится только удивляться, как много еще мог сделать тяжко больной писатель.

В 1880 году в журнале «Русская речь» он печатает очерк «Литературный вечер», которым хотел вмешаться в литературную полемику тех лет, высказать свое отношение как к реакционным, так и к революционным эстетическим теориям. При всей противоречивости позиции Гончарова в этом очерке он выступал убежденным защитником прогрессивных принципов литературы, сторонником реализма в искусстве. Правда, впоследствии Гончаров раскаивался в опубликовании этого очерка — и не только вследствие того, что считал его художественно слабым.

В 1881 году Гончаров готовит и выпускает в свет сборник «Четыре очерка», в который, кроме «Литературного вечера» и «Мильона терзаний», вошли также «Заметки о личности Белинского» и статья «Лучше поздно, чем никогда».

В восьмидесятых годах Гончаров имел уже право подвести

итоги своей творческой деятельности. Сочинения его — «Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история» и «Фрегат «Паллада» — были в то время совершенно распроданы. Бывая в книжном магазине Вольфа, Гончаров сам слышал, как публика спрашивала его книги. Однажды между Гончаровым и Вольфом произошел следующий разговор:

— Что же вы, Иван Александрович, не приступите к новому изданию ваших сочинений? — спрашивал его Вольф.

— Куда мне уж, старому? Забота, хлопоты, корректура… Нет, это я не в состоянии…

— Позвольте! Все это — дело издателя, — убеждал Вольф.

— Да, но, выпуская новым изданием, следовало бы кое-что исправить, переделать, сократить… Где мне теперь приниматься за такую работу…

Попытки Вольфа уговорить Гончарова продать ему право на издание не привели к положительному результату, хотя книгопродавец заявлял, что определение гонорара всецело предоставлено будет Гончарову.

Когда однажды Вольф, обвиняя Гончарова в непреклонности, заметил ему: «Вы прямо-таки настоящий Обломов», Гончаров, помолчав, пристально посмотрел на Вольфа и сказал с явной раздраженной иронией:

— Да, вы совершенно правы… Я Обломов, и Обломов — это я, — и тут же вышел из магазина[223].

Ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью романа «Обломов», А. Ф. Кони и другие близкие писателю люди настойчиво уговаривали Гончарова издать его полное собрание сочинений.

В начале ноября 1882 года он, наконец, подписал контракт с книготорговцем Глазуновым и уступил ему свое авторское право на все свои сочинения.

Но издание первого своего полного собрания сочинений Гончаров не рассматривал как дело только издателя. Начиная с 1883 года, Гончаров тщательно работает над текстом своих романов, внося в них существенные поправки, изменения. Особенно много сил потратил Гончаров на улучшение текста своего первого романа — «Обыкновенная история».

Он сильно исправил язык романа, сделал множество поправок и вычерков, более десяти весьма крупных купюр в тексте. Первое прижизненное полное собрание сочинений Гончарова вышло в 1884 году. До последнего времени принято было в основу всех последующих изданий брать именно это издание.

Однако в процессе подготовки собрания сочинений Гончарова

в 1952–1955 годах (Гослитиздат) было установлено, что Гончаров, несмотря на ухудшение своего зрения, дополнительно перечитывал и вносил поправки в текст своих произведений для второго прижизненного издания (1886–1889 годы).

* * *

14 февраля 1882 года в Москве состоялось чествование великого русского драматурга А. Н. Островского в связи с тридцатипятилетием его творческой деятельности. К многочисленным приветствиям юбиляру присоединил свой «скромный голос» и Гончаров. Он послал драматургу горячее письмо. «…Только после Вас мы, русские, — писал Гончаров, — можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр. Он по справедливости должен называться: «Театр Островского». Произведения, созданные Островским, он называет «подвигами».

«Живите же, великий художник, долгие годы!..» — восклицал в конце письма Гончаров и посылал Островскому свой привет, как «от стариннейшего и искреннейшего» его почитателя.

Но в эти годы Островский был уже тяжело болен. Гончарова глубоко потрясла и опечалила его смерть, последовавшая 2 июня 1886 года. «Театр осиротел», — сказал он со слезами на глазах, узнав об этом известии.

В 1887 году в «Вестнике Европы» (N4) Гончаров опубликовал очерк под названием «Из университетских воспоминаний», написанный, видимо, еще в шестидесятых годах.

А в 1888 году в том же журнале (N 1 и 2) появился другой очерк — «На родине», который был написан Гончаровым на даче в Гугенбурге близ Усть-Нарвы в 1887 году.

Самому Гончарову эти воспоминания представлялись вначале «мелкими, пустыми, притом личными, интимными, не представляющими никакого общего и общественного интереса»[224]. На самом деле в них была нарисована талантливым художником реалистическая картина жизни Симбирска тридцатых годов, показана «пустота» и «праздность» симбирского общества, обличались пороки чиновничьей среды. В своих «Воспоминаниях» Гончаров проявил себя таким же мастером социальных портретов, жанровых сцен и пейзажей, тонким и умным юмористом, каким был в своих романах.

В 1888 году в журнале «Нива» (NN 1–2 и 18) Гончаров опубликовал очерки под названием «Слуги» («Слуги старого века»). Пользуясь прежними записями, Гончаров написал эти

очерки очень быстро — в течение весны и лета 1887 года.

В эти годы Гончаров поддерживал теплую дружескую переписку с Л. Н. Толстым.

По рассказу А. Ф. Кони, когда он в июле 1887 года уезжал из Ясной Поляны, где гостил у Толстого, тот просил передать Гончарову «сердечный привет» от него. Гончаров в письме Толстому из Усть-Нарвы от 22 июля 1887, благодарил его за этот «поклон» и «добрую память». «Вы, конечно, не подозреваете, — писал ему в этом письме Гончаров, — как это тронуло меня, как мне дорога Ваша память, помимо всяких литературных причин. Как писателя Вас ценят высоко и свои, русские, в том числе, конечно, и я, и чужие, не русские люди. Но в те еще дни, когда я был моложе, а Вы просто молоды, и когда вы появились в Петербурге, в литературном кругу, я видел и признавал в Вас человека, каких мало знал там, почти никого, и каким хотел быть всегда сам. Теперь я уже полуослепший и полуоглохший старик, но не только не изменил тогдашнего своего взгляда на Вашу личность, но еще более утвердился в нем».

Это искреннее и взволнованное письмо Толстому Гончаров заканчивал воспоминаниями о прежних встречах с ним (в пятидесятых годах). В другом письме из Усть-Нарвы, от 2 августа, Гончаров, отвечая Толстому, писал: «Я счастлив, что наши взаимные добрые воспоминания не вытравлены из нас обоих всепожирающим временем, а таились под горяченькой золой и не остыли».

Далее, отвечая Толстому на его слова о нем, что он, Гончаров, мог «иметь большое влияние» на писательскую деятельность Толстого, Гончаров говорит, что «понять это буквально было бы дерзновенно» с его стороны и что он понимает это так. Тургенев, Григорович и он сам, Гончаров, выступили прежде Толстого, а Толстой, сидя в Севастопольских бастионах, думал, мол: «Вот они пишут кто во что горазд, дай-ка я попробую». Попробовал, и теперь «вон где всех нас оставили, далеко позади». Сохранилось и другое письмо Гончарова к Толстому. 9 мая 1888 года Гончаров писал ему, что получил его «милое письмо» и «очень обрадовался ему». «Несказанно доволен» Гончаров тем, что в письме Толстого к нему «видна только ласка и старое дружелюбие».

Л. Н. Толстой прочел как «Слуги», так и «На родине» («Воспоминания») Гончарова и одобрил их. По признанию Гончарова, он «немного совестился показаться в печать с такими бледными и бессодержательными рассказами. Ан, вышло ничего. Старьем немного отзывается, как будто сидел-сидел на месте, глядя на пляску молодежи, да вдруг не утерпел, вспомнил старину и проплясал гросфатер. Конечно, ему хлопают…»

Толстой советовал, чтобы он «продолжал свои воспоминания», на что Гончаров отвечал: «Продолжать трудно, потому что далее следуют более свежие, близкие к нашему времени воспоминания. Пришлось бы затрагивать, что еще не отжило, не умерло. Есть еще живые свидетели недавнего минувшего. Трогать все это неудобно. Но посмотрю, не найду ли чего, и если будет охота и сила — попробую. Да дряхлею очень — куда уж мне!»

«Слуги старого века» явились своего рода продолжением галереи крепостных слуг, выведенных Гончаровым в «Иване Савиче Поджабрине» (Авдей), «Обыкновенной истории» (Евсей) и «Обломове» (Захар). Критика демократического лагеря высказала известное неудовлетворение очерками, отмечала их «несозвучие» эпохе. Л. Ф. Пантелеев в своих воспоминаниях утверждает, что Щедрин, работавший в то время над «Пошехонской стариной», будто бы говорил, имея в виду гончаровских «Слуг»: «Вот я ему покажу настоящих слуг прошлого времени»[225].

Бесспорно, по силе и остроте разоблачения ужасов крепостничества щедринские произведения несравнимы с гончаровскими «Слугами». Однако и в «Слугах старого века» показано, как уродует крепостное право жизнь и психику «дворовых людей» и слуг, как губительно действуют на их душу, на их человеческий облик рабство и обломовщина. Вряд ли можно признать основательным упрек Гончарову в идеализации в «Слугах старого века» патриархальных отношений. В очерках Гончарова высказано, по сути дела, глубокое сожаление по поводу того, что в быту даже трудовой русской интеллигенции того времени еще сохранялась эта печальная необходимость и привычка иметь слуг.

По художественному мастерству «Слуги старого века» относятся к числу наиболее ярких произведений Гончарова. По справедливому замечанию рецензента «Вестника Европы», в «Слугах старого века» Гончарова видно «руку мастера, сохранившего на протяжении полувека те художественные приемы, которые сделали его одним из наследников пушкинской прозы».

Последним произведением, опубликованным при жизни Гончарова, были очерки «По Восточной Сибири», в которых писатель продолжил и дополнил рассказ о своем кругосветном путешествии на фрегате «Паллада».

Летом 1891 года, незадолго до смерти, Гончаров продиктовал своей воспитаннице Е. К. Трейгульт очерки «Уха», «Май месяц в Петербурге» и «Превратность судьбы». Таким образом, если в сороковых-шестидесятых годах Гончаров выступал в печати как романист, а в семидесятых годах как автор литературно-

критических статей, то в восьмидесятых годах он много и не без успеха работал над целым рядом художественных очерков, то есть над одним из тонких и трудных жанров искусства.

В минуту откровенности Гончаров как-то сказал одному из своих близких друзей: «Иногда мне бывает жаль, что во мне много погибает идей, образов, чувств…» Как истинный художник, он до конца дней своих ощущал в себе творческие силы.

Не переставая интересоваться русской жизнью и русской литературой, Гончаров и в восьмидесятых годах вел обширную и интересную переписку с родными, друзьями, знакомыми, писателями, деятелями искусства, издателями и т. д. (письма к А. Н. Островскому, А. Н. Плещееву, Л. А. Полонскому, В. В. Стасову, А. Г. Рубинштейну, Л. Н. Толстому, А. Н, Майкову, А. А. Фету и многим другим).

Некоторые из циклов писем, как, например, П. А. Валуеву и К. К. Романову (К. Р.) представляют собой совершенные образцы критических работ в эпистолярной форме. Все это вместе взятое — и романы, и очерки, и литературно-критические статьи, и письма — составляет большое литературное наследие Гончарова, которое не утеряло своего интереса и значения и для нашей современности.

По свидетельству экономки Гончарова А. И. Трейгульт, незадолго до смерти он, видимо следуя принципам, высказанным в очерке «Нарушение воли», сжег, с его точки зрения, несущественное и ненужное для потомства — много писем, заметок, черновиков, отрывков и рукописей.

Приходится, конечно, сожалеть, что эта часть литературного наследия романиста, многие материалы его творческой «лаборатории» навсегда утеряны для нас.

* * *

Наступил 1891 год. Гончарову шел восьмидесятый год. «Мы навестили И. А. Гончарова на его даче в Петергофе в последний раз — 25 августа, и нашли его здоровье в таком удовлетворительном положении, в каком давно уже не случалось нам его видеть, — писал в своем некрологе о Гончарове Стасюлевич. — О значительном восстановлении его сил за лето можно было судить уже потому, что он не только рассказал нам о том, сколько он «наработал» летом, но даже мог взять на себя труд прочесть один из трех очерков, продиктованных им в течение летних месяцев»[226].

Но уже через два дня после этого посещения друзьями, 27

августа, Гончаров сильно заболел. Острая болезнь, однако, скоро прошла — и вместе с тем унесла с собой безвозвратно его последние силы. 6 сентября 1891 года больного писателя перевезли с дачи на его городскую квартиру, где медицинская помощь могла быть более доступной. В ночь на 15 сентября Иван Александрович Гончаров тихо угас, не перенеся воспаления легких. Панихида состоялась 16 сентября на квартире Гончарова и собрала массу лиц, пожелавших отдать должное памяти писателя. В числе присутствовавших были все видные представители литературы. В течение четырех дней до похорон публика большими толпами собиралась на Моховой, где жил Гончаров. Похороны состоялись 19 сентября.

Гроб с телом покойного вынесли из квартиры его ближайшие друзья, знакомые, представители учащейся молодежи и поставили на траурную колесницу. Среди возложенных венков был венок «от командира и офицеров фрегата «Паллада» и «от студентов Московского университета». Толпа народа стояла на улице.

Перед смертью Гончаров просил друзей, чтобы его похоронили в Александро-Невской лавре, где-нибудь на возвышенности, у обрыва…

Когда он умер, М. М. Стасюлевич и А. Ф. Кони выполнили последнее желание писателя.

«На новом кладбище Александро-Невской лавры течет река, один из берегов которой круто подымается вверх. Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла всем нам неизбежная обыкновенная история, его друзья выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор Обломова… на краю обрыва»[227].

И память о великом художнике вечна в сердцах живых…

* * *

«Какие цели у художника? Творчество — вот его жизнь», — говорит герой гончаровского романа. Но это была заветная мысль самого Гончарова. Творчеству, писательскому труду он стремился подчинить всю свою жизнь и видел в этом свой общественный и патриотический долг. Но зачем творить и как творить? Гончаров превосходно отвечал на этот основной вопрос искусства: «Истинный художник, — говорил он, — всегда служит целям жизни, пишет для народа». И, как истинный художник, он стремился донести до народа правду жизни, свои сокровенные чувства и думы.

Ему решительно было чуждо безыдейное искусство, творчество «без идеала». В его художественных убеждениях слышится непреклонная вера в общественную, воспитательную силу и значение искусства, литературы. Литература, по его мнению, есть «выражение духа целой страны, народа», она, «как воздух, должна питать все общество» — быть его насущной пищей. Истинный расцвет искусства, по мысли Гончарова, произойдет тогда, когда «вздохнет свободно народ и общество».

Гончаров всем сердцем любил свою родину, Россию, и желал блага народу. О Гончарове можно сказать, что и свое писательское перо он отдал делу борьбы за раскрепощение народа.

Как великий русский писатель-реалист, Гончаров поднялся в своем творчестве до страстного обличения крепостничества, обломовщины. У автора «Обломова» Добролюбов находил «и силу таланта, и воззрения самые широкие и гуманные». Гончаров многим дорог и близок нам, нашей современности. В его произведениях звучит горячий призыв к труду, творчеству, миру между народами. Творчество Гончарова учит также и пониманию подлинной художественной красоты — этого могучего средства воспитания людей в гуманном духе. Это одна из сокровищниц великого русского языка. «Источник языка, — указывал М. И. Калинин, — это Пушкин, Гоголь, Гончаров и другие наши классики».

Для понимания писателя такого склада, каким был Гончаров, ценны следующие строки Горького: «В России, — писал он в статье «Разрушение личности», — каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле. Как человек, как личность, писатель русский доселе стоял освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе…»

Огромный самобытный талант Гончарова вырастал из органической связи со стихией национальной жизни — чаяниями, культурой, бытом, языком и природой родной страны. Все образы и картины своих произведений Гончаров черпал из русской жизни и был во всем глубоко русским писателем. Талант его развивался под живым воздействием передовых стремлений русского общества.

Имя автора «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Обрыва» стоит в ряду первоклассных русских романистов, «великанов литературы нашей» (М. Горький). Гончаров имел полное основание причислять себя к «литературной плеяде от

Белинского, Тургенева, графов Льва и Алексея Толстых, Островского, Писемского, Григоровича, Некрасова» (из письма П. М. Третьякову от 5 сентября 1870 года).

Гончаров прожил большую и плодотворную жизнь. Он, говоря его словами, «рыл глубокую борозду», самоотверженно трудился на ниве русского искусства.

Основные даты жизни и творчества И. А. Гончарова

1812, 6 (18)[228] июня — В Симбирске, в купеческой семье, родился Иван Александрович Гончаров.

1819, 10 (22) сентября — Смерть отца Гончарова.

1820–1822 — Иван Гончаров обучается в частном пансионе «для местных дворян».

1822,8 (20) июля — Десятилетнего Гончарова отправили учиться в Москву, где определили в Коммерческое училище.

1827 — Находясь в Коммерческом училище, Гончаров впервые знакомится с творчеством Пушкина, с увлечением читает «Евгения Онегина», который выходил тогда отдельными главами.

1830, июль — Не испытывая никакого влечения к коммерческой деятельности и тяготясь своим положением, Гончаров вышел из Коммерческого училища, «не кончив курса, по прошению его родительницы». Гончаров готовится к поступлению в Московский государственный университет.

1831, август — Гончаров успешно выдержал вступительные экзамены на словесный (филологический) факультет Московского университета.

1832 — В N 15 журнала «Телескоп», издававшегося профессором Московского университета Н. И. Надеждиным, напечатан первый литературный труд Гончарова — перевод двух глав из романа Евгения Сю «Атар Гюль». 27 ноября (9 декабря) — Посещение Пушкиным Московского университета.

1834, июнь (июль) — Окончание Московского университета. Отъезд домой, в Симбирск. Осень — Гончаров поступил на службу в канцелярию симбирского губернатора.

1835, май — Отъезд в Петербург. 30 мая (11 июня) — Гончаров определился на должность канцелярского чиновника (переводчика) департамента внешней торговли министерства финансов. Лето — Знакомится с семейством петербургского живописца Н. А. Майкова и получает приглашение преподавать его сыновьям Аполлону и Валерьяну Майковым латинский язык, русскую литературу, эстетику. В рукописном альманахе Майковых «Подснежник» поместил четыре своих романтических стихотворения под инициалами И. Г.

1838 — В рукописном альманахе «Подснежник» помещена юмористическая повесть Гончарова «Лихач болесть».

1839 — В рукописном альманахе Майковых «Лунные ночи» поместил свою повесть «Счастливая ошибка».

1842 — Написал «юмористический очерк нравов из чиновничьего круга» «Иван Савич Поджабрин».

1844 — Гончаров задумал и начал писать роман «Обыкновенная история».

1846 — Читает свой роман в литературном салоне Майковых. Затем читает роман в кружке Белинского и тесно знакомится с великим критиком.

1847 — В N 3 и N 4 журнала «Современник» напечатан первый роман Гончарова — «Обыкновенная история». Задумал и начал писать новый роман — «Обломов».

1848 — В январском и февральском номерах «Современника» напечатана статья В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», в которой дана оценка «Обыкновенной истории» как одного из замечательных произведений русской реалистической литературы.

1849 — В «Литературном сборнике» Некрасова (при журнале «Современник») опубликован «Сон Обломова» (отрывок из первой части романа «Обломов»). Лето Гончаров пробыл на родине в Симбирске, где работал над «Обломовым» и где возник у него замысел третьего романа — «Обрыв». В этот приезд на родину Гончаров не застал уже в живых Н. Н. Трегубова.

1851, 11 (23) апреля — Скончалась мать писателя, Авдотья Матвеевна Гончарова, на шестьдесят пятом году жизни.

1852, 7 (19) октября — Гончаров отправляется в кругосветное плавание на фрегате «Паллада» в качестве секретаря вице-адмирала Путятина. Начинает писать «путевые письма» и заметки. Ноябрь — Посещает Лондон.

1853, 6 (18) января — Фрегат «Паллада» вышел из Портсмута в Атлантический океан. Март — По прибытии на мыс Доброй Надежды Гончаров совершает поездку в глубь колонии. 24 мая (6 июня) — 2 (14) июля — Гончаров находится в Сингапуре. Август — Прибытие в Японию. Гончаров принимает деятельное участие в переговорах Путятина с японским правительством. 11 (23) ноября фрегат отбыл в Шанхай, где Гончаров совершает ряд экскурсий, знакомится с культурой и бытом китайцев в городе и в ближних деревнях.

1854, май — Фрегат «Паллада» прибыл в устье Амура, к месту своей последней стоянки. Август — Гончаров покидает фрегат «Палладу». Сентябрь — В Якутске. Конец декабря — Гончаров прибывает в Иркутск, где встречается со ссыльными декабристами: Волконским, Трубецким, Якушиным и другими, жившими вне города. 14 (26) января 1855 года Гончаров покинул Иркутск.

1855, 13 (25) февраля — Проехав через Сибирь около десяти

тысяч километров, вернулся в Петербург, где вновь сблизился с кругом передовых русских писателей: Тургеневым, Некрасовым, Л. Толстым, Григоровичем и другими. Осень — У Майковых Гончаров встретился с Елизаветой Васильевной Толстой, с которой был знаком еще в начале сороковых годов. Письма Гончарова к Е. В. Толстой (1856–1856) — свидетельство его сильной, страстной, но неразделенной любви к ней.

1856, январь — Гончаров получил назначение на должность цензора русской литературы.

1857, июль-август — Гончаров находился на лечении за границей (в Мариенбаде), где с исключительным подъемом писал роман «Обломов» и вчерне завершил его. В конце августа приехал в Париж и встретил здесь А. А. Фета, В. П. Боткина и Тургенева и прочел им «Обломова».

1858, 22 сентября (4 октября) — У себя дома, в кругу друзей, читал «Обломова» редактору «Отечественных записок» А. А. Краевскому, который и приобрел роман для своего журнала.

Вышли в свет отдельным изданием «Очерки путешествия» — «Фрегат «Паллада» Гончарова, частично публиковавшиеся раньше в ряде журналов и сборниках: «Морском сборнике» (1855, кн. V, VI, IX–X; 1856, кн. VIII и IX), «Отечественных записках» (1855, кн. 4, 5, 10; 1856, кн. 3), «Современнике» (1855, кн. 10; 1856, кн. 2), «Библиотеке для чтения», «Журнале военно-учебных заведений».

1859 — В журнале «Отечественные записки» (кн. 1, 2, 3 и 4) напечатан роман «Обломов». Май — В «Современнике» (N 5) опубликована статья Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?». Летом Гончаров уехал в Мариенбад, где работал над третьим своим романом — «Обрыв».

1860, 1 (13) февраля — Приказом по министерству народного просвещения, согласно прошению Гончарова, он уволен со службы. В «Современнике» (N 2) напечатан отрывок из первой части «Обрыва» — «Софья Николаевна Беловодова». Начало мая — Гончаров выехал на лечение за границу (Дрезден, Мариенбад, Булонь), где продолжал работу над «Обрывом».

1861 — В «Отечественных записках» (N 1) появился отрывок из «Обрыва» — «Бабушка» и в N 2 — «Портрет».

1862 — Лето Гончаров пробыл в Симбирске, и это дало ему новый материал для дальнейшей работы над «Обрывом». Назначен главным редактором официальной газеты министерства внутренних дел «Северная почта».

1863, июнь — Гончаров освобожден от редактирования газеты «Северная почта» и назначен членом Совета по делам печати.

1867,29 декабря (10 января 1868) — Гончаров, «согласно его

прошению, по расстроенному здоровью» вышел в отставку.

1868, март — апрель — Читает первые три части «Обрыва» А. К. Толстому и редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу, который приобрел у писателя право на публикацию романа. Осень — Гончаров закончил писать «Обрыв».

1869 — В январско-майском номерах журнала «Вестник Европы» напечатан «Обрыв». Ноябрь — Гончаров пишет «Предисловие» к отдельному изданию романа «Обрыв».

1870 — Вышло отдельное издание романа «Обрыв».

1872 — В мартовском номере журнала «Отечественные записки» напечатан критический этюд Гончарова «Мильон терзаний».

1873 — 1874 — Пишет очерк «Поездка по Волге» (остался незаконченным).

1874 — Работает над статьей об А. Н. Островском («Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском»), которая не была опубликована при жизни писателя. После посещения третьей выставки художников-передвижников пишет статью «Христос в пустыне». Картина г. Крамского», которая не была опубликована автором. Работает над мемуарами о Белинском.

1875 — После посещений спектакля «Гамлет» Шекспира в Александрийском театре (роль Гамлета исполнялась трагиком Нильским) Гончаров пишет статью «Опять «Гамлет» на русской сцене».

1876 — Написал статью «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв». (Опубликована в журнале «Русское обозрение», 1895, N 1).

1878 — Закончил писать «Необыкновенную историю» (опубликована в 1924 году).

1879 — В журнале «Русская речь» (N 6)) напечатана статья Гончарова «Лучше поздно, чем никогда».

1880 — В журнале «Русская речь» (N 1) публикует очерк «Литературный вечер».

1881 — Вышел в свет сборник статей Гончарова «Четыре очерка», в котором впервые были опубликованы его «Заметки о личности Белинского». Гончаров подарил родному городу Симбирску свою богатую личную библиотеку. 1884 — Выходит в свет первое собрание сочинений Гончарова.

1886 — 1887 — В «Вестнике Европы» (N 4) опубликован очерк Гончарова «Из университетских воспоминаний». В 1889 году включен автором в IX, дополнительный, том Собраний сочинений («Воспоминания», «В университете»). Издано второе прижизненное Собрание сочинений Гончарова.

1888 — Напечатаны воспоминания Гончарова «На родине» («Вестник Европы» N 1 и 2) и очерк «Слуги» («Нива», N 1–3, 18).

1889 — Написана статья «Нарушение воли».

1891 — В журнале «Русское обозрение» (N 1) помещен очерк «По Восточной Сибири». Летом, незадолго до смерти, Гончаров продиктовал Е. К. Трейгульт очерки. «Уха», «Май месяц в Петербурге» и «Превратность судьбы».

1891 — 15 (27) сентября — смерть писателя. Похоронен 19 сентября (1 октября) в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Краткая библиография

I. Основные издания сочинений И. А. Гончарова

Полное Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–VIII (подготовленное автором), издание И. И. Глазунова, СПБ, 1884.

Полное Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–IX (подготовленное автором), издание И. И. Глазунова, СПБ, 1886–1889.

Полное Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–IX, издание И. И. Глазунова (стереотипное), СПБ, 1896, 1912 и 1916.

Полное Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–XII, издание А. Ф. Маркса, СПБ, 1899.

Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–VIII, изд-во «Правда», Библиотека «Огонек», М, 1952. Под редакцией А. Г. Цейтлина.

Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. I–VIII, М., 1952–1955. Под редакцией А. К. Котова (т. IV), А. Полякова (т. VIII, ч. 2-я), К. Н. Полонской (т. VII), А. П. Рыбасова (т. I, V, VI и VIII, ч. I), А. Г. Цейтлина (т. II и III).

И. А. Гончаров, Повести и очерки. Редакция, предисловие и примечания Б. М. Энгельгардта Гослитиздат, 1937.

И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма. Редакция, вступительная статья и примечание А. П. Рыбасова. Л., 1938.

Стихи И. А. Гончарова. «Звезда», 1937, N 5. Публикация и примечания А. П. Рыбасова.

И. А. Гончаров, Необыкновенная история. Сборник Российской публичной библиотеки. Материалы и исследования. 1924, т. II, вып. 1-й. Публикация и примечания Б. М. Энгельгардта.

II. Литература о творчестве Гончарова

В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 158, 182, 481 («Развитие капитализма в России»).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 311 («Политическая агитация и «классовая точка зрения»).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 130 («Аграрная программа русской социал-демократии»).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 7, стр. 362 («Шаг вперед, два шага назад»).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 11, стр. 423 (статья «Услышишь суд глупца»).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 268 (статья «Беседа о «кадетоедстве»), стр. 286 (статья «Еще один поход на демократию»).

В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, т. XXVII, стр. 36 («Новая экономическая политика и задачи политпросветов». План речи на II Всесоюзной конференции политпросветов).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 32, стр. 329 («О продовольственном налоге»).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 197, 199 («О международном и внутреннем положении Советской Республики»), стр. 254 (XI съезд РКП (б). Политический отчет Центрального Комитета РКП (б)).

В. И. Ленин, Сочинения, т. 35, стр. 460 (Письмо Д. И. Цюрупе «О новой постановке работы СНК и СТО»).

«Ленинский сборник», т. XXIII, стр. 210 (Письмо Наркому почт и телеграфов, 2/IX 1921 года).

Сб. «М. И. Калинин о литературе», Л., 1949, стр. 70, 111, 201.

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1955, т. X, стр. 279–359 (статья «Взгляд на русскую литературу 1847 года»).

В. Г. Белинский, Избранные письма в 2-х томах. Гослитиздат, 1955.

Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений. Гослитиздат, 1952, т. 2, стр. 107–141 (статья «Что такое обломовщина?»), т. I, стр. 532–534 (рецензия «Фрегат «Паллада»).

Д. И. Писарев, Избранные сочинения в 4-х томах, т. I. Гослитиздат, 1955 (статьи: «Обломов», «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова», «Писемский, Тургенев и Гончаров»).

В. Г. Короленко, И. А. Гончаров и «молодое поколение». Собрание сочинений. Гослитиздат, 1955, т. 8, стр. 254–265.

М. Горький, История русской литературы. М., 1939, стр. 120, 253.

В. А. Десницкий, На литературные темы. Ленгихл, 1933 (статья «Трилогия Гончарова»).

Н. К. Пиксанов, Белинский в борьбе за Гончарова. «Ученые записки» Ленинградского ун-та, серия филологич. наук, выпуск 11, Л., 1941.

Н. К. Пиксанов, «Обломов» И. А. Гончарова. «Ученые записки» Московского ун-та, выпуск 127. М., 1948.

В. Е. Евгеньев-Максимов, И. А. Гончарова. Гиз, М., 1926.

В. Е. Евгеньев-Максимов, Гончаров. Жизнь, личность,

творчество. Гиз, М., 1923.

А. Г. Цейтлин, И. А. Гончаров. Изд-во АН СССР, М., 1950.

Б. М. Энгельгардт, Фрегат «Паллада». «Литературное наследство» N 22–24, 1936.

В. Злобин, Как создавался «Обрыв». «Литературная учеба», 1937, N 7.

А. П. Рыбасов, Литературно-эстетические взгляды Гончарова. Вступит, статья к сб. «И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма». Гослитиздат, Л., 1938.

С. Д. Муравейский, И. А. Гончаров и его плавание на фрегате «Паллада». Вступит, статья к изданию «И. А. Гончаров. Фрегат «Паллада». Географгиз, М., 1949.

С. Петров, И. А. Гончаров. Вступит, статья к т. I Собрания сочинений. Гослитиздат, 1952.

III. Литература о жизни Гончарова

М. Ф. Суперанский, Материалы для биографии Гончарова. Сб. «Огни», кн. первая, П., 1916.

А. Мазон, Материалы для биографии и характеристики Гончарова. СПБ, 1912.

П. Н. Сакулин, Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах. «Голос минувшего» N 11 и 12, 1913.

А. В. Никитенко, Дневник. Гослитиздат, 1955.

«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV. СПБ, 1912.

А. В. Старчевский, Один из забытых журналистов. «Исторический вестник» N 2, 1886.

А. Я. Панаева. Воспоминания. Гослитиздат, М. 1956.

И. И. Панаев. Воспоминания о Белинском. «Белинский в воспоминаниях современников». Гослитиздат, 1948.

Г. Н. Потанин, Воспоминания об И. А. Гончарове. «Исторический вестник», 1903, N 4.

Е. П. Левенштейн, Воспоминания. Сб. «Огни», кн. первая, П., 1916.

А. Н. Гончаров, Воспоминания о И. А. Гончарове. «Исторический вестник», 1908, N 11.

Е. А. Гончарова, Воспоминания о И. А. Гончарове. «Вестник Европы», 1908, N 12.

С. Ф. Либрович, На книжном посту. П., 1916.

С. Шпицер, И. А. Гончаров. СПБ, 1912.

Н. А. Державин, На родине И. А. Гончарова. «Исторический вестник», 1912, N 6.

П. Д. Боборыкин, Памяти И. А. Гончарова «Новости и биржевая газета», 1901, N 298.

П. Д. Боборыкин, Творец «Обломова» (из моих воспоминании). «Русские ведомости», 1892, N 339

В.Русаков, Случайные встречи с И. А. Гончаровым. «Новь», 1888, N 7.

А. Ф. Кони, «Гончаров о Пушкине». «Русская старина» 1889, N 5.

А. Ф. Кони, На жизненном пути. П., 1912, т. II.

Сб. «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев». По неизданным материалам Пушкинского дома, Изд-во «Academia», П., 1923. Предисловие и примечания Б. М. Энгельгардта.

П. Бейсов, Гончаров и родной край. Изд. «Ульяновская правда», 1951.

Об авторе

Автор этой книги — Александр Петрович Рыбасов (родился в 1907 году), член Союза писателей СССР.

Свою трудовую деятельность А. Рыбасов начал пятнадцати лет учеником слесаря на железной дороге. Затем окончил рабфак, а позже и аспирантуру Государственной академии искусствознания в Ленинграде. Первые литературные выступления А. Рыбасова — критические и литературоведческие статьи — относятся к 1937 году. В то же время он начал заниматься проблемами творчества И. А. Гончарова. Многолетнее изучение творческой биографии большого художника побудило А. Рыбасова написать эту книгу. В ней он стремился воссоздать живой и правдивый образ писателя-труженика, писателя-патриота, рассказать об особенностях его таланта, его замыслах, идеях, образах.

notes

Примечания

1

Все даты в книге даются по старому стилю.

2

Армия Наполеона вторглась на русскую землю 12 июня 1812 года.

3

Г. Н. Потанин, Воспоминания об И. А. Гончарове. «Исторический вестник», 1903, 4, стр. 99.

4

Воспоминания цитируются по т. 7 Собрания сочинений И. А. Гончарова. Гослитиздат, 1952–1955.

5

Письмо от 29 декабря 1867 года. «Новое время», 1912, Иллюстрир. приложения N 13038.

6

Ив. Захарьин (Якунин), Гр. А. А. Толстая. Личные впечатления и воспоминания. «Вестник Европы», 1905, 4, стр. 625.

7

Письмо от 12 апреля 1862 года. «Новое время», 1912, Иллюстрир. приложения, N 13024.

8

Из письма Гончарова Тургеневу от 27 февраля 1866 года. Сб. «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев». По неизданным материалам Пушкинского дома. С предисл. и примеч. Б. М. Энгельгардта. Изд-во «Academia», П., 1923, стр. 43. В дальнейшем цитируется то же издание.

9

Мнимым отцом семейства (франц.).

10

Морской кампанией считаются каждые полгода, проведенные в море.

11

Фамилии вымышлены. Кого в действительности имел в виду Гончаров в своих «Воспоминаниях», остается невыясненным.

12

Эту запись о Пугачеве в «Летописце» впервые полностью воспроизвел П. Бейсов в своей книге «Гончаров и родной край». Изд. «Ульяновская правда», 1951.

13

См. П. Мартынов, Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898, стр. 38.

14

Н. В. Гоголь, Мертвые души, глава 7-я.

15

Картина воссоздана по воспоминаниям современника. См. В. А. Соллогуб, Воспоминания. Изд-во «Academaia», М.-Л., 1931, стр. 221–222.

16

Ивашев Василий Петрович состоял в «Южном обществе» и был приговорен к вечной каторге.

17

Автобиографии цитируются по т. 8 Собрания сочинений И. А. Гончарова. Гослитиздат, 1952–1955.

18

С-в. Воспоминания о Московском Коммерческом училище, 1831–1838 годов. «Русский вестник», 1861, 12, стр. 721–722.

19

Записки С. М. Соловьева. «Вестник Европы», 1907, III, стр. 72.

20

См. Н. Виноградов, Московское коммерческое училище. Сто лет жизни. М., 1904, стр. 279.

21

См. «Новое время», 1912, Иллюстрир. приложения, N 13038.

22

Из письма И. А. Гончарова К. Р. (январь 1884 года), И. А. Гончаров, «Литературно-критические статьи и письма». Л., 1938, стр. 337. В дальнейшем цитируется это же издание.

23

I глава романа появилась в печати 15 февраля 1825 года, II — в октябре 1826 года, III — в октябре 1827 года, IV, V и VI вышли в феврале — марте 1828 года; VII — в марте 1830 года и последняя — в январе 1831 года.

24

И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма, стр. 298.

25

Статья Гончарова «Необыкновенная история» цитируется по Сборнику Российской публичной библиотеки. Материалы и исследования, 1924, т. II, вып. 1-й.

26

А. И. Герцен, Былое и думы. Л., ГИХЛ, 1946, стр. 69–70. В дальнейшем цитируется это же издание.

27

См. И. А. Арсеньев, Воспоминания. «Исторический вестник», 1887, II, стр. 350.

28

А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава первая, строфа L.

29

С листа (лат.).

30

А. И. Герцен, Былое и думы, стр. 57.

31

А. И. Герцен, Былое и думы, стр. 73.

32

Станкевич Николай Владимирович — философ и поэт, друг Белинского.

33

Аксаков Константин Сергеевич — впоследствии писатель, один из идеологов русского славянофильства.

34

Бодянский Осип Максимович — в дальнейшем один из основателей славяноведения в России

Строев Сергей Михайлович — позже историк.48

В состояние (лат.).

37

А. И. Герцен, Былое и думы, стр. 65–66.

38

Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений. Гослитиздат, 1947, т. III, стр. 140. В дальнейшем цитируется это же издание.

39

Там же, стр. 163.

«Сын отечествам 1825, N 22, стр. 154.

41

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1955, т. IX, стр. 436. В дальнейшем цитируется это же издание.

42

Цитируется по книге А. Г. Цейтлина «И. А. Гончаров». Изд. АН СССР, 1950, стр. 441–442. Дальше цитируется это же издание.

43

См. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, СПБ, 1912, стр. 219. В дальнейшем цитируется это же издание.

«То, что любишь, никогда не забудется» (франц.).

45

См. «Стихотворения Виктора Теплякова». М., 1832, стр. 167–168. Это обращение юных друзей к поэзии В. Теплякова весьма примечательно. Как известно, Тепляков был заподозрен в прикосновенности к заговору декабристов и некоторое время находился в заключении в Петропавловской крепости.

46

Неопубликованное письмо Гончарова к А. Ф. Кони, помеченное 16 марта, без указания года. Описание альбома дано в книге A. Mazon. «Un maitre du oman russe. Ivan Gontscharov». Paris, 1914, p. 33–35. Перевод (с франц.) текста описания альбома и неопубликованного письма Гончарова выполнен, по нашей просьбе, переводчицей Лилианой Щетининой.

* А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава седьмая, строфа XXXIV.

48

См. П. Мартынов, Город Симбирск за 250 лет его существования.

49

«Очерки, рассказы и воспоминания Э…ва». «Русская старина», 1878, 12, стр. 679.

50

А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава вторая, строфа I.

«М-сье весьма представителен» (франц.).

«Очерки, рассказы и воспоминания Э…ва».

53

* А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава седьмая, строфа XXVIII.

54

А. Г. Цейтлин, И. А Гончаров, стр 27

55

Н. К. Пиксанов, Белинский в борьбе за Гончарова. Ученые записки Ленинградского института, сер. филологич. наук, вып. 11-й. Л., 1941, стр. 58.

56

Из письма Гончарова к С. А. Никитенко от 3 июля 1865 года. Собрание сочинений И. А. Гончарова, изд. «Правда», М, 1952, т. 8, стр. 351.

57

Из письма к А. А. Толстой от 14 апреля 1874 года. «Вестник Европы», 1905, 4, стр. 626.

58

Н. К. Пиксанов, Белинский в борьбе за Гончарова, стр. 58 — 59.

59

Плетнев Петр Александрович- критик, издатель «Современника» в 1837–1846 годах.

60

Некролог Гончарова «Н. А. Майков». Газета «Голос» от 29 августа 1873 года, N 238.

61

А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 168.

62

Из некролога Гончарова.

63

Д. В. Григорович, Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 192.

64

Из переписки с К. Р. См. И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма, стр. 337–338.

65

См. А. Ф. Кони, На жизненном пути. СПБ, 1912, т II, стр. 491–492. В дальнейшем цитируется это же издание.

Альманах «Подснежник», тетрадь N 135, статья В. Майкова «Несколько мыслей об изящных искусствах». (Хранится в рукописном отделе Литературного института АН СССР.)

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 335.

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 272.

69

И. А. Гончаров, Повести и очерки. Редакция, предисловие и примечания Б. М. Энгельгардта. Гослитиздат, 1937, стр. 44.

Вопросы и ответы, как и очерк «Хорошо или дурно жить на свете», опубликованы в книге А. Г. Цейтлина «И. А. Гончаров», стр. 443–449.

См. А. Г. Цейтлин, И. А. Гончаров, стр. 49–53.

Письма В. А. Солоницына хранятся при Институте русской литературы АН СССР.

73

Письмо это опубликовано И. А. Груздевым. См. «Ученые записки» Ленингр. гос. пед. института имени А. И. Герцена. Л., 1948, т. 67, стр. 108–113.

74

Из письма к К. К. Романову от 1 апреля 1887 года. (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР.)

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 7, 16.

76

Из письма Гончарова Л. А. Полонскому (1880).

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 16–17.

А. В. Старчевский, Один из забытых журналистов. «Исторический вестник», 1886, кн. 2, стр. 377–378.

И. И. Панаев, Воспоминания о Белинском. См. «Белинский в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1948, стр. 440.

Статья «Заметки о личности Белинского» цитируется по т. 8 Собрания сочинений И. А. Гончарова. Гослитиздат, 1952–1955.

То есть о Соллогубе.

82

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 217 — 218.

83

А. Я. Панаева, Воспоминания, Гослитиздат, 1956, стр. 168.

Повесть «Иван Савич Поджабриа».

Гончаров, очевидно, имел в виду «Записки охотника», напечатанные в пятой книге «Современника» за 1847 год и имевшие исключительно большой успех у прогрессивно настроенных русских читателей.

В. Г. Белинский, Избранные письма. Гослитиздат, 1955, т. II, стр. 311.

Там же, стр. 318.

В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 481.

89

В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 480.

90

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 220 — 221.

91

Статья «Лучше поздно, чем никогда» цитируется по т. 8 Собрания сочинений И. А. Гончарова. Гослитиздат, 1952–1955.

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 547.

93

В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 344.

94

Из письма В. Г. Белинского к В. П. Боткину 17 марта 1847 года.

В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. X, стр. 344.

Впоследствии, в 1859 году, А. Григорьев вновь выступил в печати с отзывом об «Обыкновенной истории», дав роману отрицательную оценку («Русское слово», 1858, N 8)

97

См. статью Ю. Г. Оксмана «Анонимные фельетоны» в сб. «Фельетон». Л., 1927.

И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма, стр. 227.

99

Белинский никак не мог присутствовать при этой встрече, так как умер за полгода до этого

«Литературное наследство», N 49–50. М. — Л., 1946, стр. 204.

101

Приличие (франц.).

102

Острое, меткое слово (франц.).

103

А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 397.

См. А. Г. Цейтлин, И. А. Гончаров, стр. 440.

105

Анна Александровна была замужем за доктором Музалевским.

106

Александра Александровна была замужем за ардатовским помещиком Кирмаловым, убитым крестьянами в семидесятых годах

107

В. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40–50 годах». Л… 1934, стр. 278.

108

«Переписка Я. К- Грота с П А Плетневым». СПБ., 1896, т. III, стр. 560.

109

Из письма Гончарова к В. Л. Кирмалову от 17 декабря 1849 года.

110

Путевые письма И. А. Гончарова опубликованы в «Литературном наследстве», N 22–24, 1935.

111

По обязанности (лат.).

См. А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 402.

113

В. И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 228.

114

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т II стр. 321–323.

115

Политико-экономическое значение русской экспедиции В Японию под начальством Путятина подробно освещено в статье С. Д. Муравейского, предпосланной к изданию: И. А. Гончаров, «Фрегат «Паллада». Географгиз, 1952.

Д. И. Писарев, Сочинения. СПБ, 1909, т. I, стр. 30.

117

Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем. Гослитиздат, 1950, т. IX, стр 337.

118

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 29.

119

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 29.

120

Сборник «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», Б. М. Энгельгардт. Вступительная статья, стр. 14.

121

К сожалению, до сих пор это донесение не найдено в архивах.

122

См. П. Н. Сакулин, Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах. «Голос минувшего», 1913, N 11. Там же, а также в N 12 «Голос минувшего» за тот же год опубликована переписка И А. Гончарова с Е. В. Толстой.

123

А. С. Пушкин, Стихотворение 1835 года.

124

А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава первая, строфа XXXIV.

125

За и против (франц.).

Вечно женственное (немецк.).

127

А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава первая, Строфа LIX.

128

А. В. Никитенко, Дневник. Гослитиздат, 1955, т. I, стр. 425.

129

А. Г. Цейтлин, И. А. Гончаров, стр. 219.

130

Елагин был одним из самых реакционных цензоров николаевского царствования. Ушел в отставку в 1855 году.

131

Шипан-ху (японск.) — Япония.

132

А. С. Пушкин, Евгений Онегин, глава первая, строфа LIX.

«Фрегат «Паллада».

Гончаров имеет в виду свою цензорскую работу.

С «художником», то есть с будущим романом «Обрыв».

136

Молчание господина Гончарова представляет собою общественное бедствие (франц.).

137

Из письма Гончарова к И. И. Льховскому от 22 августа 1857 года из Парижа.

138

Цитируется по книге Я. С. Утевского «Жизнь Гончарова». М., 1931, стр. 118.

139

Статья Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» была напечатана в журнале «Современник», 1859, N 5, то есть месяц спустя после опубликования всего гончаровского романа.223

140

В. И. Ленин, Сочинения, т. 3. стр. 158.

141

В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 130.

142

Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений. Гослитиздат, 1952, т. 2, стр. 117. Далее всюду цитируется статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» по этому же изданию.

143

М. Горький, История русской литературы. М» 1939, стр. 120.

144

Из письма И. А. Гончарова к С. А. Никитенко от 8 июня 1860 года из Мариенбада. «Литературный архив», изд. АН СССР, 1953, т. IV, стр. 116.

145

В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 197

146

Эти слова принадлежат Добролюбову

147

Журнал «Библиотека для чтения», 1859, N 12, стр. 17.

148

В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 182.

149

Там же, т. 15, стр. 57 и т. 29, стр. 443.

150

А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. XIV. Гослитиздат, 19.49, стр. 354.

151

И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, стр. 291.

152

Имеется в виду статья «Обломов». См. Д. И. Писарев, Сочинения. Гослитиздат, т. I. 1955.

153

«Чистая богиня» (итальянск.), ария из популярной тогда оперы Беллини «Норма».

154

Д. И. Писарев. Сочинения. Гослитиздат, М., 1955, т. I, стр. 5–7.

155

Журнал «Библиотека для чтения», 1859, N 12, стр. 6–8.

156

В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 199.

157

Статья цитируется по т. 8 Собрания сочинений И. А. Гончарова. Гослитиздат, 1952–1955.

Это писалось Гончаровым в 1879 году, в статье «Лучше поздно, чем никогда», то есть когда еще Тургенев был жив.

159

См. Л. Н. Майков, Ссора между И. А. Г[ончаровым] и И. С. Т[ургеневым] в 1859–1860 годах, «Русская старина», 1900, 1, стр. 20.

160

Л. Н. Майков, Ссора между И. А. Г[ончаровым] и И. С. Т[ургеневым] в 1859–1860 годах.

161

Сб. «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», стр. 42.

162

Все сохранившиеся письма Гончарова к И. С. Тургеневу 1860 и 1864–1868 годов опубликованы Б. М. Энгельгардтом в книге «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев». Изд-во «Academia», П. 1923.

163

Сб. «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», Предисловие Б. М. Энгельгардта, стр. 26.

164

Радушие!

* В первоначальном плане «Обрыва» фигурировала в качестве главной героини Елена, позже названная Гончаровым Верой.

166

См. письмо И. А. Гончарова С. А. Никитенко от 14 июня I860 года из Мариенбада.

167

См. «Сборник Российской публичной биб-ки», т. II, вып. I, П. 1924, стр. 174.

168

См. «Русская старина», 1888, N 12, стр. 775–776.

169

Из письма И. А. Гончарова С. А. Никитенко от 16 августа 1860 года. «Литературный архив». Изд-во АН СССР, 1953, IV, стр. 159.

170

А. В. Никитенко, Дневник, т. II, стр. 123.

171

То есть Марка Волохова

Имеется в виду Марк Волохов из «Обрыва».

173

Из письма от 6 августа 1860 года, «Литературный архив», стр. 149.

К. Маркс и. Ф. Энгельс, Сочинения, т. XI, часть 1-я, стр. 545.

175

В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26-27

176

Там же, т. 17, стр. 65.

177

В. И. Ленин, Сочинения, т. 27, стр. 244.

178

Р. Сементковский. Встречи и столкновения. «Русская старина», 1912, XI, стр. 265–266.

179

На английский манер (франц.).

180

Здесь Гончаров имеет в виду нашумевшие петербургские пожары, начавшиеся в мае 1862 года. В поджогах реакционеры обвиняли революционную молодежь, что было клеветой. Судя по письму, Гончаров не верил этим провокационным слухам.

181

См. В. Евгеньев-Максимов, «Последние годы «Современника». Л., 1939, стр. 85.

182

Дело об отчете по Главному управлению по делам печати за 1865 и 1866 годы. «Книга и революция», 1921, N 1, стр. 19.

183

А. Г. Цейтлин, И. А. Гончаров, стр. 225.

184

А. В. Никитенко, Дневник, т. II, стр. 555–556.

185

См. В. Мещерский, Мои воспоминания. Журнал «Гражданин», 1897, N 5, стр. 10.

Высший свет (франц.).

187

Из письма Гончарова Е. Е. Капнист от 11 августа из Булони. «Ежемесячные сочинения», 1903, N 1, стр. 13–14.

188

Из публикации Ф. Кудринского — К биографии Гончарова. «Вестник Европы», 1912, N 7.

189

Из письма Гончарова к С. А. Никитенко от 21 августа 1866 года из Мариенбада.

190

В Булони, у моря (франц.).

191

Общий стол, казино

Елисейские поля (франц.).

193

Из письма П. В. Анненкова М. М. Стасюлевичу 16 июля 1867 года. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, стр. 295–296.

194

Из письма И. А. Гончарова И. С. Тургеневу, 10 февраля 1868 года

195

Феоктистов Евгений Михайлович (1829–1898) — писатель, в молодости приятель Тургенева и Боткина.

То есть А. К. и С. А. Толстым.

197

Обо всем этом рассказано Гончаровым в «Необыкновенной истории», стр. 49–50.

198

«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, стр. 13–14.

199

«Быть или не быть?» (англ.) — гамлетовский вопрос.

Л. С. Утевский, Жизнь Гончарова, стр. 185

201

И. А. Гончаров М. М. Стасюлевичу 9 июня 1868 года, из Киссингена.

Статья цитируется по тому 8 Собрания сочинений И. А. Гончарова. Гослитиздат, 1952–1955.

203

Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 156 и 171–172.

В. П. Боткин, Ф. И. Тютчев.

205

В. Г. Короленко, Собрание сочинений. Гослитиздат, 1955, т. 8, стр. 260.

М. Горький, Несобранные литературно-критические статьи. Гослитиздат, 1941, стр, 92.

207

Из письма Ф. М. Достоевского Н. И. Страхову от 26 февраля 1869 года.

208

Из письма И. А. Гончарова Н. Н. Теплову 20 ноября 1874 года. Цитируется по книге А. Г. Цейтлина «И. А. Гончаров», стр. 283.

209

До 1855 года Гончаров жил на Невском проспекте, в доме Кожевникова

210

А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 40.

211

П. Д. Боборыкин, Творец Обломова. «Русские ведомости», 1892, стр. 339.

Гигантскими шагами (франц).

213

Из письма Гончарова к П. А Валуеву 27 апреля 1881 года.

214

К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 480, т. XXVII, стр. 89.

215

Это письмо Гончарова к А. Ф. Кони не опубликовано (архив Пушкинского дома АН СССР). Цитируется по книге А. Г. Цейтлина «И. А. Гончаров», стр. 483.

Находятся в Московском Историческом музее.

217

См. С. Ф. Либрович, На книжном посту. П., 1916, стр. 175.

218

См. В. Спасская, Встреча с И. А. Гончаровым. «Русская старина», 1912, т. I, стр. 99.

219

А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 403–404.

220

Брат И. А. Гончарова Н. А. Гончаров умер в декабре 1872 года.

221

Подробно об этом рассказано в книге П. Бейсова «Гончаров и родной край».

А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 404.

223

См. С. Шпицер, Забытый классик. «Исторический вестник» N 11, 1911, стр. 679–691.

224

Письмо к А. Ф. Кони от 26 июня 1887 года.

225

А. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. Изд-во «Academia», 1934, стр. 529.

226

М. Стасюлевич, И. А. Гончаров. Некролог. «Вестник Европы», 1891, 10, стр. 880.

227

А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, стр. 405.

В скобках указаны даты по новому стилю.